

Евгений Салиас-де-Турнемир

Петровские дни



Евгений Андреевич Салиас-де-Турнемир

Петровские дни

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2370845*

Аннотация

«...Царица, окружённая сонмом вельмож и правительственных сановников, стояла в ожидании надвигающейся бури – одна-одинёшенька.

Новая императрица с минуты вступления на престол думала только об одном, трепетно и нетерпеливо ждала только одного, чаяла спасенья себя и отечества и умиротворения всех и всего только в одном: священном короновании в Московском Кремле. <...> Пребывание теперь в селе Петровском пред торжественным въездом в первопрестольную было будто тяжёлым испытанием её сил пред началом великого тридцатипятилетнего подвига: приведения Руси от мгlistых времён елизаветинских к лучезарным дням александровским...»

Содержание

Часть первая	6
I	6
II	9
III	13
IV	20
V	26
VI	33
VII	39
VIII	45
IX	51
X	57
XI	67
XII	77
XIII	83
XIV	87
XV	94
XVI	100
XVII	107
XVIII	114
XIX	122
XX	131
XXI	141
XXII	147

XXIII	156
XXIV	160
XXV	170
XXVI	177
XXVII	182
XXVIII	188
XXIX	194
XXX	201
Часть вторая	203
I	203
II	206
III	211
IV	218
V	224
VI	235
VII	241
VIII	252
IX	256
X	265
XI	272
XII	279
XIII	286
XIV	291
XV	300
XVI	308
XVII	312

XVIII	318
XIX	326
XX	333
XXI	339
XXII	343
XXIII	348
XXIV	354
XXV	359
XXVI	365
XXVII	371
XXVIII	379
XXIX	386
XXX	391
XXXI	398
XXXII	404
XXXIII	411
XXXIV	414
XXXV	424
XXXVI	431
XXXVII	432
XXXVIII	434
XXXIX	436
Об авторе	438

Евгений Андреевич Салиас

Петровские дни

Историческая повесть

Часть первая

I

Были первые дни сентября 1762 года...

Москва ликовала и шумела и вся была на ногах. Пришли такие дни, что она могла сказать: «На нашей улице праздник!»

Государыня императрица Екатерина Алексеевна прибыла из Петербурга и остановилась в селе Петровском, имении гетмана графа Разумовского, в двенадцати верстах от Москвы. И первопрестольная ожидала дней въезда новой императрицы и коронавания.

Много ходило тёмных и лживых слухов о том, как встретит Москва царицу.

– Москва – не Петербург!.. Сердце России не солжёт, не покривит душой. Низвержение с престола законного государя Петра Феодоровича, внука Великого первого императо-

ра российского, она, первопрестольная, судит по-своему. Ей чёрного белым не сделаешь, кривду правдой не нарядишь, злоумышления в благодеяние не обернёшь. Питер Москве не указ. Он младший брат. Братишка! Ему шестьдесят лет – смешно сказать. А Москве-то сколько? Поди-ка сочти.

Но эдак рассуждали в дворянских семьях, а москвич-простолюдин знал или же просто почуял, что царица хотя и немецкая принцесса, но давно стала душой и сердцем истинной россиянкой. В первом же своём деянии, июньском перевороте и вступлении на престол, она спасла отечество от немецких порядков, предотвратила новую бироновщину и гонения не только всего русского, но и самой православной веры.

Но время было всё-таки трудное. Дни шли смутные. Государственный мир и общественный покой были нарушены. Всё всколыхнулось, заволновалось. По старой пословице «мирская молва – морская волна», море житейское зашумело и погнало волны на берега и устои политические и гражданские.

И не являлось никого, кто бы проявился утешителем волнения... Царица, окружённая сонмом вельмож и правительственных сановников, стояла в ожидании надвигающейся бури – одна-одинёшенька.

Новая императрица с минуты вступления на престол думала только об одном, трепетно и нетерпеливо ждала только одного, чаяла спасенья себя и отечества и умиротворения

всех и всего только в одном: священном короновании в Московском Кремле.

А до этого великого мгновения она могла только по праву повторять французскую поговорку «Dieu me garde de mes amis, des ennemis je me garderai moi-meme».

– Да. Спаси Бог от друзей, а от врагов я сама уберегусь, – думала и говорила умная, смелая, но смущённая женщина-монарх.

Пребывание теперь в селе Петровском пред торжественным въездом в первопрестольную было будто тяжёлым испытанием её сил пред началом великого тридцатипятилетнего подвига: приведения Руси от мглистых времён елизаветинских к лучезарным дням александровским.

II

Старуха-крестьянка стояла среди гряд огорода на опушке леса и смотрела, как закатывалось золотое солнце за край земли.

С опушки этого небольшого леса, не густого, не запущенного, а, напротив, со следами заботливого ухода, видно было ровное пустое поле, расходившееся во все стороны. Только вправо и далеко на самом горизонте темнелась полоса, узкая и длинная... Там снова начинался лес, но уже настоящий, с непролазной гущиной, с вековыми деревьями, где водилось всякое зверье – и заяц, и лисица, и волк. А старожилы ближайшего села Петровского уверяли, что в юности своей видели в нём и медведя...

Совсем влево за полем, тоже на самом горизонте, виднелись несколько домиков и церковь. Это был самый край Москвы, которая отсюда была невидима, укрытая чашей деревьев и кустов. На этой опушке, где начиналось поле, был небольшой огород. Десятки длинных гряд шли рядами одна за другой, будто волна за волной зелёного моря.

Среди этих гряд бродила крестьянка, изредка нагибаясь, шаря рукой в зелени и собирая в фартук всякую огородную всячину... И только изредка отрывалась она от дела – передохнуть и поглядеть, как солнышко уходит с неба на покой «до завтрева».

В те минуты, когда крестьянка, наполнив фартук, снова остановилась и стояла, чтобы отдышаться от труда, непосильного в её года, на опушке показалась женская фигура, продвигавшаяся медленными, усталыми шагами... Это была среднего роста, полная и красивая женщина, по виду и по одежде городская барыня... Постояв и поглядев на поле, на огород, где работали крестьянки, она хотела уже снова удалиться, когда вдруг заметила небольшую скамью. Простая доска была прибита концами к пню и к столбику. Дама будто обрадовалась этой случайной, неожиданной находке и, двинувшись бодрее, с видимым удовольствием села на скамейку.

Снова начала она озираться кругом на всё, что было видно отсюда, и взор её красивых светлых глаз остановился на колокольне церкви, окружённой несколькими домиками.

«Какое это село? – подумалось ей, и затем она тотчас спохватилась и мысленно охнула: – Да это Москва! Да, это она... Край, конец её, врезавшийся в поле... Там, вероятно, застава. Но не Тверская, а другая. Да. Вот она... Вот «ты», от которой всё зависит. Всё! Ты, Москва, от которой надо ждать решения участи новой императрицы. Что ты скажешь ей, то же повторит и вся Россия!.. А что ты скажешь? Что?»

И дама глубоко задумалась, поникнув головой и забыв окружающее.

– Что невесела – голову повесила? – вдруг раздался странный по своему звуку голос, глухой, хрипловатый, шамкающий...

Дама, будто разбуженная им от своей думы, невольно вздрогнула... Голос был за её спиной... Она обернулась и увидела совсем старую старуху. Ей невольно стало жутко. Она, казалось ей, только слыхивала или читала в сказках про таких старушечек... В таком образе являются колдуньи, коварные и злые, приносящие людям несчастье. Но в таком же виде в сказках являются, однако, и добрые феи, принимая умышленно отвратительный образ крайней дряхлости.

– Что тебе, старушка? – вымолвила дама, отчасти робко от какого-то суеверного чувства, вдруг возникшего в ней.

– Сказываю тебе: что невесела, голову повесила? – повторила старуха, шамкая беззубым и совсем провалившимся ртом.

– Ничего... Я так... задумалась!.. – смелее ответила дама, сразу заметив во взгляде старухи нечто противоречившее всей её фигуре. Глаза её, большие и круглые, были совсем светлые, чуть не белые, выцветшие от старости, но добрые, ласковые... За хрипотой с едва внятными словами слышалась та же простодушная ласковость.

Однако фигурой своей старуха была действительно диковиной, странным существом, нечасто встречающимся.

Очень высокая ростом, она была несоразмерно тоща и худая... Её спина изогнулась дугой, голова с длинной шеи поникла вперёд и от многих годов, и от необходимости за всю долгую жизнь смотреть на людей с высоты своего долговязого тела... Седые волосы с сильной желтизной, наполови-

ну белые и наполовину золотые, выбивались из-под повязанного и сбившегося чёрного платка... Лицо, маленькое, всё изрытое морщинами, казалось ещё мельче от большого длинного носа крючком, который, выпятившись и вися, чуть не упирался в острый и длинный подбородок. Казалось, что именно нос и подбородок, сойдясь вместе, мешали шевелиться глубоко ввалившимся губам. И всё это старое существо будто не походило уже на человека. Сгорбленная спина, пригнутая голова над совсем впалой грудью, изогнувшийся вниз длинный нос, всё вместе удивительно уподобляло её какому-то диковинному двигающемуся крючку.

III

Постояв молча и разглядев как следует сидящую, она вдруг протянула длинную руку, положила её на голову дамы и костлявыми пальцами погладила её по волосам.

Но, видно, белые глаза этого существа сказали что-нибудь в эту минуту, потому что дама не оробела, даже не удивилась, а, весело улыбнувшись, вымолвила:

– Сколько тебе лет, старушка?

– Много, сударка... У-ух, много. Тебе не посчитать.

– Семьдесят, восемьдесят?..

– Бона... – усмехнулась старуха, и её нос, казалось, ткнулся в подбородок. – Поболе сотни... Годов-то...

– Ну? Уж это ты прибавила, старушка.

– Зачем... Я бы рада отбавить.

– Всё-таки поменьше ста лет.

– По сущей по правде, сударка, сама не знаю. А люди вот сказывают, умные люди. Считают и сказывают, что сотню годов отжила и вторую начала...

– Да как же они считают, моя милая?

– Как? А вот как! Была я девка-невеста, когда цари-то жили ещё в Москве, а не у моря, на краю света, где нехристь одна селится. Был царь Хфёдор московский царь. Да. А те-перича пошли императрицы, потому что императоров боле нету. А почему всё такое – знаю я, родимая моя. Был вон

один и всего полгода процарствовал, и теперь опять императрица. А потому царей-то больше нет, что они Москву нашу матушку бросили, не хотят в ней жить. А вот что... Я с тобой присяду... Ноги у меня чтой-то слабеть стали.

– Садись! Садись! – живо выговорила дама, как бы спохватясь.

– Тебя-то стыд не возьмёт? С бабой да мужичкой сидеть.

– Полно... Садись... Скажи, как тебя зовут.

– Параскевой.

– Прасковьей?

– Нет. Зачем Прасковьей... Параскева я. Параскева Пятница. Муж, когда серчал, завсегда просто Пятницей звал. Ей-Богу. Кричит, бывало: дура ты, Пятница.

– И ты будто царя Феодора помнишь?

– Помню. Видала его, голубчика, будучи в девках ещё.

– Ты царя Петра Алексеевича, верно, помнишь, а не Феодора.

– Зачем? То Пётр. А то Хфёдор. Я не дура какая, сударка моя. Он вот помер, а меня замуж выдали. Бунты тогда на Москве каки были. Страсть! Бунтовали стрельцы и Матвеева боярина, знатного и доброго боярина, умертвили, окаянные... Мимо меня протащили тело его искрошенное.

– Как мимо тебя?

– Да. Я на площади с мужем была... Затесалась с глупых бабьих глаз. И вот, гляди... В тот самый день угораздило мне... Вишь, проруха.

Она нагнулась и показала на щеке большой рубец.

– Стрелец копьём задел... Пьян был, как и все они... Я выть, а он говорит: «Ничего, девка! До свадьбы заживёт!» А муж мой ему: «Кака она девка. Она моя жена!» Ну, стало, вот и не зажило. И дети были, и внуки были, и правнуки есть... А дыра-то всё видна.

И старуха заболтала о правнуках и о своих делах. Дама слушала сначала, но вскоре задумалась под её однообразный говор и незаметно для себя самой понурилась, сидя на скамье.

Старая Параскева, смолкнув, поглядела на неё и снова положила ей руку на голову.

– Эй, касатушка. Опять нос повесила. Эй, скажи, чего невесела?

Дама вздрогнула, пришла в себя, вздохнула и вдруг выговорила:

– Ах, старушка... Есть отчего...

– Горе какое?

– Горе не горе. А заботы... Большие.

– Да что? Говори. Я тебе твоё дело, мне чужое, руками разведу. Недаром сто лет живу...

Дама улыбнулась.

– К своему я делу вот ума не приложу! – вздохнула старуха. – А твоё – пустяковое. Верь мне. Говорю тебе... Плюну, дуну... И всё на ветер улетит. Говори. Вороги, что ли, у тебя... Обижают?

– Да.

– А заступы нет.

Дама не поняла.

– Заступиться некому?

– Некому.

– Совсем некому... Другов нет?

– Нет.

– Одна ты, стало, как перст? Бона! Замужняя, чай? Муж заболел? Бьёт?

– Нет. Я вдова.

– Вдовая! Ну, так! Вдова от всех терпи. Я тоже натерпелась. А ты поясни, какое дело-то, за что тебя обижают.

– Не обижают. А уж очень все... Всякий-то своё...

Дама будто колебалась мгновенье и вдруг вымолвила:

– Много народу... И всякий-то своё просит. Всякому угождать надо...

– Заедают?

– Да. Уж именно так, как ты говоришь.

– А ты удовольствоваться их не можешь?

– Нельзя, старушка. Нельзя. Много хотят.

– Та-ак! Это завсегда. Вдовье дело. Ну и злобствуют, гроятся.

– Да.

Старуха подумала и выговорила таинственно, как бы нечто крайне важное:

– Обещай, матушка.

– Что?

– Обещай, говорю

– Я не понимаю тебя, старушка.

– Обещай каждому, всем. Обещай и откладывай. Вот и перестанут злиться и грозиться. Говори: изволь, мол... Всё что прикажете... А когда? Скоро! А как скоро? Да вот как только можно будет. Смекнула?

И старуха, говоря, прищурила один глаз, будто подмигивая.

Дама долго смотрела ей в лицо, как бы соображая, и начала вдруг добродушно смеяться.

– Чему, молода-зелена? Не веришь?

– Нет, верю, старушка... Верю. Мне смешно не то. Так обещать, по-твоему? Обещать и обещать!.. А когда? Вот скоро. Когда можно будет...

– Во! Во!.. – таинственно шепнула Параскева.

Дама снова начала смеяться.

Между тем солнце давно исчезло за горизонтом и начало темнеть... Звёзды зажигались на ясном небе.

– Мне пора домой, – сказала вдруг дама.

– А тебе далече домой-то? Приехала небось из города погулять к нам.

– Нет. Я здесь живу.

– Здесь? Где ж это здесь?

– Здесь.

– Слышу, касатка. Да говорю тебе, где же здесь жить? У

нас тут домов барских нет.

– А вот этот, – показала дама на лес.

– Там же палаты графские.

– Я в них и живу.

– В палатах?!

– Да.

– Бона как! Как же ты туда попала? Там теперь царица.

Приехала на коронаваньё.

– Да. Я... У царицы есть такие... Ну, при ней дамы придворные... И я...

– При царице? – произнесла, как бы ахнула Параскева.

– Нет! – быстро ответила дама. – Я не при царице. Я приятельница дамы придворной, которая меня с собой привезла из Петербурга. Я при ней и живу теперь.

– Царицу-то выдаешь всё-таки?

– Видаю.

– Видаешь? – многозначительно, но робко переспросила старуха, как бы смутясь.

– Видаю. Редко.

– Редко? – как бы с облегчением повторила Параскева. –

Но всё-таки ин выдаешь... Бона как! А я с тобой болты болтала. Думала, ты барынька из города. У нас бывают такие-то. Приезжают погулять по полю, по лесу... Сказывают, в городе скучно. Да. Вона что! А ты царицу выдаешь. Ну, не осуди, золотая моя. Я ведь не знала.

– Что же такое, старушка, не беда. Я рада была с тобой

поговорить. Ты умная... Ты мне совет хороший дала, – рас- смеялась дама и прибавила, вставая: – Ну, прощай.

– Прости, золотая моя, – кланяясь, ответила Параскева. – Я ведь не знала.

– В другой раз приду сюда. Опять встретимся и опять по- говорим, – ласково улыбнулась дама.

– Как изволишь. Я что же... Рада служить.

Дама встала, улыбаясь, кивнула головой и тихо двинулась. Вскоре она исчезла за стволами деревьев.

Параскева долго глядела ей вслед и, наконец потеряв из виду, пробурчала себе под нос:

– Вона что! На каку наскочила!

Дама вышла из леса и, пройдя лужайку, вошла в большой двор, в глубине которого высился красивый дом. Солдаты, стоявшие у крыльца на часах, при её появлении вытянулись и взяли на караул, отдавая честь.

IV

В то же время Параскева тихой, но твёрдой походкой вернулась домой в свою избу на самом краю села Петровского, вдалеке от ряда крестьянских изб.

Молодой мальч, лет двадцати пяти, сидевший на крылечке, завидя её, быстро поднялся и юркнул в избу. Старуха тотчас смекнула, что это значило.

– Ах, разбойник, – проворчала она добродушно. – Робята! Думают перехитрить. А где же человеку, коему на свете двадцать минуло годов, перехитрить того, кому сто лет!

Старуха вошла в избу Среди первой горницы стоял, как бы в ожидании, тот же молодец, а рядом красивая девушка, лет восемнадцати. Это были правнуки старухи.

– Ну что, разбойники? Сказывайтесь.

Молоденькая Алёнка стояла, виновато потупившись, но улыбаясь. А её брат Тит смотрел в глаза прабабушке и отозвался смело:

– Чего тебе, бабуся?

– Чего? Говорю, сказывайтесь, разбойники.

– Нечего нам сказываться.

– Ну, ты, Алёнушка, – обернулась старуха к правнучке. – Ты у меня прямая душа. Не чета братишке-греховоднику Ты скажешься.

– Да что, бабуся? – отозвалась Алёнка, стараясь показать-

ся удивлённой вопросом.

– Что! Вестимо, что. Что такое у вас тут приключилось? Вижу я, что вас спугнула. Вижу, что дело нечисто Ну и кайтесь, головорезы.

Наступило молчание. Алёнка всё стояла, потупившись, но на лице её не было страха.

Тит отошёл к окошку, повернулся к старухе шиной и начал что-то мурлыкать.

– Вы что же это в самом деле?! – повысила голос Параскева. – Вы так-то со мной, старой? А если я вас выгоню от себя и никогда на глаза не пущу боле? Ну? Что тогда?

– Полно, бабуся, – обернулся Тит. – И как тебе не надоест всякий-то день, почитай, одни и те же слова говорить. Выгоню да выгоню. Ведь, кажись, лет десять ты это сказываешь. Никогда ты нас не выгонишь, да и не можешь. Во-первых, этого и закон не велит, чтобы выгнать внуков на все четыре стороны. Я не пропаду, а вот Алёнке бедствовать или милостыню просить – не след. Да и ты, не видая нас, сейчас по-мрёшь. Тебе без нас не жить. Трёх дён ты не проживёшь без Алёнки. Соскучишься и ноги протянешь.

– Не ври, деревянная голова, – отозвалась старуха, стараясь сделать свой голос гневным. – Вы меня изводите... Я от вас помру. Верно! А без вас проживу – нельзя лучше.

– Нет, не проживёшь! – усмехнулся Тит.

– Ан тебе говорю, проживу. Ну, ты умница, – приступила старуха к правнучке. – Говори. Сказывайся, что у вас тут?

– Да ничего же, бабуся.

– Побожись.

Алёнка молчала и затрясла головой.

– То-то... Не можешь божбу на душу взять.

– Зачем ей зря по сту разов в день божиться! – вступился

Тит за сестру.

– Ах, отчаянные. Чисто деревья! Ведь вижу я... Ну, ладно же, погодите, озорники. Будет вам! Я знаю, что сделаю.

Старуха, разгневавшись не на шутку, села на скамью и старалась догадаться, в чём, собственно, дело, так как она видела ясно, что застала правнуков врасплох.

– Ты бы, бабуся, пошла поглядеть на избу сотского. Посмотрела бы, что там у него приключилось. Такое, что ахти! – заговорил молодой малый.

– А что такое? – удивилась Параскева.

– Да вот поди. Увидишь, так и запрыгаешь. Хоть и не махонькая, а запрыгаешь.

– Да что такое, оголтелый?

– Поди, говорю, и увидишь.

Старуха привстала, хотела выйти из избы, но вдруг сообщила, что молодец хитрит.

– Нет, я уж лучше после пойду, – вымолвила она, лукаво ухмыляясь.

Брат с сестрой переглянулись, улыбнулись и, наконец, начали смеяться весело и добродушно.

– Ничего с бабусей не поделаешь, – выговорил Тит. – Вид-

но, нужно каяться. А то просидит она тут до вечера, и в город опоздаем. Эй, Матюшка! Вылезай. Делать нечего! – крикнул он.

И в ту же минуту из угла, где было на гвоздях навешано платье, вынырнула взлохмаченная чёрная и кудрявая голова. И затем молодой малый, ровесник Тита, вылез из своей засады.

– Прости, Параскева Васильевна. Не гневайся, – выговорил он, кланяясь.

– Ах, разбойники! – закачала головой старуха. – Недаром я чуяла! Как пришла, смекнула, что дело нечисто. Ну что же мне теперь с вами делать? К самому графу Кириллу Григорьевичу пойду и буду жаловаться.

– Будь милостива, Параскева Васильевна. Не могу я твоего приказания уважить, не могу не бывать у вас. Что хочешь, то и делай. Хошь голову сними, а я всё-таки сюда ходить буду! – покорно проговорил молодой малый.

– Ах, разбойники, мучители мои! – закачала головой старуха.

– Послушай, бабуся! – вступился Тит. – На сей раз Матюшку прости. Он пришёл за мной. Мне место важнейшее открывается. В конюха. Да ещё не к простому барину, а к князю.

– Ой ли? – оживилась вдруг Параскева.

– Ей-Богу, – ответил Матюшка. – Место – прямо диво дивное. Один всего конь. И господ – один князь. А при нём дядь-

ка, хороший, добрый. У нас в доме спрашивали, нет ли молодца. Я вот про Тита сказал, поручился, как за родного. Ну вот и велели его к тому князю привести.

– Ну что же... На этот раз Бог с тобой. Спасибо, – сказала старуха. – Но ходить к нам всё-таки не ходи. Вольная крепостному...

– Ну, ну... Слышали уж сто разов, – махнул рукой Тит.

– Слышали и ещё услышите... Да. Не пара. Покуда я жива да Алёнушка при мне...

– Тоже слышали, бабуся, – снова прервал старуху правнук. – Ты про дело скажи. Если этот самый князь меня возьмёт, я назад не приду. Наведаюсь когда после. Когда отпустит. Пускай Алёнка меня проведать придёт.

– Как бы не так, – отозвалась Параскева. – Она к тебе, а ты с ней к Матюшке. Хитры больно.

– Что же тут худого, Параскева Васильевна, – заявил молодой парень. – Уж так ли, сяк ли, а быть Алёнушке моей женой. Верю я в это во как. Зато она у нас на дворе повидала бы, чего ни в жисть не увидит.

– Чего это такого? – спросила старуха небрежно.

– Всех питерских вельможных господ. Все-то в золоте... Нашего Григория Григорьевича увидела бы в его кафтане царицынском. Ноне в Москве токмо и говорю, что про господ Орловых. Они у меня первыми стали...

– Тем хуже, Матюшка. Тем хуже, дурак! – воскликнула Параскева.

– Это точно... – уныло отозвался парень, вздохнув.

V

Старушка Прасковья Васильевна Беляева называла себя Параскева – так, как её звали все всю жизнь. Когда у неё спрашивали, почему у неё такое имя, она отвечала просто:

– А Бог его знает! Всю жисть так прозывалась.

Говоря, что ей за сто лет, она, конечно, преувеличивала, но то обстоятельство, что она была уже замужней во дни стрелецкого бунта и сама видела умерщвление боярина Матвеева, доказывало, что за девяносто лет старухе, конечно, уже было, хотя на вид ей казалось менее.

Параскева была очень умная и очень добрая старуха. Родившись в глуши Приволжской губернии, в маленькой глухой деревушке, она попала в дворню и в услужение в барский дом и до двенадцати лет была сенной девчонкой-«побегушкой», а очутившись в Москве, вышла замуж за лакея важного сановника.

Благодаря уму и известной доле хитрости она добилась того, что вместе с мужем была отпущена господами на оброк. Через десять лет, сумев скопить деньги, она вместе с тремя детьми вышла на волю. Ещё через десять лет она овдовела, но имела уже маленький домик в одном из глухих переулков Москвы и получала порядочный доход, не от дома, конечно, а от того ремесла, за которое взялась.

Ремесло это сделало её известной всей дворянской

Москве. По целым дням бывали у неё посетители, приносившие ей по пяти и десяти и более копеек. Мужчин бывало меньше, женщин – больше, причём особенно много барских барынь, ключниц и нянюшек.

Раза три-четыре в неделю Параскеву звали в дома ради того же ремесла, очень выгодного с одной стороны и опасного с другой. Денег оно давало больше, чем какая-либо торговля. Зато многие косились на Параскеву и побаивались её, так как дело её было – гадать на картах, на кофейной гуще, на зёрнах и просто на воде.

Женщина согласилась сделаться ворожеей ради детей и больших средств к жизни, но в душе её вместе с тем явился разлад. Сама она, женщина от природы правдивая и прямодушная, а равно и богомольная, знала, что она живёт как бы обманом людей, да кроме того, гадая и толкуя людям об их будущей судьбе, она, пожалуй, и грешит.

«Нешто можно провидеть о том, что Господь судил? Толковать об этом, пожалуй, грех большой», – думалось ей.

Вследствие этого нравственного разлада произошло то странное явление, что Параскева, считаемая чуть ли не колдуньей, не пропускала ни одной службы в своём приходском храме, говела по четыре раза в год, а на свечи к местным образам тратила большие деньги. И ежедневно, просыпаясь и ложась спать, она, читая молитвы, прибавляла со вздохом:

– Авось Господь простит, разживусь совсем, брошу это греховодничество.

Гадая разным господам, дворянам и их прислуге, Параскеве случалось, конечно, изредка предсказывать так верно, что все бывали поражены, и молва разносила по Москве её имя. При этом, разумеется, умная и тонкая старуха пользовалась тем, что была крайне наблюдательна и сообразительна.

Прежде чем явиться гадать в каком-либо важном доме, Параскева собирала о семье всякие сведения. В этом деле ей помогали десятка полтора всяких мещанок и бедных дворянок, которые сновали из дома в дом и знали близко все дела, всю подноготную каждой дворянской семьи.

Поэтому, придя гадать в какой-нибудь дом, Параскева не только знала хорошо наличный состав всей семьи, но по большей части знала и все дела их, и все главные заботы насущные. Кроме того, благодаря своим картам женщине случалось равно устраивать и расстраивать важные дела: не только покупку или продажу имущества или имения, но и свадьбы. А за это её одаривали те, кому бывала прямая выгода.

Так прошло много лет, и однажды женщина, имея большой достаток, разделила его между сыном и дочерью, оставив себе немного. У них завелись собственные семьи. Она осталась жить одна на гроши и, тотчас же бросив своё выгодное ремесло, чувствовала себя счастливой, что перестала лукавить, обманывать людей и грешить пред Богом.

Дети её не разжились, а прожились, и кончилось тем, что

когда Параскеве минуло почти восемьдесят лет и сын её и дочь умерли, внучка замужняя тоже умерла, но оставив на свете двух круглых сирот, старуха взяла поневоле правнучат к себе, и пришлось снова подумывать о заработке. Но снова взяться за гаданье в свои годы Параскева не решилась, конечно.

– Скоро умирать придётся! – решила она. – Надо свою душу спасти. Ещё неведомо, замолила ли я свой старый грех, так где же тут опять начать грешить?..

И, как женщина крайне сообразительная, Параскева придумала иное средство иметь достаток. Будучи случайно знакома с одним из любимых слуг гетмана графа Разумовского, она через этого приятеля устроилась на особый лад. Она добилась, хотя и с трудом, что в подмосковном имении Петровском получила целую десятину земли внаём, на которой завела огород.

На небольшие деньги, оставшиеся у правнуков от их матери, она выстроила просторную избу – целый домик близ самой десятины и принялась за дело, которое не было таким грешным, как прежде. И дело пошло на лад. Многие дворяне в Москве, конечно, из небогатых, стали её покупателями. И время живо промелькнуло.

Когда-то Параскева поселилась промеж села и леса с двумя маленькими детьми; теперь со старухой жили здоровый, рослый молодец Тит и хорошенькая Алёнка. Но только теперь явилась у Параскевы новая забота, преследовавшая её

от зари до зари.

Алёнку полюбил славный малый из дворни господина Орлова. Алёнка тоже влюбилась в него до потери разума. А между тем согласиться на брак старуха не решалась, так как опытом жизни пришла к убеждению, что крепостное состояние самое жалкое. Добрый же и честный Матюшка, которого старуха тоже полюбила, был крепостным господина Орлова. Выдать свою внучку – вольную птицу и имеющую ещё за собой и приданое, за крепостного человека, чтобы закабалить с воли в крепость, старуха не могла.

Целую зиму толковали вместе об этом деле старушка, правнучки и Матюшка. Молодёжь уверяла, что быть крепостным никакой беды нет, если господа добрые, но старуха стояла на своём и считала этот случай в её жизни наказанием, за её прежние грехи. Мало ли молодцев в Москве свободных, нужно же было внучке полюбить крепостного холопа.

И энергичная старуха упрямо стояла на своём, что не выдаст внучку за Матюшку до тех пор, пока он не получит отпущной. Тогда молодой малый через управителя своего барина Ивана Григорьевича Орлова начал переговоры, и барин соглашался отпустить на волю дворового, но не иначе как за пятьдесят рублей, что было деньгами, по выражению Параскевы, «агроматными», то есть громадными.

Ценил так барин своего молодца, потому что теперь завелись новые самовары, одни большущие, другие крошечные, которые надо было уметь ставить, а Матюшка, будучи в доме

«самоварником», был на это дело мастер.

Деньги эти старуха начала, однако, откладывать втихомолку, но вдруг за это лето случилось удивительное приключение, которое, поразив всю Москву, поразило особенно старуху, хотя совершенно на особый лад. Барин Орлов, будучи братом двух петербургских гвардейцев, долженствовал, по слухам, ходившим после воцарения новой императрицы, вдруг сделаться именитым барином и стать вдвое богаче.

Параскева была поражена, правнуки её тоже; Матюшка окончательно нос повесил. Разбогатевший барин мог теперь совсем не отпустить дворового на волю или же запросить гораздо больше. Старуха сочла и это обстоятельство как бы наказанием за прежний свой грех ворожбы и гадания.

«Нужно же было именно Матюшкину барину попасть в вельможи и в богачи», – думалось старухе от зари до зари.

Эта неожиданная беда не выходила из головы Параскевы, и об этой беде именно она и хотела сказать той барыньке, которую встретила сегодня. Она сказала:

– Твоё, чужое мне, дело руками разведу, а вот к своему горю ума не приложу!

И действительно, всё, что барынька ей рассказала, казалось Параскеве самым простым и пустяковым делом сравнительно с делом Матюшки.

Теперь, вернувшись от барыньки и найдя снова Матюшку у себя в домике, Параскева должна была поневоле простить правнуков ради того, что орловский «самоварник» принёс

добрую весть.

Вот уже три месяца прошло, как Тит, всегда имевший в Москве место, теперь сидел на харчах у своей прабабки без дела и без жалованья. А оно было большим подспорьем. Рассчитанный за что-то бывшими господами, он никак не мог найти новой должности, так как у всех дворян были свои крепостные в услужении и во всех домах их была куча. И наёмные редко кому были нужны.

Весть, принесённая Матюшкой, что петербургский офицер ищет конюха на большое жалованье в шесть рублей в год, а офицер этот вдобавок ещё и князь, обезоружило старуху.

– Ну, Бог тебя прости, отчаянный, – сказала она. – А всё-таки больше не ходи к нам, покуда не откупишься.

Затем старуха, не любившая откладывать дело в долгий ящик, несмотря на позднее время, тотчас спровадила правнука в Москву попытать счастья.

VI

Поздно вечером Тит и его приятель были уже в Москве на Никитской и ужинали в людской. Молодой парень Матюшка привёл Тита ночевать к себе, то есть в дом своих господ, с тем чтобы наутро рано свести его и рекомендовать на место к князю, которого называл то Козлов, то Козюлькин, то Косляевский.

Дом господ, которым принадлежал Матюшка, был в эти дни одним из первых домов столицы. Имя Орловых почти гремело, и не только в обеих столицах, но и в глухих окраинах империи.

Все россияне знали, какое участие приняли два дворянина-офицера Григорий и Алексей Орловы в происшедшем на берегах Невы «действе» и воцарении новой императрицы Екатерины Второй.

Весь вечер, что просидел Тит в людской после ужина, он видел, как съезжались вереницей экипажи во двор и как большой дом наполнялся гостями.

– Что же? День ангела чей? – спросил он.

– Какой ангел, – отвечали холопы. – У нас эдак теперь завсегда. Все теперь к господам полезли, все ласкаются. И день-деньской, и ночью отбою нет.

Наутро рано приятели собрались по своему делу, но оказалось, что Матюшке отлучиться нельзя. Пришлось ставить

самовары. И Тит только ахал, помогая приятелю. Самоваров двадцать поставили они да самоваров восемь долили и разогрели.

– Да кто же это у вас так наливается? – спросил он.

– Кто? Все! Мало ли народу! – объяснил Матюшка. – У нашего барина Ивана Григорьевича на хлебах много народа. Да молодые господа из Питера с собой навезли всяких приятелей. Да гости с зарёй уже лезут. Бывает, я и тридцать пять самоваров поставлю. Большим барином стал наш Иван Григорьевич из-за своих питерских братьев. Да и шутка ли, когда оба при царице, а Григорий-то Григорьевич и совсем при ней первым. Датютюнтом, что ли?

– Как? Чем? – удивился Тит.

– Не знаю. Мудрёное прозвище его. Ну эдак, к примеру сказать, он при царице в денщиках состоит. А прозывается генерал датютун аль датютан.

И Тит, продолжая ставить самовары, продолжал дивиться, глядя в окно на двор и на вереницы въезжающих и уезжающих экипажей и всадников.

Двор дома Орловых на Никитской у церкви Егорья-на-Всполье бывал действительно переполнен экипажами с утра до вечера. Вся Москва сновала ежедневно у господ Орловых, рассуждая, что их вскоре придётся звать «сиятельствами», а титул второго брата, Григория Григорьевича, будет, пожалуй, и ещё повыше. И по таким причинам, о которых и говорить опасно...

Всего месяца три-четыре назад, когда в родовом доме, доставшемся от покойного отца, жил один старший, Иван Григорьевич Орлов, не бывало никого, кроме полудюжины самых близких приятелей. А некоторые сановные люди Москвы даже и не знали, есть ли такой дворянин Орлов.

Первый вельможа первопрестольной фельдмаршал граф Разумовский был и первый обыватель Москвы, который уже с полгода назад вдруг полюбопытствовал узнать: «Кто и что дворянин Орлов и не родня ли он одного петербургского офицера, цалмейстера Орлова?»

А пожелал это узнать фельдмаршал, любимец и ближайшее лицо к покойной императрице Елизавете Петровне, по причине некоторых слухов, уже дошедших к нему с берегов Невы.

И граф узнал, что у дворянина Орлова ещё четыре брата и все они в Петербурге, трое офицеры, а один ещё кадет. А известны братья только тем, что первые охотники на медведей. Народ лихой, но и кутилы из первых.

Через три месяца после расспросов Разумовского Москва вспомнила, поняла, почему вельможа любопытствовал раз-узнать кой-что об этих людях. Совершился переворот в пользу супруги императора Петра Феодоровича, и она из принцесс Ангальт-Цербстских была провозглашена императрицей-самодержицей. А вожаками всего переворота, совершённого двумя гвардейскими полками, были братья Орловы. И тотчас после этого Григорий Орлов был назначен ге-

нерал-адъютантом к государыне.

– Пожалуй, будет он при новой царице тем же, чем и я был при покойной, – объяснял граф Разумовский близким друзьям.

– Как можно! Бог с вами! – отзывались они в один голос. – Такие редкие случаи не повторяются. Что же Орлов? Офицерик из захудалых дворян.

– А я-то и вовсе из пастухов хохлацких! – шутил граф, всегда помнивший и говоривший прямо, кротко и скромно о своём простом происхождении.

Несмотря на особенно большой съезд гостей в этот день, Матюшка и Тит около полудня всё-таки убрались совсем и отправились по своему делу.

Князь, к которому Матюшка повёл приятеля поступать на место, жил недалеко, на Арбате, на церковном дворе, в небольшом домике, который нанимал.

Молодцы явились с заднего крыльца, нашли пожилую женщину и объяснились. Женщина велела им обождать в сенях и сказала:

– Пойду Ивану Кузьмичу скажу. Да только ему не время. Он с князьком бранится. Только сейчас начал. Стало быть, вам долго придётся ждать-то.

– Как же так? – спросил Матюшка.

– Как. Просто. Схватились. А когда Кузьмич с князем зачнут пыряться, конца нет. Бывает, цельный день щиплются. Хуже вот петухов бьются.

– Дерутся! – ахнул Тит.

– Вот дурак! Нетто крепостной человек может с барином своим драться... Щиплются. Словами друг дружку шпыняют. Обождите часок. Замолчат коли на минуточку, я, пожалуй, войду и доложу. А во время битвы лезть – от обоих достанется.

Молодцы уселись на ступеньках заднего крыльца, и благодаря тишине на улице, на дворе церковном, да и во всём квартале гул голосов двух спорящих в квартире ясно доносился до них. Только слов нельзя было разобрать. Через несколько минут, когда гул замолк, женщина прошла в комнаты и не затворила за собой дверей. Молодцы явственно расслышали старческий голос, который восклицал:

– В гроб вгонишь меня. В гроб вгонишь. Увидишь в гробу – помянешь... Поплачешь, пожалеешь. Да поздно будет. Мёртвый не встанет, как ни проси.

– Не я тебя... Нет. Не я тебя... А ты вот меня, Кузьмич, на тот свет спровадишь своей канителью! – отвечал молодой голос с оттенком досады.

– Богу ответ отдашь, хоша и дитё...

– Хорошо дитё выискал. У тебя я и в сорок лет, прижив с женой ребят, всё дитёй буду.

– Вот женись, и не буду дитёй звать.

– Отвяжись, ради Создателя.

– Не отвяжусь.

Женщина вернулась, не доложив о пришедших, и захлоп-

нула двери. И снова доносился только один гул голосов.

И только через час вышел старик, дядька князя, и, увидав молодцев, спросил. Тит ему показался пригодным, и он тотчас доложил барчуку.

VII

Князь Александр Никитич Козельский был молодой двадцатидвухлетний офицер Измайловского полка, только что произведённый в чин из сержантов. Москвич по рождению и сирота, воспитанный тёткой, которая его боготворила, он поступил в полк и, очутившись один в Петербурге, много пережил невзгод.

Жизнь с солдатами в казарме, за неимением средств, требования службы, отсутствие женского ухода и всякого баловства угнетали молодого человека. Он считал Петербург своего рода Сибирью, а свою службу каторгой. Командир роты, в которую он был зачислен, дал ему прозвище сначала «маменькин сынок», потом «Александра Никитишна», потом «сахарная барышня» и, наконец, уже «пуганая канарейка».

Действительно, молодой малый, явившийся на службу в виде доброго, скромного юноши, воспитанного, как девочка, а не как мальчик, казался запуганным. Запугали его порядки полковые и казарменная жизнь.

На вид казалось князю не двадцать два года, а лет семнадцать. Среднего роста, сильно полный, кругленький, белый и румяный, ещё не бреющийся за неимением даже и пушка над губами – он был «пышка». Кроме того, с добрыми светло-серыми глазами, с милой полудетской улыбкой на пухлых пун-

цовых губах, с тихим девичьим голосом и мягкими, не мужскими движениями офицер походил на переодетую в мундир молодую девушку. Ни дать ни взять – девица-пышка.

И в полку все товарищи облюбовали больше всего второе прозвище, данное князю ротным командиром, так как оно отлично шло к нему. Заглазно он был для всех «княжна Александра Никитишна». Но вместе с тем все любили доброго и скромного молодого человека и старались смягчить его положение «запуганного» службой после домашнего жителя под крылышком или под юбками обожавшей его тётушки и боготворившей его дворни. Воспитательница его, старая девица Осоргина, хотя была и небогата, но держала при себе кучу дворовых. Сделавшись из боготворимого барчука солдатом, он усердно, но тщетно старался быть воином-офицером, избегать взысканий и огорчений, но ничего не выходило, и командир окрестил его прозвищем «пуганая канарейка». Он прозвал бы юношу и вороной пуганой, но изящная внешность князя этого не допускала.

Когда прошёл слух, что коронация новой императрицы совершится безотлагательно в сентябре месяце, а два полка гвардии выступят гораздо ранее, князь Козельский обрадовался. Не было сомнения, что измайловцы пойдут на коронацию, и юный офицер надеялся повидаться с своей тёткой, которую с детства очень любил.

Однако князю пришлось выехать в Москву ещё в конце июля, и не для свидания со своей воспитательницей, а на её

похороны. Старая Осоргина внезапно скончалась, а её воспитанник был вызван дядей, родным братом отца.

Приглашение явиться в Москву от этого дяди было для молодого человека двойной неожиданностью... Он плакал искренно и говорил о потере доброй старухи, заменившей ему родную мать, но вместе с тем и дивился несказанно, что его вызывает дядя, князь Александр Алексеевич Козельский.

Он этого дяди совсем не знал, даже никогда не видал с семилетнего возраста, когда дядя явился на похороны своего брата, а его отца Никиты Алексеевича.

Юный князь знал только со слов воспитательницы-тётки, что старик лет шестидесяти был «чудодей», был когда-то женат на страшной полужидовке-богачке, давно овдовел, жил в вотчине около Калуги, тратил громадные деньги на разные «чудеса» и нравом был таков, каких – весь свет пройди – второго не сыщешь!

Но в чём дядя был чудодей и какие чудеса творил, старая девица никогда ни единым словом не обмолвилась, объясняя питомцу, что юношам эдакое знать не приличествует.

– В своё время, когда станешь мужчиной, то и многое узнаешь, что будет ещё хуже дядюшкиных чудес, – вздыхая, говорила тётка. – А пока не надо тебе о таковых мирских обстоятельствах понятие и суждение иметь.

И тот дядя представлялся воображению князя Александра то каким-то сказочным царём Берендеем, то Кошчем

Бессмертным. Во всяком случае, представлялся ему уродливым, злым и страшным. Этому представлению немало помогало и то обстоятельство, что дядя и крёстный отец, в честь которого он носил имя Александра, заявлял старой девице два-три раза, что видеть своего крестника и племянника не желает, так как вообще мальчишек не любит, ибо они всегда без исключения «сухая пакость».

Старуха частенько охала и тужила, что у сироты-питомца нет никакого состояния, кроме двадцати пяти душ крестьян в глухой степной орловской вотчине, где даже и барский дом не существует, давно сгорел. Сама она после своей смерти могла оставить племяннику маленькое полуразорённое имение тоже в Орловской губернии, около полусотни душ. Жить на доходы и оброк можно будет питомцу благоприлично, подворянски, но очень не широко. А между тем у родного дяди такое состояние, что деньгам и счёту нет. В одной Калужской губернии до тысячи душ в трёх больших имениях. Да кроме того, богатые вотчины ещё в трёх губерниях.

И беседы Осоргиной с питомцем несколько лет подряд о будущности и судьбе её «Сашунчика» сводились всегда к одному:

– Что бы богачу дяде подарить племяннику хоть полтысячи душ. Что бы ему и совсем сделать крестника своим наследником... Что бы ему вдруг, прости Господи, сразу представиться и без завещания в пользу какой-нибудь посторонней «ублажательницы». Тогда Александр стал бы богачом, а

потом стал бы генерал-аншефом.

Когда юноша собрался в полк, дядя, несмотря на письма и просьбы старой девицы помочь ей «обшить и справиться» племянника, не дал ни гроша и даже ответил коротко и грубо. Затем, явившись в отпуск к тётке после производства в капралы и трёхлетнего пребывания в полку, князь Александр узнал от Осоргиной, что дядя Александр Алексеевич в свои шестьдесят лет с хвостиком собрался жениться вторично и, может быть, уже и повенчался с молдашкой лет пятнадцати.

Слух о появлении и существовании молдашки, то есть молдаванки, при особе князя Александра Алексеевича подтвердился за время пребывания князя-капрала у тётки. Но слух о женитьбе, однако, не подтвердился. Дальний родственник обоих князей, приехавший из Калуги, заявил только, что видел молдашку собственными глазами.

– Маленькая, чёрненькая, лохматая и востроносая... – объяснил он. – Визжит, царапается и кусается...

– Ох, Господи! – обомлела старуха. – Да почему же эдакто?

– Молдашка, сударыня. Вот почему, – объяснил родственник, коротко и ясно.

Князь Александр никогда особенно не мечтал и не надеялся получить в наследство огромное состояние дяди, но всё-таки изредка поневоле подумывал, под влиянием мечтаний Осоргиной: «Почём знать, чего не знаешь!»

Молдашка смутила и старуху, а он, вернувшись из отпуска

в полк, тоже перестал окончательно думать о дяде и наследстве. Он теперь уже знал и понял, в чём заключались «чудеса» дяди-вдовца, а равно знал, чего ждать от разных молдашек и им подобных прелестниц.

VIII

На похороны воспитательницы-тётки Сашок, конечно, не поспел, ибо покойница давно уже была похоронена, так как со дня её смерти прошло около двух недель. Но на квартире покойной он нашёл письмо дяди на его имя, в котором тот советовал племяннику привести все дела в порядок, то есть вступить во владение наследством, но и уплатить «по чести» все долги покойницы, а в том числе и пятьсот рублей, давным-давно одолженных ей им, князем Александром Алексеевичем. При этом князь объяснял:

«Лет уже десять с лишком были мною госпоже Осоргиной даны двести пятьдесят карбованцев. Прибылей никаких я не видал с них, ни алтына. А понеже всякий капитал, хотя бы то был и алтын, за десять годов удвоится, то ты и почти своим долгом чести оный долг в пятьсот рублей мне уплатить по введении себя во владение движимым и недвижимым имуществом покойницы, твоей благодетельницы».

Молодой князь подивился немало. Богач дядя просил об уплате пустой для него суммы, на которую, к тому же, не могло быть никакого документа.

«Уж лучше бы было, – думал он, – достойнее и благопристойнее не поминать об этих двухстах пятидесяти рублях, да ещё жидовствовать и требовать вдвое. А тётушка ещё грезил, что он сделает меня, своего единственного родственника,

наследником своих богатств».

Объехав в Москве старых знакомых, Сашок, конечно, не умолчал о требовании дяди.

– Весь он тут – живой! – говорили все.

– Узнаёшь князя Александра Алексеевича!

– И деньги не нужны, конечно. И не желательны даже. Это ради форсу. Он не скряга, а скорее расточитель.

– Чудодействует. Больше ничего.

И затем все хором добавляли:

– Да, родной мой, дядюшка у вас – всю Россию пройти – второго не сыщется. Первого разбора на чудесничество.

Но один из знакомых посоветовал:

– Сказывают, Александр Алексеевич приедет, а может, уж и приехал ради коронавания. Вы его повидайте и попросите этих денег не требовать.

– Ни за что! Бог с ним! – решил Сашок. – Пошлю их ему...

Справив все формальности, чтобы войти во владение маленьким наследством, и повидав кой-каких прежних знакомых, он посетил в том числе самого главного, дальнего родственника или, вернее, свойственника покойной Осоргиной.

Это был человек лет шестидесяти, служащий в Верхнем земском суде, уроженец Москвы, никогда её не покидавший за всю жизнь. Далее Горохового поля, Донского и Симонова монастырей и Воробьёвых гор он от столицы никогда не уезжал. Старика знала вся Москва дворянская и очень уважала. Именовался он особенно, а не просто. Как дед его, боярин

ещё времён царя Алексея Михайловича, как отец его, дворянин времён первого императора, так и он сам – все трое звались Романами, а фамилия их была та же, что у царствующего дома.

Роман Романович Романов, столь же суровый на вид, сколько добрый человек, обрадовался появлению «Сашки» Козельского, обласкал его, пригласил навещать почаще, а затем тотчас стал покровительствовать ему.

Вскоре, узнав от молодого князя, что он должен немедленно возвращаться на службу, несмотря на то что скоро весь полк выступит в Москву на коронацию царицы, он решил по-своему.

– Зачем же? – сказал он. – Что же шататься зря? Это мы устроим.

И через недели две Сашок получил разрешение оставаться и ждать полк. Но когда пришло это разрешение, уже другая, вторая просьба Романова за молодого князя тоже была исполнена.

Старик убедил юного офицера оставаться на службе в Москве, в качестве адъютанта, у кого-либо из видных военных... Через недели три после первой беседы с Романовым князь был уже определён состоять при особе военного московского генерал-аншефа князя Трубецкого в качестве домашнего адъютанта для «ординарных» услуг.

Всё совершилось быстро и просто, но только один князь да его дядька Кузьмич удивлялись. Москвичи же не диви-

лись ничему по отношению к Роману Романовичу Романову, ибо все давно знали, что у старика сильная «рука» в Питере, то есть большие связи. При этом удивительно было лишь одно обстоятельство. Старик был одинаково всемогущ и при царице Анне, и при царице Елизавете.

Теперь же, при вступлении на престол новой императрицы, Романов тоже разными мелочами доказал, что он стал ещё сильнее, да к тому же, давно будучи на службе, вдруг стал начальником Верхнего суда.

Всем являвшимся с просьбами ходатайствовать за них он говорил, однако, скромно:

– В чём важном – не взыщите, коли с арбузами останемся. А вот в пустом каком деле я помочь готов и помогу, чем могу.

Однако эти «пустые» дела бывали для иных москвичей очень важными, как, например, определение на службу, испрошение наград, избавление от ябеды, выигрыш тяжбы и т. д.

Кто был в Петербурге «рукой» Романова, он никогда не обмолвился, но предполагали, что при императрице Анне это был кабинет-министр Вольтинский, а затем позднее и до настоящего дня оба графа Разумовские. Во всяком случае, Романов теперь бывал постоянно у графа Алексея Григорьевича на Покровке, где тот поселился со дня смерти Елизаветы Петровны.

Главный и любимый партнёр именитого фельдмаршала в

играх в шашки и в бирюльки был «Романыч».

Когда пришлось устроить племянника «покойной приятельницы, Романов, вероятно, быстро сладил дело из-за покровительства Разумовского.

Устроившись окончательно в Москве, юный Сашок вдруг ощутил нечто, чего до той поры почти не знал. Недоумевая, что с ним приключается, или боясь признаться искренно самому себе, в чём, собственно, дело, он решил, что хворает. Впрочем, Сашок если не знал, то чуял причину всего, но молчал. Дядька же его наивно думал, что его питомца просто-напросто вдруг обуяла страшнейшая скука. И случилось это, по его мнению, просто. В Петербурге его князинька жил в казармах, постоянно видался с товарищами и вместе с ними коротал день на службе, а вечер где-либо в гостях. В Москве же очутился один, на квартире в глухом переулке Арбата и без единого товарища. Были дворянские семьи, которые его звали и обедать, и вечером, но Сашок был скромн до конфузливости, дичился чужих людей, чувствовал себя в обществе связанным и убеждался, что он недостаточно благовоспитан.

– Нет во мне никакой светскости! – вздыхая, жаловался он дядьке.

Между тем причина внезапной тоски юного офицера, похожей на хворь, была особая, хотя тоже простая... На церковном дворе жила и часто по церковному садику гуляла молодая женщина, очень красивая. И такая, каких Сашок ещё

никогда не видывал. Так, по крайней мере, он находил, всё больше думая о ней. А хитрый Кузьмич это происшествие проморгал, а поэтому и решил, что всё тоска одиночества наделала.

Впрочем, дядька был доволен, что его питомец не «рыскает» по городу и сидит больше дома. А от этой тоски, вдруг напавшей на «дитё», старик ретиво уже искал лекарство. И то же самое, что бессознательно искал сам Сашок.

IX

Кузьмич был крепостным молодого князя, но он был его дядькой и потому не считался лакеем. Всякий дядька, как и всякая нянюшка, выходившие своих питомцев, пользовались во всякой семье дворянской совершенно особым положением. То обстоятельство, что Сашок был сиротой и не имел никакой родни, за исключением воспитательницы-тётки и дяди, которого он никогда не видел, дало Кузьмичу ещё большее значение. Тётка Сашка любила Кузьмича, считала его очень умным человеком, обращалась с ним как с равным и даже, что было большой редкостью, позволяла Кузьмичу садиться при себе.

Когда Сашок отправился в Петербург на службу, женщина поручила ему племянника, говоря, что рассчитывает на него, как если бы он был отцом Сашка. Наказывая беречь молодого человека как зеницу ока и ограждать от всего худого, она объяснила Кузьмичу, что город Петербург не таков, как город Москва. Там живут всякие безбожники, потому что куча немцев всех россиян там перепортила.

– Никакому добру от немца не научишься! – сказала она. – Береги Сашка, ты за него отвечаешь не только предо мною, грешной, но и пред самим Господом Богом!

Сашку женщина наказала, чтобы он слушался Кузьмича кротчайше и сугубо во всё. Таким образом, будучи в Пе-

тербурге сначала нижним чином, а потом офицером, молодой человек хотя и тяготился опекой дядьки, но повиновался ему, боясь ответа перед тёткой.

Теперь, после смерти старухи Осоргиной, поселившись в Москве, Сашок постепенно, почти незаметно для самого себя, стал всё менее обращать внимания на советы Кузьмича. Ещё в Петербурге товарищи смеялись над ним, что он боится своего дядьки. Теперь Сашок сам верил, что пора выйти из-под опеки доброго старика, считающего его ребёнком.

– Я, слава Богу, не маленький! – повторял постоянно Сашок.

Но Кузьмича эти слова сердили, раздражали, а главное, обижали.

– Никто тебе не говорит, что ты махонький! – восклицал он. – Но когда ты глупое затеял, то моя должность – тебе глупость твою пояснить!

И в Москве между дядькой и питомцем стали бывать уже постоянные стычки и препирательства.

Тит, явившийся наниматься, попал именно на одну из таких битв. Однако вскоре же всё стихло, и Кузьмич, выйдя и увидя молодца, тотчас же занялся им, расспрашивая и сообщая. Тит понравился старику, понравился и князю и был оставлен в доме в качестве конюха для ухода за верховой лошадей. Через три дня молодец был уже свой человек в доме. Одновременно с его поступлением дядька стал чаще отлучаться со двора, а питомец недоумевал.

Однажды Кузьмич, надев своё новое платье, снова исчез из дому, но, предупреждая своего барчука, что ему нужно отлучиться по важнейшему делу, дядька имел такой торжественный вид, что Сашок подивился более, чем когда-либо.

«Что у него завелось? – думал он. – Баба, что ли, какая на старости лет его околдовала?» Не зная, что делать с тоски, Сашок сел к окну, выходящему на садик при церкви. Он надеялся, что красавица соседка – как всегда это бывало в отсутствие Кузьмича – выйдет погулять и пройдёт под его окном. Однако на этот раз он около получаса просидел, тщетно ожидая появления женщины, «каких, ей-Богу, вот никогда не видывал!»

С досады Сашок вышел во двор и отправился в конюшню. Тит оказался там и усердно чистил лошадь. Князь сел на скамейку, стал глядеть и выговорил:

- Ты смотри, Тит, сдуру Атласного не опои.
- Как можно, – отозвался молодец.
- Ты это знаешь. Опойённая лошадь пропала.
- Да и человеку негодно воды испить, когда он взопревши, – заметил Тит.
- Это ты умно сказываешь. Это правда.

Тит самодовольно улыбнулся и принялся ещё усерднее за дело. Наступило молчание, но Тит как-то странно взглядывал на барина искоса.

– А уж всё-таки извините, Лександра Микитич, – вдруг заговорил Тит. – А из себя она всё-таки пригожая до стра-

сти...

– Да. Зато и стоила полста рублей...

– Как же так? – удивился Тит, совсем оборачиваясь к князю, и, разводя руками, где были скребница и щётки, прибавил: – Нешто вы ей полста рублей дали уже... Стало, сладилось?

– За неё дал. И то по дружбе господин Романов мне продал. Ему самому она дороже обошлась.

– Да вы про что, Александра Микитич?

– Как про что?.. Про Атласного.

Тит глупо рассмеялся и стал утирать нос щёткой.

– Чему, дурак, смеёшься?

– Я не про неё, не про лошадь сказывал... Я про Катерину Ивановну.

– Что-о? – изумился Сашок, хорошо знавший, кого так зовут.

– Я про супружницу нашего вот пономаря сказываю, что пригожа и всё привязывается ко мне. Как повстречает, то держит да спрашивает. Отбою мне нет от неё.

– Тебе?! – ещё пуще изумился Сашок и слегка вспыхнул от чувства, самому непонятного.

– Да-с. Проходу не даёт. Всё одно... Что князь твой? Где князь? Сколько ему годов? Что он за барин? А пуще всего пытается, нет аль есть у вас зазноба какая, а коли нет, то, может, женитьба на уме. Видать, что она в вас втюриилась во как... Да и чего мудрёного. Вы князь да офицер, а её-то

муженёк хворый, лядаший, безволосый, а она-то вон какая краlechка. Вы бы уж, ваше сиятельство, её успокоили. Ведь терзается...

– Полно, дурак, окоlesiцу нести! – вдруг вспыхнул молодой малый и, вскочив, быстро ушёл в дом.

Здесь он сел у окна, выходящего на улицу, потом стал прохаживаться по комнатам, потом опять сел к другому окну и глядел на редких прохожих... Раза два за целый час он насто-раживался, прислушивался и высовывался из окна... До его слуха долетал топот лошадиный... Подчас проезжали мимо его домика кареты, колымаги, иногда офицер верхом, и он с особым чувством озлобления поглядывал на проезжих. Когда же наступала в переулке тишина, – Сашок принимался снова слоняться по своей квартире.

Наконец, выглянув в окно, выходявшее на церковный двор, он вдруг увидал чернобровую, белолицую женщину в розовом платье и белом шёлковом платочке на голове.

Сашок вспыхнул ещё сильнее, чем от болтовни Тита. И на этот раз он не выдержал...

Тотчас надев кивер, он вышел и, волнуясь, начал тихо бродить между кустов садика.

Храбрости у молодого человека было настолько мало, что он не только не пошёл прямо навстречу красавице пономарихе, а взял левее, тогда как она гуляла в правой стороне садика. Однако минут через пять красивая брюнетка свернула на другую дорожку и плавно зашагала в его сторону.

Сашок понял, что если он ускорит шаги, то минует её, а если замедлит, то прямо сойдётся, столкнётся...

И он слегка замедлил шаг, подбадривая себя рассуждением:

«Что же? Не я. Она сюда повернула... Я в своём угле гуляю. И что ж за беда... Да и Тит говорит...» И через мгновение молодой человек и красивая пономариха встретились на узенькой дорожке. Сашок счёл нужным немного посторониться.

Молодая женщина смущённо прошла мимо, но так при этом глянула на князя, что его, как он почувствовал, «и ошибло, и ожгло!»

Снова разошлись они в разные углы садика, но, следуя каждый своей дорожкой, должны были неминуемо сойтись снова, на том же месте.

«Заговорить? – спрашивал себя Сашок вслух, но шёпотом. – Тут обиды нет. Мы на одном дворе живём. Соседи... А какие глазки? Вот глазки!» И он шёл, робко косясь, даже издали, на красивую молодую женщину, мелькавшую за зеленью.

И он твёрдо решил заговорить! Непременно!.. Но снова встретились офицер и пономариха и снова разошлись, не проронив ни слова и даже с равнодушным видом.

Х

Прошла неделя... Сашок по-прежнему ежедневно ездил на краткое дежурство к генералу князю Трубецкому... Дядька снова два раза отпросился со двора и пропал надолго. И Сашок был этому рад, ибо и пономариха появилась оба раза в садике. И он, конечно, вышел гулять... И конечно, они встречались. И конечно, не заговорили. Красавица держала себя ещё более робко и этим наводила страх ещё пущий на «княжну Александру Никитишну».

Однажды, когда Кузьмич ушёл из дому в третий раз, у подъезда квартиры офицера вдруг остановилась тележка, запряжённая одной лошадью. Насколько кляча была заморена, настолько же был неказист на вид и кучер в рваном кафтане и с каким-то шлыком на голове вместо шапки. Вся сбруя была тоже перевязана кой-где верёвочками.

В тележке сидел какой-то господин, далеко не щёгольски, хотя чисто одетый, и спрашивал:

– Здесь ли живёт измайловский офицер, князь Козельский?

Сашок высунулся в окно, ещё полуодетый, в одной сорочке, и крикнул:

– Вам меня нужно?

– Не могу знать, – отозвался приезжий резко.

– Как-с? Вы сейчас вот спрашивали... Стало быть, пола-

гаю, вам меня нужно?

– Не знаю, говорю, сударь, – снова так же резко отозвался приезжий.

– Как не знаете? Вы же спрашиваете?

– Я спрашивал, здесь ли живёт князь Козельский Александр Никитич...

– Ну да.

– Что да?

Сашок удивился вопросу и не знал, что отвечать, а незнакомец продолжал насмешливо и даже дерзко усмехаться, глядя на него.

– Я князь Козельский, – произнёс он наконец.

– Так бы и говорили. А вы говорите: меня ли нужно? А на лбу у вас совсем ничего не прописано, и узнать по этому, вас ли мне нужно, нельзя.

Приезжий вылез из тележки медленно, а затем обратился к кучеру и выговорил сурово:

– Игнат, держи ухо востро. Вожжи понатяни да оглядывайся. Избави Бог, конь испугается чего, шархнется, бить начнёт... Тогда прощай. И от тележки, и от тебя самого ничего не останется. Хоть ты и первый кучер в столице, а всё-таки с блажными конями опасение всякое нужно...

И незнакомец пошёл на крыльцо.

Сашок глядел, однако, не на него, а на лошадь и отчасти даже рот разинул от удивления.

«Каким образом, – думалось ему, – такая заморённая кля-

ча, которая, расставив ноги, опустив голову и повесив уши, еле держится на ногах, может бить и разбить...»

Офицер быстро надел камзол и сюртук, и когда незнакомец вошёл к нему из прихожей, он уже был готов.

– Честь имею представиться, – заявил неожиданный гость. – Сенатский секретарь чином и ходатай по всяким судейским делам, Вавилон Ассирьевич Покуда. Заметьте сударь. Покуда, а не паскуда.

– Пожалуйте. Прошу садиться, – несколько удивляясь, сказал Сашок.

Гость был уже не только пожилой человек, но старик, хотя бодрый, державшийся прямо, даже несколько важно или гордо. Лицо с морщинами было удивительно белое, свежее, даже с лёгкими пятнышками румянца, зубы, ровные, белые, без единого изъяна, блестели, когда он ухмылялся тонкими губами. Карие глаза были какие-то особенные, маленькие, но острые, будто и лукавые, и особо проницательные. Во всяком случае, гость произвёл на Сашка впечатление человека себе на уме, с которым надо быть осторожным на словах.

– Что вам угодно, чем я одолжен вашим посещением? – заговорил Сашок.

– Я слов не люблю. Люблю дело, – ответил гость. – И буду я не красноречив, а краткоречив. Во-первых, прошу вас вспомнить и затвердить, как я прозываюсь.

– Как-с? Ну, это я, виноват...

– Моё имя, отчество и фамилию помните?

– Виноват-с... – несколько смутился Сашок. – Действительно... Мудрёна она малость... И я забыл уже... Фамилию помню. Покуда!

– Покуда. Верно-с.

– Никогда, признаюсь, таковой не случилось слышать.

– В Малороссии не бывали?

– Как-с?

– Странно это, сударь мой. Всё-то вам повторяй по два раза. Как-с да как-с. Да вот так-с. Бывали вы в Малой России, или Малороссии, или в Хохландии, где хохлы живут?

– Нет, не бывал.

– Ну вот, оттого, вишь, моя фамилия, древняя и дворянская, или казаческая запорожская, вам и кажется странной. Покуда – стариннейший род. А что кажется вам удивительной – верю. У нас в Хохландии есть древний род казаческий, и фамилия его: Убий-Собака. Заметьте: собака, а не собаку. Это – разница. А отчего вам не кажется чудна фамилия Козельский? И Козёл, и Козла... Ну-с, а имя и отчество своё я вам повторяю: Вавилон Ассирьевич. Ничего сие наименование вам не напоминает?

– Как-с?

– Ну вот опять: как-с. Если вы эдак всегда сказываете, то вас могут прозвать: князь Какс Никитич Козельский... Но будет переливать нам из пустого в порожнее, или воду толочь. Сказывайте. Есть у вас дядюшка родной?

– Есть.

– Он же и ваш крёстный отец?

– Да-с.

– И он же очень богатый человек. И он же вас знать не желает. Верно ли?

– Действительно, – начал было Сашок, но гость перебил его и удивил.

– И дабы вы не могли наследовать после него, как требует закон и справедливость, он делает завещание в пользу какой-то девки-полутурчанки. А так как вотчины родовые, да кроме того, турки обоего пола не могут владеть ни родовыми поместьями, ни тем паче крепостными людьми, то дядюшка ваш всё должен продать, денежки наличные скопить и из рук в руки девке-полутурчанке отдать... Известно ли вам это обстоятельство?

– По правде сказать, я этого всегда ожидал, – ответил Сашок.

– И вам на это наплевать?

– Как-с?

– Ну вот опять: как-с! Я вас спрашивал. Вас, князя Какса Никитича... Виноват... Князя Александра Никитича Козельского, неужели вам всё, всё равно? Что нет ничего!.. Плевать! Вы палец о палец ударить не можете, чтобы спасти родовые вотчины от дурашной продажи, не потерять огромное наследство.

– Да что же я могу!

– Всё можете! Всё!

– Извините. Ничего не могу-с. Я дядюшку почти никогда в жизни не видал, то есть видел ещё в ребяческие года и не помню.

– Зачем же вы не едете сами к нему теперь на поклон, по вашей племяннической должности? Чего же вы хотите, чтобы он сам к вам явился с поклоном? А он теперь здесь, в Москве. Ради коронования.

– Я бы поехал, – ответил Сашок, подумав, – но он, я знаю, меня очень нехорошо примет. А то и вовсе не захочет видеть... Обидит. А то прогонит, на глаза не пустивши. А я, в качестве офицера, такового с собой обхождения допустить не могу. Нет уж, Бог с ним!

– Ну, если дело обстоит эдак, сударь князь, – заявил гость, – то, правда, делать нечего... Тогда надо иначе вам взяться. И вот я – Ассирий Вавилоныч Покуда, – хочу для...

– Вы сказывались Вавилоном Ассирьевичем, если я не ослышался? – удивился князь.

– Нет. Вы ослышались. А вот теперь слушайте в оба, – весело смеясь, но резко произнося слова, ответил гость. – Я хочу в качестве ходатая по делам тяжёлым, ябедным и иным предложить вам мои услуги. Желаете?

– Право, не знаю. Что же вы сделаете?

– Я-то?.. Да я всё сделаю. Я все законы, какие есть в империи и какие были, всё знаю, как вы знаете аз, буки, веди... Мы начнём судиться с князем Александром Алексеевичем и заставим его вам, как племяннику, уделить хоть половину

всех его родовых поместий. Ведь он, Козельский, что холостой, бездетный... Вы последний отпрыск, или единственный потомок той же княжеской линии. Стало, по закону всё должно быть ваше.

– Нет-с. Я думаю и размышляю иначе, – заявил Сашок холодно. – Дядюшка до своей женитьбы имел небольшое состояние, такое же, как и мой родитель... У дедушки моего, их родителя, было всего три вотчины... А если дядюшка теперь богач, то потому, что женился на богатой особе и наследовал после её смерти да затем сам приумножил всё, что ему досталось. Стало быть, все его вотчины и капиталы не родовые, а благоприобретённые. А как таковые, он имеет право отдать или подарить всё, что имеет, кому только вздумается.

– Хотя бы и девке-полутурчанке...

– Хотя бы даже самому султану турецкому, коего он никогда не видал, а не только красавице девице, которая пользуется его расположением вот уже сколько времени и, со своей стороны, вероятно, не раз доказывала ему своё к нему расположение, как близкое лицо.

Гость глядел на молодого князя, разинув рот от искреннего удивления.

– Так вы вон как рассуждаете? – выговорил он наконец.

– Да-с. По совести и по здравому уму... Будь я на его месте – я поступил бы так же...

– Скажите пожалуйста? – уже вне себя от изумления воскликнул гость. – Вы и судиться-то даже не хотите, а я, глупая

голова, понадеялся... Я к вам явился, полагая, что вы мне дадите ваше согласие даже и на то, чтобы князя-дяденьку похерить каким-нибудь снадобьем... Так в рюмочку малость самую подболтать, дать хлебнуть и наследовать.

– Что-о? – вскрикнул Сашок. – Да как вы смеее мне эдакое...

– Не кричите...

– Как вы смеее мне, – ещё громче закричал Сашок, – мне, дворянину и офицеру, эдакое говорить. Если вы сами мошенник, вор и убийца, так не смейте других с собой равнять.

У молодого князя, как у многих добрых и кротких людей, гнев проявлялся припадком. Взволнованный и пунцовый, он встал со стула и выкрикнул:

– Пожалуйте! Вон пожалуйте! Вон! Вон!

– Да чего вы, Какс Никитич, расходились? Вам человек добра желает, предлагает богатым стать... А вы на дыбы. Ведь у вас гроша за душой нет. Хорош князь, в онучах. А похеривши, к примеру, каким снадобьем дяденьку, вы сразу богач... Подумайте.

– Ах ты, приказное семя! – заорал Сашок. – Да что мне тебя, зарубить, что ли? Как собаку?! Вон! Пошёл вон! – орал он, наступая на гостя.

– И пойду, пойду. А коли одумаешься, горячка, то пошли за мной, – равнодушно выговорил гость. – Вот тебе и моё прописанное предложение. Авось поймёшь.

И, положив на стол лист бумаги, сложенный вчетверо,

гость пошёл из комнаты, усмехаясь. Но не только не злобно, но как-то добродушно, как если бы с ним случилось здесь что-либо приятное.

На крыльце он крикнул зычно:

– Игнат! Подавай рысака.

Возница взял за вожжи и начал передёргивать, но заморённая кляча едва двинулась с места и шагом доплелась к подъезду, как бы через силу таща тележку.

– Не бил? – спросил барин.

– Чего изволите? – спросил и кучер. – Кого-с?

– Оголтельный! И ты тоже начнёшь скоро говорить: как-с.

Тебя спрашивают: конь не бил?

Кучер поглядел на барина укоризненно, и Сашок, глядевший в окно, всё видевший и слышавший, заметил, как кучер головой качнул, будто негодуя на барина.

– Что, у тебя язык, идол, отнялся? Конь, говорю, смирно стоял или бил?

– Бил! – азартно произнёс кучер.

– Бил? Ну вот... Мог бы и тебя, и экипаж вдребезги разнести. А ему цены нет.

– Мог бы... Да только сил нет, вишь, в чём только душа держится...

– Дурак! Нешто у коня есть душа? – важно произнёс барин, косясь на князя, сидящего у окна.

И, сев неспешно в тележку, он выговорил:

– Держи вожжи... Поосторожнее... Смерть боюсь лихих

и блажных коней.

Кучер начал снова передёргивать вожжами, но так как несчастная кляча не брала с места, то он достал кнут и начал хлестать животное.

– До свидания, ваше сиятельство, – крикнул гость, оборачиваясь к Сашку, который, смеясь, глядел в окно. – Передумаете, то пошлите за мной. А писание-то моё, что на столе, прочтите. Коли не поймёте, то Кузьмичу дайте. Он шустрее вас и поймёт.

Гость отъехал почти шагом, а Сашок, вспомнив о бумаге, взялся за неё.

Гнев, на него напавший от дерзости неведомого нахала-стрекулиста, быстро прошёл, да и «блажной» конь его рассмешил.

Прочитав несколько слов, Сашок ничего не понял, ни единого слова, как если бы написано было по-турецки или по-китайски.

XI

А гость молодого князя, протащившись на своей кляче до первого угла и завернув за него, тотчас же вылез из тележки. Здесь ожидали его довольно приличные, хотя и не элегантные дрожки, порядочная лошадь и кучер, одетый просто, но чисто.

– Ну, ты, – обратился он к вознице на тележке, – ступай домой! Авось к вечеру доедешь. Послезавтра опять понадобится.

Сев в дрожки, он приказал второму кучеру:

– Ступай к немцу-табачнику, а оттуда поедем в разбойное место.

Лошадь, не очень казистая на вид, взяла, однако, с места крупной рысью, и вскоре дрожки были уже на Тверской и остановились у маленького магазина. Господин, рассердивший Сашка, вошёл в магазин. При его появлении молодой приказчик начал низко кланяться, а затем крикнул в соседнюю комнату:

– Карл Карлович, идите!

В магазин вышел немец небольшого роста, рыжеватый и в синих очках и, крайне любезно, почти подобострастно кланясь, заговорил, заискивающе улыбаясь:

– Что прикажете, ваша светлость? Чем обязан такой великой чести?

– А вот чему, немец ты треклятый! Народ обманываешь, торгуешь по русской пословице: «не обманешь – не продашь»... Приехал тебя бить! Какой ты мне табачище прислал прошлый раз?

– Самый лучший, только что полученный с корабля, ваша светлость, с неделю только назад получил из Кронштадта.

– Заладил опять свою «светлость». Тысячу раз говорил я тебе, что я такая же светлость, как и ты сам...

– Это ничего... Это всё одно... – улыбался немец.

– Да кроме того, ты и брешешь, потому что этот табак ни в каком Кронштадте не бывал и ни на каком корабле не плавал. Он тут у нас на живодёрке нашёлся. Небось, какие-нибудь казанские татары вместе с мылом продали его тебе, а ты меня заставляешь эту пакость нюхать. Хочешь на поселение в Сибирь?

Немец, хорошо говоривший по-русски, стал клясться и божиться, что его табак действительно получен из-за границы и что, вероятно, случайно он оказался каким-нибудь другим сортом или же отсырел во время пути морем.

– Позвольте мне прислать вашей светлости послезавтра другую коробку...

– Другого табаку?

– Нет-с, не буду лгать! Табак будет всё тот же, но я его известным образом просушу, и вы увидите, что вкус у него будет совсем другой.

– Ну ладно! А если опять надуешь, то так и знай: я тебя

могу под суд упечь и в Сибирь сослать!

– Знаю, что можете, ваша светлость, – отвечал немец, улыбаясь. – Но этого не будет, потому что табак будет отличный.

Когда посетитель вышел из магазина, немец проводил его до самых дрожек, любезно подсадил и кланялся без конца. Вернувшись в магазин и пройдя к себе, немец уже по-своему сказал жене, сидевшей за кофе:

– Слышала разговор, *meine liebchen*¹?

– Слышала!

– Станный человек! Когда подумаешь, что такие люди – и кривляются и шутуют! Зачем? А всё-таки доволен, что я его величаю «ваша светлость».

Между тем посетитель немца уже ехал шибкой рысью по Тверской и, переехав площадь, остановился у большого подъезда большого казённого здания. Это был суд, именуемый им «разбойным местом». Поднявшись по каменной лестнице и вступив в длинный коридор, разыскал солдата и выговорил:

– Ивана Флегонтыча можно ли видеть?

– Можно! – ответил солдат, оглядывая посетителя с головы до пят и как бы соображая, какого он звания и стоит ли беспокоить начальство из-за него.

– Так доложи, пожалуйста: Макар Гонялыч Телятев, по делу господина Баташева.

Солдат было двинулся, но затем остановился, снова обер-

¹ Моя дорогая (*нем.*).

нулся к посетителю и, слегка сморщив брови, спросил:

– Как вы сказываете: Телятин?

– Макар Гонялыч Телятев! – повторил тот.

– Гонялыч... – повторил солдат. – Телятев...

И он пошёл по коридору.

Вернувшись через пять минут, он вымолвил, проходя:

– Обождите! Им не время. Вот посидите!

И он ткнул пальцем в деревянную лавку. Посетитель оглянулся кругом и, увидя свободное место на одной из скамеек между толстым купцом и каким-то старичком в замасленном мундире, подошёл, извинился и сел между обоими. Вавилон Ассирьевич Покуда, преобразившийся теперь в Макара Гонялыча Телятева, скромно уселся на своё место и стал озираться.

Самый разнообразный народ сидел вдоль стен, и у всех был одинаково невесёлый вид. Можно было догадаться, что все здесь находящиеся приходят сюда поневоле и считают себя несчастными. Это были люди, так или иначе причастные к тем делам, которые производились в этом казённом месте.

Господин, меняющий свои имена, был прав, конечно, называя это место «разбойным». Просидев с четверть часа, оглядев всех, изучив все фигуры, он заметил в углу сидящую около офицера бедно одетую женщину лет пятидесяти, с чрезвычайно милым лицом. Он сейчас же решил, что женщина – дворянка, несмотря на поношенное платье. Оглядев

снова всех ожидавших очереди, и снова глянув на эту женщину, он заметил, что она поспешно утирает глаза.

– Вон как! – выговорил он вслух.

– Вы чего-с? – отозвался толстый купец, думая, что он обращается к нему.

– Я-с? Ничего-с!

– Вы сейчас что-то сказали?

– Точно так-с. Только не вам...

– Простите-с!

– Простил-с!

Последнее слово было сказано так, что купец покосился на соседа, кашлянул и отвернулся, считая себя несколько обиженным. Назвавшийся же Телятевым тотчас встал, перешёл комнату и, приблизившись к даме и её соседу, офицеру, произнёс насколько мог вежливее:

– Извините, пожалуйста, мне там сидеть очень мудрёно. У купца такие сапоги, что я угорел от них. Дозвольте сесть между вами?

Дама и офицер раздвинулись. Он опустился на скамью и тотчас же заговорил со своей соседкой.

– По делу, конечно, какому здесь, сударыня, находитесь?

– Да-с! – ответила женщина охотно.

– Вот и я так-то! Беда! Разбойное место! – тихонько прибавил он.

И, расспрашивая подробно, через несколько минут он знал уже все горести этой женщины. Она подробно и охот-

но передала своё дело, из-за которого уже второй год является сюда и сидит часами. У неё оказалась тяжба с соседом, и вскоре, по её грустному убеждению, ей предстояло проиграть правое дело. Сосед, у которого сильное покровительство в Москве, должен неминуемо оттягать у неё пятьдесят душ крестьян, подгородных, зажиточных, платящих большой оброк, как если бы их было двести душ.

Выслушав всё, назвавшийся Телятевым предложил женщине свои услуги.

– Не подумайте, – сказал он, – что я хочу нажиться, что вы во мне найдёте кляузника-ходатая, который только вытащит у вас последние гроши и ничего не сделает. Вперёд вас предупреждаю, что я уплаты никакой с вас не прошу и буду ходатайствовать даром.

Попросив адрес барыни, он узнал, что её зовут Елизавета Ивановна Калинина и что она урождённая княжна Тихменева. Вспомнив время лет за двадцать пять назад, он заявил Калининой, что у них найдутся и общие родственники. Он обещался через день или два побывать у женщины и усердно взяться за её дело.

– Прямо-таки обещаю вам, что мы вашу тяжбу выиграем! – сказал он весело. – Не примите меня за болтуна, я на ветер ничего не говорю.

Женщина стала горячо благодарить, но в эту минуту подошёл солдат и, оглядывая всей сидящих со середины комнаты, выкрикнул:

– Который тут Телятин?

– Я! – отозвался тот.

– Вас зовут! Вот прямо по коридору и вторая дверь на правую руку. Да вы, кажись, уже бывали у нас, – прибавил он, приглядываясь.

Телятев двинулся и через минуту сидел уже на маленьком стульчике, бочком, скромно съёжившись и подобрав ноги под себя. Перед ним на кресле величественно восседал чиновник, один из многих заседателей суда, очень важная птица для всех просителей, но, конечно, далеко не важная по должности, им занимаемой.

Телятев заявил, что является просителем по делу секунд-майора Баташева, и начал было объяснять, в чём заключается дело. Иван Флегонтыч, по фамилии Скрябин, остановил его, сухо выговорив:

– Я лучше вас знаю это дело. Не вам мне его разъяснить! Что вам угодно?

– Узнать, когда можно ожидать его окончания?

– Окончание будет, когда дело кончится.

– Так-с! – скромно отозвался Телятев. – Но нельзя ли узнать, когда именно?

– Нельзя!

– Но можно ли надеяться, что дело окончится в пользу майора?

– Надеяться можно. Это законом не воспрещается! – отозвался Скрябин. – Но позвольте узнать, по какому праву вы

являетесь вместо самого майора мне докучать вопросами?

– Он хворает, ваше высокородие! Он – мой большой приятель, и я вызвался ходатайствовать за него. Дело это правое, и поэтому...

– Правое оно или неправое – это судить нам, а не ему и не вам. А я так полагаю, что дело совершенно неправое. Ваш майор просто ябедник.

– Помилуйте! – отозвался Телятев печально.

– Нельзя мне вас и миловать! Говорю – ябедник! И дело, конечно, проиграет. Таких людей полезно даже поучить!

– Ну а позвольте узнать, ваше высокородие, нет ли возможности какой направить оное дело к благополучному разрешению? Я человек со средствами и сирота. Хотелось бы мне очень одолжить единственного приятеля. Я ему вчера предлагал в третий раз, а сегодня вам доложу. Я готов пять тысяч рублей с удовольствием пожертвовать на это дело, чтобы его разъяснить.

Скрябин пристально поглядел в лицо посетителя ястребиными глазами и как-то мигнул, а потом прибавил:

– Вон как! Что же... разъяснить всё можно. Ведь и мы не святые угодники. И мы можем ошибаться. Конечно, обсудив дело зрело, можно... Как бы выразиться?... Можно найти законные статьи, кои гласят противоположительно другим...

И он замолчал, как бы не зная, что ещё сказать.

– Дозвольте, ваше высокородие, – заискивающе заговорил Телятев, – мне, маленькому человеку, обратиться к вам с

всенижайшей просьбой. Направьте меня и посоветуйте какого-нибудь ходатая взять, чтобы вручить ему сии пять тысяч, дабы он занялся старательно и толково делом друга моего майора.

– Можно. Хорошо, – протянул Скрябин и быстро прибавил: – А как, скажите, вы прозываетесь? Мне солдат чудно вас как-то назвал: Макар Гонялыч...

– Эка дурень он. Макар Гонялыч, да ещё Телятев. Гаврилыч я. А то будто выходит пословица: куда Макар телят не гонял!

– Правда. Правда, – рассмеялся Скрябин и, подумав, заявил: – Что же? Можно! Это можно. Насчёт то есть стряпчего. У нас есть такие ходатаи. Ануфриев, к примеру.

– Так соизвольте, ваше высокородие, как бы так сказать, препоручить ему оное дело и передать ему уплату вперёд. А сии самые деньги я вот с собой взял.

И Телятев достал из кармана довольно объёмистую пачку ассигнаций, перевязанных тесёмочкой, и положил на стол.

– Нет, это что же? – отозвался Скрябин, жадно косясь на деньги. – Ведь это и после можно. Зачем же вперёд?

– Нет, уж будьте благодетелем, сделайте такое одолжение. Господом прошу. Вступитесь за правое дело. Вызовите сего ходатая и от себя вручите ему.

И, поднявшись со стула, Телятев вышел из комнаты, пятясь ради вежливости и низко кланаясь.

– Ах, разбойник! Душегуб! – ворчал он без конца, сидя

уже в дрожках, и, наконец, крикнул кучеру: – Нет, на сегодня будет с меня. Обозлили! Пошёл домой.

Через минут десять он был на Лубянке и въезжал во двор большого барского дома. Швейцар, завидя дрожки, выбежал на подъезд. Ливрея его, вся в позументах, и золотая булава ярко сверкнули на солнце.

– Был кто? – спросил он, вылезая из дрожек.

– Были-с. Граф Разумовский.

– Фельдмаршал?

– Никак нет-с. Граф гетман. И приказали доложить, завтра, мол, буду хуже татарина к обеденному столу...

– Что-о?! Хуже татарина? К столу?

– Три раза изволили повторить. И приказали мне: точно-де доложи ты эдак, не переври, мол...

– Понял! Понял... Ну, скажи дворецкому сейчас послать гонца верхового к гетману и передать: «Завтра, мол, не могу принять, обедаю сам у канцлера Михаила Ларивоныча, у Воронцова, а послезавтра прошу пожаловать и, стало быть, уже не татарин.» Не переверёшь?

– Никак нет-с, – бойко и весело ответил швейцар. – Я тоже надумал, теперича, какой такой татарин...

По лицу,говору и ухваткам крепостного холопа ясно видно было, что барина любит и не боится.

XII

Если Кузьмич исчезал из дому и хлопотал, то виновником было всё-таки его дитё ненаглядное. Посторонний человек, обсудив отношения старика дядьки и юного офицера, однако, взял бы сторону последнего.

Сашок не мог ступить ни шагу, чтобы Кузьмич не явился со своим советом или порицанием.

Каждый вечер, оглядывая кошелёк питомца, Кузьмич расспрашивал, куда Сашок истратил деньги. Когда молодой человек приезжал откуда-нибудь с обеда или вечера, Кузьмич настоятельно и будто с тайной целью допрашивал его, кого он видел, с кем познакомился, о чём говорил.

Но главное, чем досаждал и изводил старик питомца, была одна и та же, почти ежедневно десять раз повторяемая фраза.

– Уберегайся женского пола!

Кузьмич действительно боялся как огня, что какая-нибудь лихая баба вскружит голову его дитю и погубит.

И разумеется, старик только и думал об одном: как бы поскорей женить Сашка. Когда была жива старуха Осоргина, он считал, что это не его дело. Теперь же, когда Сашок остался сиротой на его попечении, он считал своим святым долгом не только подумать об этом серьёзно, но и приступить поскорей к делу.

Кузьмичу казалось, что теперь-то именно, когда они по-

селились в Москве, и можно всего лучше женить питомца. Невест в дворянских семьях Москвы было много. Старик решил, что нужно, не откладывая дела в долгий ящик, тотчас приняться разыскивать невесту. Не искать богатой приданницы или дочери важного вельможи, а найти добропорядочную девицу, хотя бы и с маленьким приданым, но, главное, добрую и благодравную.

Разумеется, одновременно Кузьмич постоянно повторял питомцу:

– Пора тебе бракосочетаться! Жениться. Пора.

И так как эти слова повторялись постоянно, то они уже начали тоже сердить Сашка, и он начал отвечать, что никакой охоты жениться у него нет.

– Ну, ладно! – отвечал Кузьмич, махая рукой. – Это моё дело. Найду невесту, так придёт у тебя охота.

Несколько времени тому назад, увидя однажды своего питомца на церковном дворе гуляющим одновременно с пономарихой, очень красивой женщиной, Кузьмич ахнул, даже смутился, как если бы узнал и увидел что-либо чрезвычайное. На его немедленный совет – не зариться на всякую «ракалию» в юбке – Сашок отвечал резко. Произошло опять сражение, и жаркое.

Молодой человек сильно рассердился, как бывало с ним редко, и прямо заявил, что пономариха вовсе не ракалия, а красавица и скромница редкая, какая всякому может и должна нравиться.

И он был прав. Грубое определение Кузьмича совсем не шло к молодой пономарихе, жившей на церковном дворе. Она была столь же красива, сколь скромна и робка. Молодой офицер и князь, недавно поселившийся около них, ей страшно нравился. Муж её, уже очень пожилой, был не ревнив – потому что был совсем «лядащий». А между тем, она чем более думала о князе, тем более робела...

Последствием объяснения офицера и дядьки было, однако, только то, что дядька начал ещё более думать о женитьбе питомца.

Дело тут, конечно, не в пономарихе, рассудил он, но просто: пора ему, пора!

И Кузьмич вскоре окончательно убедился, что в Москве ему гораздо легче, чем в Петербурге, женить своего забуянившего молодца, который стал брыкаться.

«Здесь, в Москве, самое место бракосочетанья, настоящее, потому что питерцы обасурманились и всё творят на за-морский лад, – рассуждал старик, повторяя слова покойной Осоргиной. – А в Москве без нашего брата ни одному браку не быть. Без нас, слуг господских, не обойдётся».

И старый дядька был прав. Ни одного сватовства, ни единой свадьбы не было в Москве, чтобы крепостные холопы господ дворян не вмешались в дело, устраивая или расстраивая планы своих господ. Разумеется, подобное случалось в тех семьях дворянских, которые жили на дедов и прадедов лад, а не по-новому и которые, приискивая жениха или неве-

сту, искали не денег и сановитости, а озабочивались только будущим счастьем своих детей.

Прежде чем решить первостатейный вопрос всей будущей жизни сына или дочери, всякие родители тайком наводили справки, производили целый «сыск», чтобы верно узнать, что за человек намернувшийся жених, что за девица наменная невеста.

Лучше и ближе всех да отчасти беспристрастно могли знать и сказать холопы.

У добрых, справедливых и человеколюбивых господ дети женились и выходили замуж скорее и легче.

– Наш барчонок золотой. Поведения, что тебе монах. К родителям почтительный, к холопам ласковый, – говорила дворня.

– Наш барчук – злыдень... Всех нас поедом ест. Отца с матерью в грош не ставит. Юбочник, каких не сыщешь. Ни горничным, ни санным проходу от него нет.

– Наша барышня – ангел. Прямо святая девица. Рукодельница. Ничего худого на теле нету, и вся-то раскрасавица. Здоровищем – пышка медовая.

– Наша барышня суцая ведьма. Девочек булавками в кровь истыкала. На боку у неё во пятнице, чёрное, в том роде, как мышь с хвостом. А здоровье? Заживо тронулось и разваливается.

И вот эти заявленья крепостных рабов и всевозможные сведения, собранные с заднего крыльца, решали судьбу мо-

лодых господ.

Много девиц-дворянок оставалось в старых девках только потому, что гневно и прихотливо расправлялись собственноручно со своими горничными.

Разумеется, среди этих рабов проявлялись иногда и мстители, злыдни и клеветники. Господа это знали. Но тем не менее обычай крепко держался. Без взаимного, якобы тайного, опроса холопов никто не хотел обойтись.

Заведя много знакомых и пошатавшись, Кузьмич многое подробно сообразил и на все лады взвесил.

– Уж если я моего князюшку в Москве не женю, то где же тогда! – решил он.

Без малого с месяц назад старик, без цели болтаясь по улицам своего квартала ради новых знакомых, пока его питомец был на службе у генерала Трубецкого, случайно зашёл в церковь к вечерне.

В церкви было мало народу. В числе прочих Кузьмич увидел молодую девицу и пожилую женщину. Конечно, старик тотчас определил и не ошибся, что это нянюшка со своей питомицей, дворянской девицей. Обе сразу чрезвычайно понравились Кузьмичу.

Женщина молилась без перерыва и всё клала земные поклоны. Девушка, очень юная и миловидная, держала себя очень скромно, тоже крестилась не переставая, но казалась тоскливой.

Но не столько ещё понравилась Кузьмичу эта девица,

сколько её богомольная добродушная нянька. При выходе из храма старик заговорил с женщиной и, перемолвившись, узнал, что барышня по имени Татьяна, а по фамилии Квоцинская, а родители её живут поблизости в своём доме. А няньку зовут Марфой Фоминишной. Бывают же они у всех служб в своём приходе. И не далее как через три дня Кузьмич хитро затащил к обедне в эту церковь своего питомца и указал ему на молодую девушку, будто и сам видя её в первый раз. Молодые люди за всю обедню украдкой переглядывались, но затем, по выходе из храма, Сашок на вопрос дядьки ответил:

– Она-то? Да что же? Ничего. Мало ль эдаких.

XIII

В приходе Спаса-на-Песках в переулке стояли в глубине двора просторный одноэтажный дом с мезонином, а правее от него небольшой флигель. Свежевыкрашенный в тёмно-серый цвет дом и флигель блестели на солнце, сильный запах краски достигал даже до улицы. Впрочем, не было улицы или переулка, где не было бы того же. Вся Москва чистилась, мылась, красилась и украшалась на все лады ко дню торжества въезда новой государыни.

В доме этом родовом, уже перевидавшем в своих стенах три поколения, жила семья дворян Квощинских, состоящая из двух пожилых лиц – отца и матери, двух юных, их сына и дочери, и, наконец, брата хозяина, пожилого холостяка. Пётр Максимыч Квощинский, отставной поручик, уже давным-давно жил безвыездно в Москве, если не считать поездки и отлучки в маленькое подмосковное имение около Звенигорода, где собирался он быть предводителем дворянства. Всё состояние Квощинских заключалось в этом доме и в этом имении душ с сотню.

Квощинские были исконные москвичи, дворяне средней руки по положению общественному и по состоянию. Отличительная черта семьи заключалась в том, что кто с ними знакомился и видел их в первый раз в жизни, старался вспомнить, не знавал ли он их прежде или не напоминают

ли они чересчур какую-либо семью, уже знакомую давно.

Происходило это потому, что Квощинские были такой семьёй, каких было в Москве до полусотни. Всё, что было в них самих, что было у них и крутом них, было будто не своё, а заимствованное, скопированное с других.

Как дома их были окрашены в серую краску, так же точно всё было того же цвета... И они сами, и всё, что они делали и говорили, и всё, что их окружало...

Но семья, конечно, никому не подражала. Она жила так, как следует жить дворянам, рассуждала, действовала, веровала, радовалась и горевала на свой лад и вместе с тем на тот же самый лад, как и все остальные дворянские семьи Москвы. А все, не только сами отцы семейств, все их чада и домо-чадцы походили на таковых же соседних. Даже их нянюшки и мамушки, их кормилицы, сенные и горничные девушки, их дворецкие, дядьки, кучера и фореиторы тоже походили на фореиторов, дворецких, мамушек соседней дворянской семьи. Все обедали или ложились спать в одно и то же время, у всех были одинаковые ливрейные лакеи, громоздкие рыдваны и сытые цуги смирных коней; все ели после обеда те же сласти или печенье и смоквы и затем ложились не спать, а отдыхать, но засыпали; всё так же прислушивались к пересудам, сплетням, так же постились, так же молились перед киотами и божницами, так же боялись дурного глаза, так же болели на масленице от мясопуста и блинов, а на Святой от разговения после семинедельного воздержания; всё так же

хвастались дядюшкой, тётушкой, двоюродным братцем, которые в Питере важные птицы; всё так же женились, рожали и, народив, женили и выдавали замуж. Жизнь шла одинаково изо дня в день, мирно, тихо и благодушно, пока не случался в столице большущий пожар, не умер князь Иван Иваныч, который «вчера ведь ещё жив был», пока не грянул слух, что опять война с немцем или с турком, а Петя, Вася, Миша должны идти воевать и быть подстреленными.

Вместе с тем нравственный облик семьи Квощинских, которая являлась отражением всех дворян-москвичей, внушал неотразимо, непреодолимо уважение и любовь.

Сам Пётр Максимович был человек ограниченный, едва грамотный, но честнейший и добрейший. Его честность, то есть чистота понятий и убеждений, его доброта, то есть сердечность и справедливость по отношению к крепостным (во дни существования Салтычихи) делали его украшением своей среды.

Анна Ивановна, боготворившая мужа через тридцать лет супружества так же пылко, как и в первый год, была, конечно, невольно его отголоском во всём и подражательницей.

Сын Паша, добрый, тихий, ласковый, был любим всеми, а дочь Таня даже обожаема. Врагов у семьи не было и не могло быть. Пётр Максимович за всю свою жизнь никого не обидел, а если прямо высказывал худым людям правду-матку, то умел это делать так мягко, сердечно, будто соболезнуя этому их худу, что и эти люди не озлоблялись, не становились его

тайными врагами. Жена и дети подражали отцу в правиле: «Добрых людей уважай и им подражать старайся, худых людей не озлобляй и сторонись от них!»

Это было заповедью Петра Максимовича. Но, помимо всего этого, Квощинский иногда удивлял друзей и знакомых некоторыми своими мнениями, которых у других дворян не было, и иногда совсем необыкновенными, не худыми, а странными.

Так, он высказывал мнение, что люди все, без различия состояния, созданы по образу и подобию Божию. Что барин, что холоп – равно все человеки. А потому человек человеку принадлежать, как бы какое движимое имущество, как диван или карета, не должен. Это не Божеский закон, а измышленный. А потому и не вечный. «Не убий» – Божеский закон. «Повинуйся родителям и установленным властям» – тоже Божеский и вечный закон. Было так всегда и будет так всегда. А вот продавать и покупать живых людей и считать их своей собственностью, как бы коров или лошадей... Это всегда было... Ну, а впредь не будет! Крепостные люди, хамы и холопы или рабы в грядущих временах исчезнут. Люди людям принадлежать не должны и потому принадлежать не будут. Когда? Бог весть! Может, и через тысячу лет.

И многие друзья-дворяне на такие речи Квощинского только головами качали.

XIV

Исчезавший загадочно из дому старик дядька молодого князя бывал именно в доме Квощинских у друга, Марфы Фоминишны. Причина его посещений была в семье не тайной. Няня и дядька «стакнулись» в сугубо важном деле. В тот самый день, когда Сашок принял и выгнал от себя Вавилона Ассирьевича Покуду, дядька снова отпросился в гости к другу.

Восемнадцатилетняя Таня, простодушно весёлая, но скучающая, была у окошка и первая увидела Кузьмича, идущего через двор. Девушка вскочила и бросилась бегом по всем комнатам и коридору. Влетев к нянюшке, она закричала, поднимая руки над головой... Если бы не её сияющее лицо, то старуха обомлела бы от страха и поверила в пожар.

– Фоминишна, родимая!

– Ну?! – всё-таки оторопела няня.

– Кузьмич... Сама видела... Идёт...

– Ах, отчаянная. Даже напужала.

– Кузьмич! Кузьмич!

– Слышу... слышу... Так уходи, егоза... Вишь ведь...

Наш пострел везде поспел. Уходи скорее.

– Он ещё во дворе... Только вот что, няня. Ты не притворяй дверь совсем. Я одним глазком погляжу и послушаю...

– Что ты! Что ты! С ума сошла, – испугалась Фоминиш-

на. – Вот выдумает. И думать не могли этак безобразничать. Заметит он – что подумает?

– Няня... милая... Одним...

– Ни за какие ковриги.

– Одним глазком...

– Уходи! – сказала Фоминишна сердитым шёпотом. – Слышишь, Дашутка бежит с докладом. Увидит тебя да твоё розовое личико – догадается... Иди, отчаянная...

И, выпроводив питомицу, старуха вышла в коридор. Девчонка лет четырнадцати уже подбежала к её дверям и тихо вымолвила:

– Марфа Фоминишна, к вам Иван Кузьмич княжеский.

Спрашивает, можно ль...

– Зови, зови. Очень рада, скажи, – усилила голос няня, завидя гостя в конце коридора и зная, что он услышит.

Между тем Таня уже влетела к матери в спальню и вскрикнула:

– Матушка! Кузьмич к ней пришёл...

– Ну так что же? Нешто можно так скакать девице из-за пустяков, – строго выговорила Анна Ивановна. – Ступай к себе, стрекоза.

И едва дочь вышла и поднялась по лестнице к себе в мезонин, Квощинская, прислушавшись, тотчас же вышла и быстро направилась на половину мужа.

– Пётр Максимович, – выговорила она, слегка задохнувшись от ходьбы...

– Что?! – несколько опешил Квощинский, заметив в лице жены что-то особенное...

– Кузьмич у Фоминишны, – шёпотом и многозначительно выговорила женщина.

«Кузьмич у Фоминишны», сношения их няни с дядькой князя имели, конечно, огромное значение в семье за последнее время.

Квощинский бывал часто задумчив и озабочен: «Выйдет ли что? Или ничего не выйдет?»

Анна Ивановна, объявив важную новость, села в кресло. Наступило молчание, так как Пётр Максимович насупился и ничего не ответил, только бросил на стол книгу, которую читал.

Затем он встал и начал ходить по кабинету.

– Дай Бог, – вымолвил он наконец тихо. – Да. Всё во власти Божией... Всякий наш шаг...

– Иногда и обстоятельства непредвиденные и случайные, – робко вставила Анна Ивановна.

– Вздор. Полно, матушка... Обстоятельства?! А кто их позволяет? Случай? А кто случай посылает? Провидение! А что такое Провидение?.. Кто?

И снова наступило молчание.

– Да. Дай Бог. Молодой князь прямо изрядный человек. Его все, кого ни спроси, хвалят. Добрый, скромный, поведения истинно дворянского, благоприличного, ни карт, ни вина, ни подолов бабьих не знает. Живёт, прямо сказать, как

девица-невеста. Да. Этакого бы супруга нашей Танюше... Я бы просто... Да что говорить... Прямо обещание даю. В Киев пешком пойду. Да и немудрёно дать, правда, такое обещание, потому что брат Павел со мной пойдёт.

– А я? И я пойду.

– Ну, вот... Вместе все трое.

– Только одно вот обидно. У него немного достоянья... – вздохнула Квощинская.

– А богач да козырник, – строго спросил муж, – хорошо? Ныне прокозырял пять тысяч, завтра десять... Или бабий махальник... Что ни увидел юбку – и махнул за ней.

И супруги снова замолчали.

– Вот кабы дяденька его был другой человек!.. Ино дело! Дал бы племяннику из своих доходов хоть четверть... – заговорила, снова вздыхая, Анна Ивановна.

– Если бы не мороз, овёс до неба дорос. Спасибо и за то, что навёртывается жених – прекрасный человек...

– Да... Вдруг будет Татьяна Петровна княгиня Козельская, урождённая Квощинская, – тихо проговорила Анна Ивановна, улыбаясь.

– Это пустое... Для счастья не нужно...

– Ну, всё ж таки...

– Пустое. Титулы и деньги – пустяковое дело. Чистая душа – вот основание для счастья. Да авось... Авось. Я мало видел этого Кузьмича, а верю, что он человек рассудительный и зря болтать и действовать не станет. А от него много зависит. И

мы с тобой не сами поженились. Кабы не вмешалась старуха Агафья, твоей матушки ключница, – ничего бы, пожалуй, не было.

– Ещё бы не Агафья. Я хорошо помню, а вы забыли. Вам прочили княжну Яновскую... А Агаша наша всё перевернула. И лицо-то изнанкой вышло.

Между тем нянюшка, приняв дорогого гостя, княжего дядьку, приказала подать самовар.

Кузьмич, поздоровавшись, тотчас справился о здоровье господ, потом понюхал табаку из тавлинки² и выговорил:

– Ну, а ты сама, сударыня моя, Марфа Фоминишна... Сама как?

– Прихварываю... Да что Бога гневить... Мне и не надо здоровья... Мне и помирать пора, – заявила нянюшка, – Вот только бы увидели мои глаза мою Танюшу при благополучии и счастья брачном... Тогда мне и жить больше не надо.

– Как можно?... У выхоленного дитя свои детки пойдут, за коими приглядеть тоже пожелается.

– Оно конечно. Что говорить. Захочется.

– То-то. То-то... Я тоже вот скажу. Женится на ком мой князинька. Я тоже махоньких князьков пожелаю на руках поддержать...

Наступило молчание.

– Да, – вздохнул вдруг Кузьмич, – надо мне ему постараться найти жёнушку в Москве... Вот хоть бы, говорю, вроде

² Тавлинка – плоская табакерка из бересты.

бы твоей барышни. Прямо говорю...

– И я сказываю то же, Иван Кузьмич... – ответила Марфа Фоминишна. – Коли твой, говоришь, князь – доброта самая, то уж наша-то Татьяна Петровна – сущий херувим. Этаким доброты не бывало да и не будет. Опроси всю Москву...

– Знаю, знаю... Опрашивал, золотая моя. Все хвалят до небес.

– И из себя красавица и крепыш девица... Одно вот. Не богачка. Но всё ж таки после кончины родителей вот эф тот дом ейный будет. А дома в Москве всё дорожают.

– Ну, это что! – отмахнулся Кузьмич. – Деньги – дело наживное. У князя своё достояньице есть. А помри, прости Господи, его чудодей-дяденька без какого срамного завещания, то всё ему пойдёт. А у князя-то Александра Алексеича страшнеее состояние... Да. Так вот оно что!.. Вот и давай-ка, Марфа Фоминишна, мыслями раскидывать...

– Я всею моею душой, Иван Кузьмич... – воскликнула няня. – Я и господам моим однажды уже закидывала про всё это, будто ненароком. Ну и они, конечно, про князя одно хорошее слышали, тоже расположение в себе к нему чувствуют. Только опять, понятное дело, наказали мне строго-настрого никому об этом не разбалтывать да и девочку нашу разговором, ей непригодным, не смущать. Пока что она не должна, по девичеству своему, ничего знать о наших с тобой размышлениях.

– Ещё бы? Зачем. Не её это дело.

Более часа просидел дядька у няни, и друзья без перерыва говорили, но нового больше ничего не сказали.

Всякий раз повторялось то же теми же словами.

Нянюшка ни словом ни разу не обмолвилась Кузьмичу о волнениях господ и о своих беседах про жениха с питомицей. Старик же уверял, что его князинешке шибко приглянулась девица...

XV

Кузьмич явился домой с необычно сияющим лицом, радостно-важный, почти торжественный и собирался на этот раз уж прямо заговорить о своём посещении Квощинских. Но Сашок не дал ему рта разинуть и заявил о госте, который только что уехал, наговорив невероятных вещей.

Объяснив всё, что произошло, Сашок прибавил:

– Умалишённый или мошенник. Как посудишь ты?

Дядька был озадачен новостью не менее своего питомца, так как не понимал смысла и цели такого посещения, да ещё человека со странным именем.

– Как? Как вы сказываете? – спросил старик.

– Вавилон Ассирьевич Покуда...

– Паскуда! Не вернее ли?

– Вот и я то же сказал. Даже хотел и обозвать его эдак, – рассердившись, воскликнул Сашок.

– Чудно. Очень чудно. Понять невозможно, – заявил Кузьмич, поразмыслив. – Ну, прийти с предложением ябедничать – ещё куда ни шло... Для них, приказных, судейское крючоктворство, что корм для скотины. Тоже жить хотят. А вот идти с советом смертоубийствовать, опаивать... И вдобавок идти эдак-то к кому ещё? К вам, князю и офицеру... Это уж совсем удивительно...

– Вот и я так-то рассуждаю, Кузьмич. Просто неслыханное

дело. Я офицер гвардии...

– Обида! Обида! Ох, обида!

– Что?

– Обида, что меня не было, – воскликнул старик, сжимая кулаки. – Я б его принял... Я бы его во как отрезвонил. Он бы у меня кубарем выкатился из дому. А вы нюни распустили. Эх-ты, Лексаша мой, Лексаша. Всё будешь век свой младенчиком.

– Нет, Кузьмич, я его шибко изругал и выгнал.

– Никогда. Хвастаешь.

– Ей-Богу, Кузьмич. Ей-Богу. Так и крикнул на него. Подите вон...

– Побить надо было... В оба кулака принять. Отзвонить так, чтобы оглох на всю жизнь, чтобы...

Но Сашок не дал дядьке договорить и воскликнул:

– Стой, и забыл. Вот его бумага... Я читал, но не понял ни бельмеса. Всего четыре строки.

– Письмо? Кому же?

– Он оставил мне и тебе. Он сказал: если там вы не поймёте, Кузьмичу прочтите. Он умный и поймёт. Стало быть, он тебя знает. Ну вот, слушай. Я как есть ничего не понял, а ты, может, и поймёшь что. Слушай.

И Сашок начал читать с расстановкой:

– Любрабезканный пледамянбраник. Прибраезкажай кода мнебра набра покаклон. Твойда робрадной дябрадяка. Ну вот и всё, – прибавил Сашок.

– Тьфу! – азартно плюнул Кузьмич. – Чистый дьявол, прости Господи. – Заставив Сашка ещё три раза перечесть написанное, он задумался.

– Баловство! – решил, наконец, старик. – Мало ли какой народ шатается по свету. Есть и умалишённые. А то просто лясники.

– Как то есть? – не понял Сашок.

– Такие люди. Шатаются, мотаются зря и лясы точат. Со всем стало понятно.

– Да что такое?

– Лясы-то? Да так, стало быть, сказывается. Лясы-балясы. А они-то сами лясники-балясники. Мотаются по свету и вдруг что попало, чего и на уме нет. Язык-то у них сам по себе вертится. Дай ему прочесть это, он и сам не поймёт ни одного слова.

Сашок, глядя в лицо Кузьмича и ожидая удовлетворительного объяснения, не согласился с мнением старика дядьки. Он приписывал этой чепухе какой-то смысл, и ему показалось, что Кузьмич кривит душой. Старик ничего не понял, так же, как и он сам, Сашок, но не желает в этом сознаться и сам тоже что-то неясное выдумывает вместо дельного объяснения.

– Ну да плевать нам на дурака, – заявил Кузьмич. – Ведь больше не посмеет явиться. Плевать. Вы вот послушайте, что я выкладываю буду. Моё-то всё любопытнее и поважнее.

– А что же?

– Где я был сейчас? Догадайся вот. Ахнешь, родимый. Был я у господ Квощинских. Вот что!

Сашок был удивлён, но ловко скрыл это.

– Ну... – несколько равнодушно и, конечно, умышленно равнодушно отозвался он.

– Что «ну»? – как бы обидчиво вымолвил Кузьмич.

– Сказывай. С какой радости? Зачем был?

– Сказывай? Коли тебе, князь, ваше сиятельство, нелюбопытно, так не стоит мне и слова тратить...

И Кузьмич двинулся, как бы собираясь уходить из комнаты.

– Да ну, ну... Полно. Сейчас, старый ты хрыч, и обиделся. Что же мне, на крышу бежать, влезать да с неё во двор прыгать... Ну, был у Квощинских. Ну, видел их. Ну и рассказывай, зачем туда носило тебя.

– Коли вам всё это нелюбопытно...

– Заладил ведь... Ну говори, слушаю... – мягче и ласковее произнёс молодой человек. – Коли есть что любопытное, тем лучше.

– Вестимо, есть! И даже совсем диковина. Вы вот здесь у окошечка сидите день-деньской да зеваете с тоски... А Квощинская барышня ума решилась. По вас тоскует и убивается. Похудела, побелела... Хоть помирать.

– Да что же это такое? – изумился молодой человек.

– Как что же? Шибко полюбились вы ей. Позарез! Вот и всё.

– Удивительно это, Кузьмич.

– Почему же?

– Как почему? Сам посуди. Виделись мы единожды в церкви, а потом повстречал я её раз под Новинском на гулянье. Да и не знаю ещё верно, она ли то была. И не знакомы. И никогда не разговаривали. Она в церкви меня и не заметила, по-моему. Я только на неё малость поглядывал. И вот вдруг она да тоскует по мне. Впрямь диковина!

– Ах ты, ваше сиятельство... – замотал головой Кузьмич и, достав тавлинку, отчаянно нюхнул два раза. – Прямо сказать – простота.

– Да как же тосковать по том, кого не знаешь! – воскликнул Сашок.

– Ты не знаешь, а она, стало быть, хорошо знает. Много ли нужно для девицы, чтобы офицер, да ещё князь, да ещё такой, как ты у меня, сразу девичье сердечко защемил. Ну вот, барышня видела вас два раза и память потеряла... Без памяти от тебя. Вот тебе и весь сказ!

– Диковинно, – протянул Сашок тихо, как бы сам себе.

– Ничего диковинного нету. Ну а по-вашему как? Дурновата она, худорожа, сухопара?

– Нет... Как можно...

– Красавица, прямо сказать, видная.

– Да. Пожалуй... Красавица не красавица, а только видная...

– Белая, румяная. Глаза звёздами. А уж нравом прямо ан-

гел-херувим. Нянюшка Марфа Фоминишна говорит, что таких девиц, как её Танюша, не бывало на свете и не будет.

– Да ведь это, Кузьмич, все мамки про своих так рассказывают, – заметил Сашок.

– Так. По-твоему, лжёт она, стало быть?

– Нет. Я не то...

– Так я, стало, лгу и морочу тебя?

– Да нет... Зачем. Я только говорю, что все мамки про своих...

– Ну, что же вам со лгунами и обманщиками якшаться... – рассердился вдруг дядька. – Идите ищите людей праведных, а нас, криводушных, оставьте досыта врать да на ветер брехать.

– Ах ты, Господи... Вот царевна-недотрога! – воскликнул Сашок. – Слова ему не скажи. Могу же я рассуждать о делах.

– Я для вас стараюсь, – воскликнул старик, – из любви моей и преданности. Недаром я тебя выходил. Недаром и на руках носил. Недаром глаза на тебя проглядел. Могу я, стало быть, знать, где твоё счастье и в чём тебе в жизни благополучие... Я, вишь, стар да глуп. Всё путаю, а то и вру... Снесла курочка яичко, а оно ей и рассказывает; «Не так ты, курица глупая, яйца несёшь».

И Кузьмич быстро вышел из комнаты.

XVI

На другой день Сашок собрался на дежурство. Поступив адъютантом к генерал-аншефу князю Трубецкому, он сначала бывал на службе ежедневно с девяти утра и до трёх часов, когда в доме князя подавали кушать, но вскоре начальник, которому адъютант был совершенно ни на что не нужен, позволил молодому человеку являться только три раза в неделю, да и то не ранее полудня, так как князь Егор Иванович, играя в карты за полночь, вставал поздно.

Занятия или дела служебного у Сашка не было, собственно, никакого. Он, являясь, садился на стул в большом зале и сидел сложа руки... Изредка, когда приезжал к Трубецкому кто-либо не по знакомству, а по делам службы, Сашок докладывал посетителя и провожал через гостиные в кабинет князя.

Но вместе с тем у адъютанта бывало иногда много дела совершенно иного. Он исполнял поручения княгини Серафимы Григорьевны, и самые разнообразные. Иногда эти поручения были таковы, что Сашок хмурился и негодовал. Ему казалось, что для дворянина-офицера они были неподходящи, роняли его достоинство. К тому же и Кузьмич, вечно противоречащий ему, был в данном случае согласен с ним, что княгиня не соблюдает благоприличия, будто забывает, что адъютант – не слуга, не скороход и не «побегуш-

ка». А между тем офицер и князь Козельский, будучи адъютантом князя, был положительно скороходом у княгини. Он разъезжал по всей Москве. И по знакомым княгини, и в Гостиный двор, и в магазины, развозя и привозя всякую всячину. Ездить верхом по столице в мундире с картонками или узелками казалось Сашку совсем унижительным... А делать было нечего. Противоречить княгине Серафиме Григорьевне прямо было опасно. Ослушаться её – значило немедленно потерять место, которое позволяло ему жить в Москве.

Молодой человек утешался тем, что сам князь Трубецкой боялся жены как огня и тоже, случалось, в полной форме, на коне заезжал по её приказу в Охотный ряд или на Козье болото и, правя лошадьёю левой рукой, в правой вёз домой кулёчек, где дрыгал живой судак или лещ.

Иногда княгиня давала мужу совсем диковинные поручения. Когда она отправлялась куда-либо в гости, то бывала одета лучше и богаче всех. Поэтому если её приятельницы почти все шили платья дома, имея своих крепостных портних, то княгиня давала шить своим швеям только простое платье. Выездные туалеты, не только «панье» или «роброны», или шарфы и мантильи, но и всякая мелочь выездного костюма покупались и шились на Кузнецком мосту, где не было ни единого русского купца и не было лавок. Были только магазины, а держали их почти только одни французы, за исключением двух-трёх голландцев, торговавших бельём и золотыми вещами. Москвичи уже часто шутили, что надо

называть центр модников не Кузнецким, а «Французским» мостом.

Княгиня, не любя выезжать из дому, проводя день в капоте, в хождение по дому, посылала и адъютанта, и мужа.

Однажды, пользуясь тем, что князь был одного с ней роста, княгиня послала его к портнихе примерить новую юбку, чтобы не «обузила дурофья-французенка».

И князь Егор Иванович съездил, примерил и донёс супруге, что приказал убавить юбку на вершок.

– Только, дорогая моя... – заявил он. – Стыда набрался. Эти вертушки парижские просмеяли меня.

Теперь, когда вся Москва была переполнена именитыми людьми, явился двор и все важнейшие сановники империи с семьями, Сашок ещё более боялся вдруг осрамиться из-за княгини.

– Она ведь, того гляди, пошлёт меня во всём параде на Москву-реку с бочкой! – говорил он Кузьмичу.

На этот раз, когда Сашок явился в дом князя, он нашёл княгиню, мягко шагающую в зале, в капоте, простоволосую и в одних чулках.

Едва только завидя адъютанта мужа, княгиня выговорила тихо, а тем не менее грозно:

– Пожалуй! Пожалуй-ка сюда, воробей.

Сашок подошёл и поклонился почтительно.

– Где князь Егор Иванович?

– Не могу знать-с.

– Так я тебе, воробью, скажу. Князь в Петровском. Поехал представиться царице... А ты с ним?

Сашок молчал, не понимая.

– Твоя какая должность, воробей? А? Состоять при князе. А ты что? Голубей гоняешь у себя на дому.

– У меня, княгиня, нет голубей!

– Нет? Ну так ворон считаешь. Э-эх, моя бы воля. Я бы тебя по этому месту поучила.

И княгиня оглядела офицера, как бы ища на нём «это место».

– Поди. Сядь. Приедет вот князь, промоет тебя с песком.

Сашок отошёл в угол зала, но из вежливости не сел.

Княгиня Серафима Григорьевна снова начала ходить взад и вперёд по большому залу, угрюмая, заложив руки за спину и шагая мерно, твёрдой поступью, в которой сказывалось что-то особенное, внушавшее кому почтение, а кому боязнь.

Этот шаг, короткий, мерный и крепкий, будто говорил всякому, что тот, кто эдак двигает ногами, знает, что делает, чего хочет, знает, где раки зимуют, учиться ни у кого не пойдёт, ума-разума занимать не станет, сам всякого поучит, да ещё так поучит, что не скоро забудешь.

Руки, заложенные за спину по-мужски, придавали всей фигуре маленькой и плотной женщины вид ещё более решительный... Чёрные, с сильной сединой волосы, зачёсанные, зализанные, с маленьким пучком на затылке, туго свёрнутым, выглядели так, будто женщина острижена под гребёнку.

Большие светлые серые глаза глядели сурово, не сморгнув... Когда княгиня смотрела не только на живых людей, но хотя бы на голую стену, то в глазах этих читалось:

– Ты что! Смотри! Я тебе!

И даже стена, наверное, тоже чувствовала себя неловко.

Княгиня была теперь особенно сурова, потому что волновалась. Князь Егор Иванович уже часа два как уехал в полной парадной форме, во всех своих регалиях и, конечно, в великолепном новом рыдване в три пары коней, цугом. Уехал он в Петровское. Да не просто! Представиться государыне!..

Княгине Серафиме Григорьевне уже десять лет хотелось, чтобы муж, давно сановник крупный, получил должность по чину, а не сидел бы в Москве насадкой без почёта...

«А это по всему следует! Уж если не князя Трубецкие будут первыми людьми в России, то кто же тогда?.. Новые графы, что ли? И какие? Да. Какие?! Иисусе, Сыне Божий! Графы Разумовские, Бестужевы, Шуваловы... А теперь будут и Орловы!.. Завтра пойдут графы Сидоровы, графы или князя Федюхины, или там ещё какие... Уж тогда просто бы дать указ всем дворянам величаться князьями и графами... Орловы – и вдруг графы?.. Орловы? Графы? Как-то вместе не вяжется. Чудно, смехотворно сказать: граф Орлов. Положительно, им самим стыдно будет, когда их начнут так величать».

И о многом подобном мысленно рассуждала княгиня, ша-

гая по залу и мягко ступая ногами без башмаков.

В последнем княгиня подражала многим барыням, которые, как и она, страдали мозолями и предпочитали быть в чулках, так как совсем на босу ногу дворянке быть не подобало.

Прошло с полчаса... Сашок стоял всё в углу зала, а княгиня продолжала маршировать мерными шагами, глядя в пол.

В отворённое окно вдруг донеслось нараспев:

– Груши-яблоки хоррроши! Яблочки крымские! Груши рязанские!

Княгиня остановилась и выговорила:

– Кликни! Ты! Тютант...

Адъютант перевесился за окно и крикнул:

– Гей! Ты! Гей, яблоки!

Но разносчик, снова громогласно запевший своё, не слышал и быстро удалился.

– Не слышит, – заявил Сашок.

– Так пошёл, догони, ротозей! – воскликнула княгиня. – А ещё тютант! Ах, ты...

Сашок сбежал по парадной лестнице и послал швейцара догнать и вернуть разносчика.

Затем он доложил о нём княгине.

– Вели Анфисе два десятка груш купить... Принеси сюда.

Когда Сашок, исполнив поручение, явился снова с грушами на подносе, княгиня взяла одну, закусила, выплюнула на пол и выговорила:

– Ах, мошенники! Ах, идолы!

Однако, начав снова маршировать по залу, она доела грушу и взяла другую, потом третью.

– Ты, воробей! Сбегай узнай: какое время.

Это поручение адъютант исполнял почти каждый раз, как являлся на службу. Часов в доме князя Трубецкого не было, так как он считал, что часы приносят несчастье. Княгиня в этом мужу не перечила, находя, что все приметы российские – самые мудрые.

Обыкновенно Сашок доходил до угла улицы, в дом сенатора Евреинова, и справлялся.

На этот раз, вернувшись, он заявил, что у сенатора столовые часы перестали ходить со вчерашнего дня.

– Ах, идолы! – проворчала княгиня и прибавила: – По солнцу?..

– По солнцу, Серафима Григорьевна, опасаюсь ошибиться, – ответил Сашок. – Я на это не мастер. Кажись, что второй час.

– А на какое ты дело мастер? А? – спросила княгиня.

– Не могу знать.

– На баклуши. Понял? Нет, не понял?

– Никак нет-с.

– Баклуши бить мастер ты! И уши развешивать тоже. Нюни пускать – тоже тебя взять.

XVII

Наконец у подъезда дома загромыхала и остановилась карета.

Сашок, высунувшись в окно, узнал экипаж своего начальника и тотчас побежал вниз.

Князь уже вышел из кареты и вошёл в переднюю.

Сашок стал извиняться, говоря, что князь ничего ему не сказал накануне и он не мог знать, что должен сопутствовать ему в Петровское.

– Княгиня моя тебе это пояснила? – спросил князь.

– Точно так-с.

– Ну, пора привыкать. Коли я тебе ничего не сказал, стало быть, и не хотел тебя брать.

Князь Трубецкой был очень маленький и худенький старик, с крючковатым носом, с ястребиными, но вблизи добрыми, крупными, постоянно улыбающимися глазами. Не знавшие его близко считали его человеком сухим, даже злым; но знавшие близко знали, что он добрейшей души человек, которому природа по ошибке дала злые глаза. Все знали тоже, что если случалось князю сделать что-либо неприятное, то это было по приказанию его супруги, которой он послушаться не мог, ибо боялся до смерти. Да и боялся-то он жены из-за доброты своей. Он не любил и избегал в людях гнева и старался всячески себя оградить и никого не сердить,

а тем паче жену...

Княгиня встретила мужа наверху парадной лестницы, стоя в той же своей всегдашней позе, с закинутой головой, где торчал пучок волос на самой маковке, и с руками, скрещёнными за спиной.

– Ну? Что? – выговорила она.

– Ничего.

– Приняла?

– Да.

– Расспрашивала?

– Нет...

– Как нет?

Князь вошёл на верхнюю ступень и на площадку и потянулся к жене поцеловаться, что он делал всегда, возвращаясь домой, хотя бы после совсем краткого отсутствия.

– погоди лизаться... – уткнулась княгиня рукой в его грудь. – Говори. О себе не говорил, стало быть?..

– Нет.

– Преотменно!!

– Нельзя было. Приняла меня государыня с тремя другими. Тут же был и Бецкой, который, к слову сказать, опять пошутил: «Ты – Трубецкой, а я – только без «тру» Бецкой; а всё-таки есть Трубецкие, которые бы пожелали быть на месте без «тру» Бецкого...» А знаешь, матушка, новость?! Он всем коронованием будет управлять, потому что...

– Да ты о себе говори!.. О себе!.. Что мне твои Бецкие и

всякие иные, некровные, сбоку прижитые... Он...

И княгиня выразилась очень резким словом.

– А вот пойдём к тебе, всё расскажу, – ответил князь добродушно. Затем, обернувшись к своему адъютанту, князь прибавил: – Сбегай, голубчик... Ничего нету! Попроси хоть на два понюха.

Князь показал пустую табакерку.

– Слушаю-с! – воскликнул Сашок и пустился вниз по лестнице.

Он сразу понял, в чём заключалось поручение, потому что князь по крайней мере раза два в неделю посылал его к своей свояченице Настасье Григорьевне Маловой за нюхательным табаком.

Сестра княгини, красавица вдовушка, нюхала табак, и не столько из-за необходимости и привычки, сколько из-за модничанья и того, что все нюхали... Но дело в том, что Малова умела готовить из разных смесей такой табак, какого в продаже не было и от которого все нюхатели приходили в восторг. Уверяли даже, что сам фельдмаршал Разумовский говорил:

– Маловский табак? Ну табак! В жар и холод бросает. Нюхнёшь – и душа с Богом забеседует.

Сашок добежал за два дома от подъезда, приказал доложить Маловой, зачем он явился, и тотчас был принят. Он вошёл в гостиную и почтительно заявил, что князь только что вернулся из Петровского от государыни, а табаку ни по-

рошинки в табакерке.

Молодой человек всегда старался быть особенно почтительным с Маловой, так как родная сестра княгини могла повлиять на жену его начальника и замолвить за него словечко.

С хозяйкой сидели два господина. Один пожилой, другой молодой красивый хват в артиллерийском мундире.

Настасья Григорьевна, как всегда бывало, странно поглядела на Сашку, как будто чему-то смеялись её глаза, и подала ему голландскую тавлинку с табаком.

– Всегда-то вы за табаком, – сказала она сладко. – Возьмёте и уйдёте. А нет чтобы меня навестить и посидеть.

Сашок не нашёлся, что ответить, глупо улыбнулся и, поклонясь, вышел.

«Чудно она на меня всегда глядит, – подумал он. – А надо сказать правду. Красива. Даже не хуже моей Катерины Ивановны. Та пономариха всё-таки. А это сестра родная княгине».

Вслед за ним в переднюю вышел и пожилой человек, суровый, угрюмый, смерил его с головы до пят и, пройдя мимо, сел в свой экипаж. Сашок уже не раз видал этого гостя Маловой, но не интересовался узнать, кто он такой.

«Чего это он сегодня, будто съесть меня хотел», – подумалось Сашку, и он на этот раз спросил у лакея, кто этот гость его барыни.

– Павел Максимович, барин Квощинский.

– Квощинский? Вот как? Не ожидал! – удивился Сашок и

прибавил: – Сердитый, видно.

– Никак нет-с, – глупо ухмыльнулся лакей. – А они с капитаном сейчас повздорили. С Кострицким.

Молодому человеку было, конечно, это известие нелюбопытно, и он побежал обратно, бережно держа в руках тавлинку.

Когда Сашок вернулся в дом и стал подходить к кабинету князя, то через растворённые двери услышал, что между супругами «баталия».

– Коли она сказала эдак-то, – кричала княгиня, – сказала сама тебе, что хорошо бы, мол, поступили, если бы спознакомились, то и ступай.

– Сама. Да всё-таки...

– Ничего! Ступай. И сейчас ступай! – вскрикнула княгиня.

– Матушка, рассуди, что я... – громче, но мягко возражал князь.

– Нечего рассуждать. Ступай.

– Мне семьдесят лет, а им всем братьям...

– Хоть сто семьдесят будь. Собирайся... Орловы стали теперь поважнее Разумовских самих.

– Но, матушка Серафима Гри...

– Собирайся. Бери этого щенка Козельского и але-марше.³

– Нельзя, матушка... Хоть предупредить прежде, – уступчиво заговорил князь. – Спросить их, когда. Приеду, не за-

³ Ступай (фр.).

стану дома, и опять ступай. Что же, я у них на побегушках эдак буду стоять?

– Ну, это пожалуй. Ладно. Тогда посылай сейчас к Орловым этого щенка спросить и эдакое что-нибудь вежливое сказать. Авось не переверёт олух царя небесного.

А Сашок, слушая у дверей, проговорил себе:

– Это всё я. И щенок, и олух...

Князь вышел наконец и, увидя адъютанта, воскликнул с упрёком:

– Что же ты стоишь? А я жду и помираю. Нос онемел, не чую его... Подай скорее.

И, выхватив из рук Сашка тавлинку, князь взял огромную щепоть табаку и наполнил, почти закупорил, обе ноздри, а затем потянул в себя.

– Ах, благодать. Прямо-таки благодать, – сладко произнёс он. – Вот ведь Настасья Григорьевна, дама, прости Господи, какая уж не прыткая, а табак готовит – прямо царям или королям нюхать.

И, во второй раз начинив нос, князь заговорил деловито:

– Ты у меня умница... Слушай в оба и исполни хорошенько... чтобы не было ни сучка ни задоринки. Ступай сейчас к господам Орловым. Знаешь, где изволят жить?

– Как не знать-с. На Никитской, у Вознесения.

– Ну вот, ступай и вели доложить Ивану ли, Григорью ли, Алексею ли, Феодору ли Григорьевичам. Это всё одно. Докладить, что, мол, генерал-аншеф князь Егор Иванович Тру-

бецкой имеет честь кланяться и просить сказать, когда он может приехать познакомиться.

Сашок, как ни был наивен, но глядел выпуча глаза.

– Что, родимый? Дивишься, что старик генерал-аншеф, да ещё Трубецкой, поедет эдак к капитанам-молокососам? Что делать? Времена переменчивы.

Сашок действительно был удивлён, что старик, заслуженный генерал и одно из первых лиц дворянской Москвы, первым едет к дворянам Орловым. Да ещё посылает узнать, когда ему быть. Молодой человек, как и все в Москве, слышал о внезапном возвышении простых офицеров, но заявление Трубецкого всё-таки смутило его.

Кроме того, Сашок смутился и струсил за себя самого.

«Каково ехать к этим Орловым? Они похуже самой княгини отбреют. Примут гордо, высокомерно, обойдутся как с лакеем». Но рассуждать было нельзя, и Сашок, выйдя, сел на лошадь и, смущённый, шагом пустил коня.

«Там у них вся Москва, сказывает Тит, толчётся от зари до зари. А у меня какая же светскость... Никакой. Как много народу, так сейчас у меня душа в пятках. Ну вот, холопа и изображу. Да Орловы своего пару ещё поддадут».

XVIII

За эти дни, что императрица в ожидании официального и торжественного въезда в самый город жила в Петровском, братья Орловы не по дням, а по часам вырастали во мнении москвичей, становились всё важнее и именитее. И действительно, не было ни единого человека, не только простого дворянина, но и вельможи обеих столиц, который бы не ехал на Никитскую рекомендоваться и знакомиться.

Но удивлению всех не было границ.

– Вот люди! Диковинные люди! – говорили все, побывав у господ Орловых.

Старший из братьев – Иван Григорьевич, коренной москвич, был всегда человеком добродушным и любезным, но как «маленькому» человеку, небогатому дворянину, ему так и следовало поступать. Однако теперь он стал ещё ласковее ко всем.

Братья, петербуржцы, прежний простой цалмейстер, а ныне генерал-адъютант императрицы Григорий Орлов, третий Алексей и четвёртый Феодор – оба преображенцы, наконец, пятый брат, ещё молоденький кадет, обращались ещё диковиннее со всеми, прямо заискивали, не только ухаживали. Дело становилось загадкой.

Зато когда братья оставались одни, то в беседе с глазу на глаз объясняли эту загадку.

– Мы и так по природе не гордецы, – говорил Алексей Орлов, – и нужно думать, ни при каких обстоятельствах и впредь гордецами не сделаемся. А теперь надо поласковее поглаживать матушку Москву. Надо всячески её ублажать, чтобы она под нашу музыку согласно запела, когда придёт время.

И иногда, обращаясь к брату Григорию, он прибавлял:

– Ну а как, Гриша, скоро ли время-то это придёт?

Адъютант императрицы всегда отвечал весело одними и теми же словами:

– Жду у моря погоды! Будем надеяться, что скоро. А ты, Алехан, своё дело делай насчёт этих разных Хрущёвых да Гурьевых.

– Об этом не тревожься, взялся я за дело, доведу до конца. Все эти крикуны и разное пустомельство, у них происходящее, – всё чепуха. Уж во всяком случае не какие-нибудь офицерики могут быть помехой в эдаком важном деле.

Действительно, у Григория Орлова, который с июньских дней и переворота стал ближайшим лицом к государыне, было дело, имевшее для него огромное значение. Но дело это было всё-таки затеей честолюбца. А затея была такого рода, что её следовало держать под спудом, всячески ограждать от огласки. Если бы про такую затею несвоевременно распу- стить слух по Москве, то не нашлось бы ни единого человека, сановника ли, дворянина, купца или простого мещанина, который бы не ахнул.

Затея Григория Орлова была делом почти неслыханным и невиданным на Руси, но именно «почти».

Если подобное уже было недавно, и если оно было тайной для всей России, то большинству дворян обеих столиц оно было известно. Однако известно не как доказанный, очевидный факт, а как нечто предполагаемое.

Если бы известного рода слухи за последние десять лет не ходили в обеих столицах, то, разумеется, и Григорий Орлов никогда не решился бы на свою теперешнюю затею.

Слух или догадка заключались в том, что императрица Елизавета Петровна была тайно обвенчана с графом Алексеем Григорьевичем Разумовским. Покойная императрица и сам фельдмаршал не отрицали ничего и только отмалчивались. Доказательств существования тайного брака не было.

Императорская золотая корона, вместо креста красовавшаяся на храме Рождества, на Покровке, близ самого дворца Разумовского, давно удивляла москвичей и заставляла раздумывать, соображать и верить слуху, что в этой именно церкви, увенчанной императорской короной, произошло тайное венчание императрицы с её любимцем.

И любимец новой императрицы, главный деятель в перевороте в её пользу, не удовольствовался тем, что сделался генерал-адъютантом. Как всякий честолюбец, которому во всём сказочная удача, он захотел большего, высшего, высочайшего, захотел всего возможного на свете и почти невозможного.

И вскоре же после восшествия на престол он стал убеждать императрицу последовать примеру своей тётки и выйти за него замуж, но уже не соблюдая тайны, как сделала Елизавета Петровна. Государыня долго противоречила любимцу, но здесь, в Москве, вдруг согласилась, и только не желала спешить и во всяком случае не думать об этом до коронации.

После обещания императрицы Григорий Орлов и его братья, разумеется, перестали тщательно скрывать своё счастье от близких людей и сообщили всё своим друзьям. Но у этих друзей были свои друзья. И теперь многие москвичи передавали, как величайшую тайну, что граф Григорий Григорьевич должен сделаться супругом императрицы. Этот слух, пробежавший теперь, взволновал московское дворянство, а равно и петербургских именитых гостей. Всё отступило перед ними на задний план. Сначала в городе только говорили о будущих коронационных милостях и наградах, и более всего толков было, конечно, о том, что московские дворяне Орловы станут графами Российской империи. Но вдруг пробежал слух, уподобившийся грому небесному. И если это неправда, клевета на царицу, то она, конечно, умышленно пущена врагами нового правительства и «фрондёрами», как называли их. Молва прибавляла, что граф Григорий станет ещё выше братьев и получит титул князя Римской империи или герцога, и уже после этого возвышения должен совершиться не тайный, а явный брак монархини с её генерал-адъютантом. Подспудный слух разделил Москву на два лагеря. Некоторые

люди, здравомыслящие, не верили, но большинство начинало вполне верить в возможность подобного поступка новой императрицы. Тем более что сами графы Орловы не отрицали, а отшучивались.

Близкие ко двору люди, как Панин, Воронцов, княгиня Дашкова, Бецкой и другие, не допускали мысли, чтобы царица, только что вступившая на престол вследствие переворота и чуждая России как немецкая принцесса, решилась сейчас же сделать такой неуместный и опасный для себя шаг. Позднее? Может быть...

«Все её права на русский престол, – смело заявлял решительный Никита Иванович Панин, воспитатель цесаревича, – освящены не одним восшествием, а сугубо теми обстоятельствами, что она родная мать моего питомца и истинного законного наследника российского престола. Она чужая нам; да Павел Петрович не чужой, ибо родной правнук Великого Петра. Выйдя замуж за простого русского дворянина, она как бы отдалит от себя своего единственного сына. А он – живая связь между ней и русским престолом, на который она временно вступила».

И слово «временно», хотя тихо и осторожно, всё-таки злобно произносилось в среде «фрондёров». Когда, однако, вступит на престол Павел Петрович – при совершеннолетию, то есть лет через десять, или только после смерти матери? Это было и оставалось, разумеется, вопросом. А вопрос этот был тёмный, неразрешённый и во всяком случае крайне ще-

котливый и обоюдоострый.

Так или иначе, но подспудный, ошеломляющий слух поднял теперь Орловых на высочайшую ступень общественного положения.

И к таким-то важным людям приходилось отправляться с поручением молодому офицеру, князю Козельскому. Понятно, что Сашок, слыша давно имя Орловых, произносимое подобострастно, то с каким-то страхом, то как-то таинственно, теперь окончательно струхнул.

«Ехать, представляться и объясняться именно с ними, – думалось Сашку. – Для того лезть, чтобы тебя обидели гордецы; кажется, лучше бы на войну с немцами пошёл. Там убьют. Но двум смертям не бывать».

И каким образом, именно «как» произошёл визит?.. Неизвестно. Как молодой человек въехал во двор, где была масса экипажей, как вошёл он в дом и в толпу гостей, важных и сановитых, как объяснил он своё дело Ивану Григорьевичу, как подошли к нему двое других Орловых, оба преображенцы, как затем попал он неожиданно в маленькую горницу и сидел с глазу на глаз с самим генерал-адъютантом, как этот значительный человек угощал его кофеем, финиками, какой-то турецкой сладкой жижицей, а сам повторял, что рад чести познакомиться с князем Александром Никитичем Козельским, как потом этот генерал-адъютант, всё смеясь и смеясь, его обнял и расцеловал и как, наконец, Сашок, ошалелый, угорелый, весь в поту от волнения, не просто вышел, а, вер-

нее, выкатился из дому и очутился на подъезде, на воздухе...
Неизвестно!..

Сашок ровнёхонько ничего не помнил, не понимал и не признавал. В голове был чад, в глазах звёзды, а кругом всеобщий дьявольский танец. Прямо наваждение...

Танцевали люди, дома, кареты, лошади, и, наконец, и солнце на небе вдруг взяло да и подпрыгнуло.

Однако судьба всё-таки не сжалилась над бедным малым, который достаточно угорел от визита, от толпы гостей, а главное – от особой невероятной любезности самого царичина адъютанта, ласкового, милого, сердечного, душевного человека. Вернее сказать, – просто колдуна-очарователя...

Едва Сашок отдышался на подъезде, пришёл совсем в себя и только радовался тому, как Орловы, важнейшие люди, его, простого офицера, приняли, вдруг свершилось на его глазах нечто, громом грянувшее и хватившее по нём... Он едва устоял на ногах, а рот разинул и глаза вытаращил так, что, казалось, и губам, и векам больно стало.

Мимо него вышел из швейцарской на подъезд, уезжая от Орловых, сановник, которому подали великолепную карету с дивным цугом коней. Сановник, посаженный двумя своими лакеями, сел в карету и, заметив Сашка, вдруг расхохотался и крикнул:

– А? Какс Никитич! И вы здесь. Моё почтение, плембамьянканидачекбра!

Цуг красиво, будто змеёй, завернул по двору, экипаж с

ливрейными лакеями на запятках отъехал, а Сашок опять стоял угорелый.

– Господин Покуда!! У Орловых? В карете? В мундире?

Между тем съезжавший со двора Орловых вельможа, господин Покуда, и господин Макар Гонялыч Телятев, и господин иных и многих имён и фамилий, часто меняемых, любивший говорить на модном языке «абракадабрском», долго смеялся, вспоминая поражённое изумлением лицо юного офицера.

– Не понял, сердечный, моего писанья, – сказал он вслух. – Надо будет отрядить к нему Романа Романовича...

XIX

Дядя Сашка, князь Александр Алексеевич Козельский, заслуживший прозвище «чудодея», был пятидесятивосьмилетний вдовец, богач и добряк. Чудеса, которыми он славился в обеих столицах и подмосковных губерниях, были результатом того, что он был добрый, умный и скучающий человек, да кроме того, бесспорно даровитый. Он не был из числа тех чудаков, которые выдумывают всякие штуки только для того, чтобы заставить о себе ахать и трубить. Его штуки делали часто чудеса – несчастных счастливыми. Разные фантазии и прихоти Козельского приводились им в исполнение только ради того, чтобы развлечься – убить время. Но убить его так, чтобы горемычным была польза. Вредного, злого или безобразного он, собственно, никогда ничего не сделал. Некоторым знакомым, в особенности прихлебателям и блюдолизам, правда, иногда приходилось от него плохо. Но страдало в них не тело, не душа, а лишь мелочное самолюбие.

Сам князь сознавал, что у него нет ни цели, ни смысла в жизни и нет ни единого близкого человека, которого бы он мог искренно любить и от которого мог бы ожидать того же. Он видел, что все кругом него, и женщины, и мужчины, только льстят ему, ухаживают за ним из-за личных вожделе-ний, а за глаза, конечно, поносят или поднимают на смех.

Скука, одолевавшая князя, заставляла его менять местопребывание. Он сам шутил над собой по этому поводу и любил напевать малороссийскую песенку: «Мне моркотно молоденьке, нигде места не найденько».

В молодости князь имел такие же маленькие средства, как и отец Сашка, но, будучи двадцати пяти лет от роду, он познакомился в Петербурге с банкиром Кордаро, у которого была единственная дочь, уже вдова, лет за сорок.

Кордаро появился в Петербурге, вызванный герцогом Бироном, и, поселившись на берегах Невы, пользовался таким большим покровительством всемогущего временщика, что часто к нему обращались по самым серьёзным делам, конечно, с ходатайствами. И банкир много делал добра, так как был одним из главных заступников перед грозным герцогом.

Какой национальности был старик банкир, было положительно неизвестно. Одни считали его итальянцем, другие – греком, третьи – поляком, наконец, многие подозревали в нём просто еврея. По религии он был лютеранином. Было известно, что у банкира очень большие средства, что в его кассе черпает огромные суммы сам герцог, иначе говоря, правительство, но в точности никто не знал, какое состояние у сомнительного по происхождению иностранца.

Молодой князь Козельский, красивый, элегантный, весёлый и остроумный, затейник на все руки, чтобы забавлять дам и девиц, нравящийся постоянно женщинам, разумеется, понравился и пожилой вдове. К чести князя Александра

Алексеевича, он, начав часто бывать у Кордаро, бывал там без всякой задней мысли. Его привлекали вкусные обеды, ужины и весёлые вечера в очень богатом доме. Наконец, он знал, что Кордаро – любимец всемогущего герцога. А это действовало против воли на всякого, даже не нуждающегося в протекции. За вдовой, которая звалась на польский лад Эльжбеттой Яковлевной, князь, собственно, не стал ухаживать, был с ней столько же любезен, сколько со всеми другими. И он сам первый был крайне озадачен, даже изумлён, когда заметил, что вдова относится к нему как-то особенно. Нежно и сдержанно вместе, как бы боясь, что её чувство вызовет со стороны князя только лишь презрение и насмешку.

Эльжбетта Яковлевна, характерного южного типа, была, собственно, ни хороша собой, ни дурна, но для своих лет неплохо сохранилась. Ей можно было легко дать и тридцать пять лет. Единственное, что её несколько портило и отчасти старило, была полнота при маленьком росте. Познакомившись с ней, Козельский тотчас назвал её «бочкой», но затем нашёл в ней много достоинств, которые вместе делали женщину приятной и симпатичной.

Прошла зима. Князь бывал у Кордаро всё больше, всё чаще и стал совершенно своим человеком. И старик-банкир Яков Вольфгангович, как его звали по русскому обычаю, а равно и его дочь уже относились к нему как бы к родному. Но двадцатипятилетний молодой человек всё-таки не понимал, чем, собственно, он заслужил такую любовь старика и

вдовы, потому, собственно, что ему и на ум не приходило то, что было у них давно на уме.

Дочь вскоре после знакомства с князем уже откровенно созналась отцу, что князь ей нравится. Отец давно уговаривал дочь выйти замуж вторично, но она всегда отказывалась. Она была настолько несчастлива со своим покойным мужем – человеком крутым и грубым, что почти дала себе слово не пробовать снова семейной жизни.

Пробыв вдовой более десяти лет, Эльжбетта Яковлевна ни в Германии, ни в Польше, где она жила с отцом, ни в России, куда они явились по приглашению Бирона, не находила ни одного человека, за которого бы решилась выйти вторично замуж. Когда она призналась отцу, что князь Козельский ей нравится, Яков Вольфгангович пришёл в восторг.

Многие его прежние мечты стали действительностью. И прежде, до приезда в Россию, и теперь при покровительстве Бирона. Но одна мечта всё оставалась неосуществлённой: вторичное замужество дочери. И эта задача вдобавок происходила от неё самой, так как претендентов на её руку, несмотря на её годы, было немало: и немцев, и поляков, и русских. Поэтому заявление дочери привело старика в полный восторг. Ему ни на минуту не пришло в голову, что чувство дочери к молодому русскому князю, на двадцать лет моложе её, не имеет, собственно, никакого решающего значения.

Сама Эльжбетта Яковлевна должна была тотчас же приба-

вить и объяснить отцу, что ему нечего заранее радоваться и даже восторгаться. Быть может, единственный человек, которого она избрала, за которого тотчас пошла бы замуж, никогда и не согласится на ней жениться. Старик, умный, дальновидный, тонкий, знающий людей, пораздумав, тоже смутился и приуныл.

Зная молодого князя Козельского, он мог встревожиться. Князь мало походил на такого молодого человека, который из-за денег способен на всё и даже продавать себя.

Однако умный и осторожный Кордаро, по уму и характеру скорее дипломат, нежели финансист, решил тотчас, что нужно во что бы то ни стало достигнуть цели. Он не мог себе представить, чтобы единственный человек, который понравился дочери и который нравится и ему, оказался именно таким, которого ни за что в зятя не приобретёшь.

– Надо упорствовать и добиваться! – сказал он дочери. – Я на всё пойду!

И после долгих размышлений Кордаро остановился на одном... В его голове созрел такой план, что если бы он его поверил дочери, то привёл бы её в ужас. В уме покровительствуемого всемогущим Бироном человека мелькнула мысль, что именно герцог может помочь в таком важном деле, но, конечно, помочь лишь в случае упорства князя Козельского. Герцог вызовет его к себе и посоветует ему жениться на дочери Кордаро, а если этого окажется недостаточно, то прикажет князю жениться. Если же, наконец, молодой че-

ловек осмелится не исполнить приказания первого сановника Русской империи, то тогда у временщика окажется много средств заставить его повиноваться.

И Яков Кордаро, размышляя, говорил про себя, усмехаясь:

«Да если какому ни на есть упрямому молодому человеку предложить Эльжбетту Яковлевну или Шлиссельбургскую крепость, или ту, или другую, на всю жизнь, то, пожалуй, не найдётся ни одного человека, который бы стал долго размышлять и колебаться...»

Но, разумеется, старик ни слова не сказал дочери о своём плане. Дело до этого и не дошло.

Кордаро прежде всего объяснился с князем. Умно, красноречиво, добродушно передал он ему, что его дочь любит его, но между ними, конечно, очень велика разница в возрасте. Однако для здравомыслящего молодого человека это не может быть помехой для брака. И наконец, Кордаро прибавил, что у его дочери будет чистоганом около полумиллиона русских рублей, а он сам перед бракосочетанием подарит князю столько, сколько тот пожелает. Сто, полтора, двести тысяч. И с тою целью, чтобы он, став мужем Эльжбетты, имел своё собственное состояние и не зависел от жены в мелочах.

– На женины средства жить стыдно, – сказал старик, – и мне хочется, чтобы вы, идя в церковь, были тоже богатым человеком.

Кордаро знал, что делал.

Последняя подробность подействовала на князя. В первую минуту, когда банкир с ним заговорил, он внутренне удивился дерзости старика, удивился тоже, каким образом сорокалетняя вдова вообразила себе, что он, двадцатипятилетний человек, способен продаться. Но после часу беседы со стариком князь Александр Алексеевич уже чувствовал в себе возможность примириться со всем тем, что ему сначала показалось совсем немыслимым.

Брак состоялся. Княгиня Эльжбетта Яковлевна Козельская не только любила, но обожала своего молодого супруга. Понемногу и сам князь Александр Алексеевич привязался к жене. Иначе и быть не могло. Женщина была так нежна с ним, предупреждала его малейшее желание и, как говорится на Руси, на него молилась.

Вдобавок одно обстоятельство, которого князь боялся, оказалось его напрасным измышлением. Он думал, что дочь банкира неведомого происхождения не сумеет поставить себя в петербургском обществе на известную ногу, не сумеет заставить себя уважать. Он не хотел жить в Петербурге на тот лад, на который жил банкир.

Дом Кордаро был, собственно, каким-то трактиром, или, как называли, «гербергом», и в этом герберге была главная управительница, к которой все относились любезно, но как-то свысока, называя её лишь в глаза Эльжбеттой Яковлевной, а за глаза всегда коротко «Эльжбетка» с прибавкой «толсто-

рожая».

Князь ошибся. Дом, в котором хозяйкой была княгиня Елизавета, а уже не Эльжбетта Яковлевна, стал одним из первых домов в Петербурге. Сама женщина как-то вдруг переменилась и без всяких усилий, без всяких прорух стала важной петербургской барыней. И Козельский оказался счастливым и довольным человеком.

Так прошло почти десять лет.

Однажды всемогущий герцог, грубо арестованный солдатами, как простой мещанин, оказался в ссылке. Падение регента отозвалось на его любимце-банкире, и Бирон ещё не успел выехать в Берёзов, как Яков Кордаро был этой опалой регента разорён в пух и прах. Немедленно кинулся он молить правительницу Анну Леопольдовну... И самый в эти дни всесильный сановник принял к сердцу его положение и обещал наверное помочь и спасти если не все деньги иностранца-банкира, то хоть половину. Но вскоре же после того этот могущественный сановник сам отправился в ссылку. Это был граф Миних. И состояние банкира рухнуло...

Разорение так повлияло на старика, что он заболел. Когда вступившая на престол императрица Елизавета Петровна передала обещание банкиру сделать для него всё возможное, старик неожиданно скончался скоропостижно от удара.

Через год после его смерти дочери его, княгине Козельской, казна уплатила сто пятьдесят тысяч рублей, что было смехотворной каплей сравнительно с теми суммами, кото-

рые бесследно и бездоказательно погибли при падении Бирона.

Разумеется, если бы когда-то старик не отделил дела дочери от своих, то и князь с княгиней оказались бы разорёнными. Затем, года через два после смерти отца совершенно неожиданно княгиня Эльжбетта Яковлевна умерла точно так же, как и её отец, – вдруг, в одночасье, тоже от удара.

У иностранцев Кордаро не оказалось никакой родни, но всё, что было у жены, получил князь. Явились, правда, впоследствии какие-то сомнительные дальние родственники её, родом из Силезии, которые хотели оспаривать наследство, но в эти дни у князя Козельского был уже друг, могущественный человек – Шувалов, и, конечно, претендентов на состояние покойной княгини Козельской попросили подобру-поздорову покинуть пределы Российского государства.

Князь, женившийся неожиданно, чуть не против воли на женщине, много его старше, искренно жалел жену и довольно долго – года два или три...

Но затем он сознался себе самому, что ему удивительная удача. Нужно же было встретить пожилую вдову и жениться затем, чтобы, прожив с ней менее десяти лет, овдоветь и получить снова свободу, но уже при огромном состоянии. И вдовец покинул Петербург и начал странствовать сначала по России, а затем и за границей.

XX

Князь, вдруг решив покинуть Петербург, где жил на широкую ногу, с обедами и вечерами, на которых бывал весь родовитый и знатный люд столицы, не только не порвал связей, но тщательно поддерживал их за время своих скитаний. Приехав в Москву на коронацию, князь тотчас же решил устроить «пир горой» в своём доме. В переполненной теперь Москве у него сразу нашлось много старых знакомых и приятелей. Разница была та – к удовольствию князя – что многие из близких лиц, бывшие тогда на верном пути к почестям, теперь достигли тех степеней и тех ступеней иерархической лестницы, о которых, быть может, и не мечтали. Таковы были Панины, оба брата. Другие были тогда только молодыми дворянами с честолюбием, а теперь стали уже сановниками... Таковы были Теплов, Измайлов, Елагин, Бецкой. Зато третьи, бывшие в зените общественного положения, теперь спустились, если не в смысле знаменитости и блеска положения, то в смысле силы и власти. Таковы были братья графы Разумовские и Шуваловы.

Некоторые могущественные вельможи того времени побывали уже в опале и даже в ссылке, но теперь снова вернулись, призванные «на совет» хитроумной, дальновидной и даже отчасти лукавой монархиней. Таков был бывший канцлер граф Бестужев-Рюмин, фельдмаршал Миних, князь Ша-

ховской и другие.

Были и новые сильные люди, которых князь Козельский звал ещё детьми. Такова была княгиня Дашкова, урождённая графиня Воронцова.

За последнее время уже в Москве, и даже за последние дни, князь Александр Алексеевич завёл много новых знакомых. Одни сами приехали к нему на поклон, к другим он поехал. Таковы были и братья Орловы, о которых он, конечно, никогда за всю жизнь даже не слышал и которые теперь сразу поднялись на высшие ступени иерархии и чуть не на ступени трона.

Однако прожив довольно долго вдали от двора и высшего общества, князь попал в положение совершенно особенное, о чём, при всём своём уме, он наивно не подозревал. Видя перед собой или кругом себя совершающуюся политическую комедию, он ясно отдавал себе отчёт в значении и смысле совершающегося. Но он не мог уже знать ничего о том, что творилось за кулисами этого лицедейства.

Когда-то, в начале царствования Елизаветы Петровны, он знал не только обе стороны медали всего, что происходило, но бывал через друзей посвящён в такие тайны, которые становились известны лишь десятку близких к монархине лиц.

В эти дни, являсь в Москву, князь Александр Алексеевич наивно и добродушно думал, что он в том же положении.

Собравшись теперь устроить пир, пригласить к пышному столу и угостить на славу прежних и новых знакомых и при-

ателей, князь убедился, что отстал от «происхождения всех дел» и почти чужд круговороту при дворе и высшем обществе.

Как умный человек, он, однако, уже вскоре начал догадываться, что «времена переменчивы» и что происходит какая-то «неразбериха».

Впрочем, в эти дни, с приезда государыни в Петровское и до коронации, действительно была полная неразбериха.

Наступала буря на житейском придворно-административном море, которая раскачивала, кренила и колыхала государственный корабль, едва слушавшийся кормила и единой державной руки.

Не было человека, который бы не был смущён, не видел бы надвигающейся бури и не ждал бы грозы от собирающихся туч. И никто не знал, что новичок кормчий ведёт корабль не только твёрдой рукой, не только искусной, но даже опытной, как будто век свой делал это. Этот кормчий вчера был юной германской принцессой крошечного государства, а завтра будет одним из вершителей истории человечества.

Умные, знающие, искушённые в делах государственные мужи ждали на море политики шторма и крушения родного корабля. Кормчий боялся тоже, и верил, и не верил в свои силы и в своё искусство, часто падал духом, но, воспрянув, снова брался за кормило верной и властной рукой и снова правил, направляя всё и всех.

Через года два... может, и гораздо раньше, решили ум-

ные, просвещённые головы, – будет перемена. Снова будет сверженный император Иоанн или же малолетний император Павел с новым регентом, но не немцем, конечно, а русским. А прозорливец, если б нашёлся, мог бы ответить:

– Будет такое только тогда, когда теперешние младенцы будут пожилыми людьми.

Князь Козельский, собравшись дать пир, позвал много народу, и по-московски: широко, не горделиво, то есть без разбора. Старинный, родовитый, но небогатый дворянин без «знаков отличия» от прочих был приглашён сесть вместе и чуть не рядом с сановником уже нового образца, вновь и надолго народившегося на гнилой почве берегов Невы.

Этот сановник, вчерашний пришелец-чужеземец или свой земец-подьячий, приказный, не мог поступиться своим краденым величием, не мог не брезгливо и не чванно сесть рядом с захудалым Рюриковичем. И нового рода местничество родил Петербург с той поры, что первыми людьми империи являлись безвестные выходцы, и свои, и заморские. Но не они сами, иногда крупные звёзды ума и таланта, возродили это новое местничество, а их сателлиты... Помазанники слепой богини Фортуны, Меншиковы и Лефорты, Минихи и Остерманы, конюхи Бироны, лекари Лестоки, чумаки Разумовские были по мере сил своих рачителями пользы и добра. Но их приспешники были только язвой.

Второй ошибкой Козельского оказалось неведение этого нового местничества, не московского, а петербургского, но-

вой борьбы между древней родовитостью и схваченным вчера чином или крестом.

Затем князь не принял во внимание, что между правлениями двух цариц, всесветно знаменитой Елизаветы и ещё неведомой, отважной, но, пожалуй, кто знает, возомнившей чересчур о себе Екатерины, было шестимесячное правление такого императора, как Пётр Феодорович. Монарх, диковинно быстро и почти мастерски успевший всё и всех перепутать, и дела, и людей, и события, и отношения... Монарх, доведший отечество до положения, что «своя своих не познаша». Монарх, заваривший кашу, которую расхлёбывать, и захлестнувший узел, который развязывать нужна была длань богатыря, царя-плотника, а не слабая рука молодой женщины.

И это было третьей и главной ошибкой князя. Поэтому теперь многое удивило его и заставило задуматься. Так, князь пригласил к себе канцлера графа Михаила Илларионовича Воронцова, старого знакомого, которого он, как и все, уважал за ум, за прямоту, за гордость мыслей и чувств и за полное отсутствие той спеси, которая удел лишь выскочек.

Но прямодушный Воронцов, узнав от князя, что к столу приглашён и явившийся из ссылки граф Бестужев, елизаветинский канцлер, поморщился, говоря:

– Мне-то всё равно... Но Алексею Петровичу будет со мной невмозгалу. Я его место занимаю. Он ждёт не дождётся, когда его снова займёт. Что, по всей вероятности, скоро

и случится.

Однако канцлер всё-таки обещался быть. Но узнав, что будет за столом и его родная племянница княгиня Дашкова, уже отказался наотрез.

– Мужа её я уважаю, и пока я канцлер, он будет за Россию стоять в чужих краях. Я его хоть к самому Фридриху не побоюсь послать за Россию постоять. А с этой шумихой и мельницей встречаться не хочу.

Сама княгиня обещалась быть у «дяденьки» Козельского, как она в шутку звала князя с детства, но прибавила:

– Не кликай клич к столу-то, дяденька. А то ведь придётся мне, кавалерственной даме, и со стрекулистами, и с про-свирнями у тебя кушать.

Граф Бестужев, узнав, что будет за столом со скороспелым сановником «из истопников» Тепловым,⁴ нахмурился:

– Что ж делать, князь. Буду И с Иудой-предателем за стол сяду. Он ведь меня доносом в ссылку-то угнал. На меня и великую княгиню, теперешнюю царицу, подло донёс. Но если она, матушка, его терпит, да ещё отличает, то и молчи.

Наконец, князь дошёл до такой наивности, что, недавно познакомившись с новыми «сильными людьми» Орловыми, и их всех позвал. Братья, народ добродушный, весёлый да не без меры «простаки себе на уме», узнав, с кем вместе они

⁴ Теплов Григорий Николаевич (1717–1779) – сын истопника, учился студентом при Академии наук, стал помощником К. Г. Разумовского – президента Академии. Статс-секретарь, сенатор.

будут гостями Козельского, всё посмеивались, прибавляя:

– Будем, будем... Эдакой оказии, князь, не пропустим. В другой раз жди ещё, когда придётся пообедать с Никитой Ехидой или с княгиней Мухой... Токмо вот что. Предупредите и Панина, и Дашкову, что и мы званы. И если они придут да мы перецарапаемся, то не взыщите. Никита Иваныч всегда был мастер-шпын, а Муха, кажись, стала ныне от разных обстоятельств – осой.

Из двадцати сенаторов, прибывших в Москву на коронацию, князь пригласил графов Александра Шувалова, Петра Шереметева и Петра Скавронского,⁵ князей Шаховского и Волконского, генералов Сумарокова,⁶ Брылкина и Суворова.⁷ И из них только Шувалов отказался быть, чтобы не встретить Разумовских.

– Это не придворствовать, где всяк на своём месте, – сказал граф, – а гостить и тесниться. Пословица неправду сказывает, что в тесноте люди живут. В ней люди друг дружке на ноги наступают.

Распорядитель всей коронации князь Никита Юрьевич Трубецкой и «приготовитель» короны венчания Бецкой были почётными и редкими гостями, так как за эти дни бы-

⁵ Таковой неизвестен. Вероятно, имелся в виду упомянутый у П. Н. Краснова Мартын Карлович Скавронский.

⁶ Вероятно, имеется в виду Сумароков Пётр Спиридонович (170? – 1780) – обер-шталмейстер.

⁷ Суворов Василий Иванович (170? – 1776) – генерал-аншеф, отец знаменитого генералиссимуса.

ли страшно заняты и осаждаемы всеми, ехавшими к ним с просьбой не обидеть, не обойти в церемониале ожидаемых великих дней.

Кроме того, в числе гостей был позван московский губернатор Жеребцов, обер-президент магистрата Квашнин-Самарин, гофмейстерина Нарышкина и три фрейлины государыни, графини Гендрикова, Вейделова и Чеглокова.

Так как у бобыля-князя не было жены или сестры, не было даже близкой родственницы, то звание хозяек для приёма гостей взяли на себя по его просьбе жена гетмана графиня Разумовская и состоящая при особе государыни графиня Матюшкина.

Никогда, конечно, московский дом князя Александра Алексеевича ещё не изображал такого зрелища, какое явлено теперь было обывателям. Двор и соседние улицы наполнились рыдванами, колымагами, каретами и берлинами,⁸ все, конечно, цугом чудных коней. Дом был гостями переполнен совершенно. И всё сверкало ослепительно... И убранство комнат. И зал с огромным обеденным столом на двести кувертов. И сами гости в мундирах и орденах.

Князь долго стоял на подъезде, встречая гостей, и по всей большой лестнице, парадно устланной персидским ковром, вереницей двигались гости между шпалерами стоящих лакеев, гайдуков, скороходов и казачков, причудливо и почти фантастично разодетых в богатые ливреи и кафтаны.

⁸ Берлин – старинная карета-колымага.

Большинство гостей держало себя тихо, чопорно и почтительно, так как слишком много было теперь в стенах этого дома важных лиц. В малой третьей гостиной было не более двадцати человек, так как не всякий решался в неё войти, завидя с порога особ слишком высокого положения и значения. Старик, елизаветинский канцлер, войдя сюда, покопился, поморщился и, подсев к графине Разумовской, своей старой приятельнице, ворчал:

– Долго ж я был, видно, не в милости, когда даже вот эдакие в сановники успели выйти... – И он указал на Бецкого и на Орлова.

Но всеобщее главное внимание обращала здесь на себя княгиня Дашкова. И своей екатерининской лентой через плечо, и своей суровой важностью взгляда и речи. Если она была суетливой и докучливой «мухой» в июньские дни, то теперь была именно степенной, но ядовитой «осой». Орловы, давшие ей обе клички, были правы.

– Горделивее самой царицы! – заметил кто-то.

Когда все званые собрались, грянула музыка на хорах зала и гости чинно, парами двинулись за стол. Только в сумерки начался разъезд.

Все толковали весело о трёх «смехотворных приключительствах», генерал-адъютант Орлов оставил хозяину на память кучу изорванных в мелкие кусочки ложек и вилок.

Бецкой заявил за столом громко, что корона российская «уподобительна» в его руках: «Что хочу, то с ней и сделаю».

И только немногие удивились. Было известно, что у этого неглупого человека были странные вспышки самомнения и чванства.

Граф Бестужев, по старой привычке, усугублённой ссылкой, так сильно подвыпил, что не мог встать из-за стола, а был вынесен и донесён в карету.

XXI

Сашок целый день в себя не мог прийти от изумления и, подробно рассказав о диве дивном своему дядьке, и старика привёл в недоумение.

Встретить такого стрекулиста, как этот Вавилон Ассирье-вич Покуда, на парадной лестнице у господ Орловых было, конечно, диво. А все лакеи, которые не обратили на него, офицера, никакого внимания и всё кланялись Покуде, – второе диво. А карета цугом, с малиновым чехлом на козлах и золотыми гербами, в которую сел Покуда, подсаживаемый своими лакеями, – третье дивное диво. Теперь он вспомнил, что на чехле и на ливреях был его герб! Его – Сашка – герб! Князей Козельских герб!! Звезда, полумесяц и меч. Это – четвёртое уже и наибольшее чудо. Даже не диво, а прямо наваждение, колдовство, волшебство или мошенничество.

Это даже крайне важное дело, которое так оставить нельзя. Помимо Сашка, нет князей Козельских. Один только его старый дядя, которого в Москве теперь нет. Как же смеет хам Покуда этот герб себе заводить? А если не Покуда, то тот, чья карета. Вероятное дело, что карета и лакеи – не Покудины. Его довели и отвезли опять к тому, кто герб князей Козельских самовольно взял да ещё франтит эдак по Москве, когда в белокаменной сама царица, весь Петербург и чуть не всё важнейшее дворянство со всей России ради коронавания.

Целый день Сашок с Кузьмичом рассуждали: «Как быть?»

На другой день, побывав на службе у Трубецкого, Сашок вернулся домой, обдумав и решив, что делать с Покудой. На его вопрос о дядьке Тит заявил, что старик ушёл.

«Опять к Квощинским, наверное, – подумал Сашок. – Может, ради меня и этой хорошенькой Тани. А может быть, и для себя. Эта нянюшка для него, старика, не стара. А лицом чистая, пригожая. Лет сорок ей. Ну, вдруг мой старый Иван Кузьмич сердечко своё защемил».

Сашок засмеялся этой мысли, но тотчас прибавил, ворча вслух:

– Да... Меня вот охраняет от погубления, а сам небось... Знай только злится на Катерину Ивановну, что она гуляет близко от окошек.

И Сашок, войдя к себе в квартиру, невольно задумался об этой красивой женщине, которая так странно взглядывала всегда на него всякий раз, что он её встречал в садике на церковном дворе, и всякий раз, что она проходила мимо его окон.

И сколько раз он выходил и тоже гулял. И сколько раз они эдак встречались, и он мысленно горел от желания и нетерпенья разговориться с ней... И не мог... И сколько раз он даже почти молился, восклицая мысленно: «Господи! Кабы она сама заговорила! Господи. Подай».

Но красавица только взглядывала на него и молча проходила. И взглядывала с каждым разом всё как-то чуднее, уди-

вительнее... Её красивые глаза будто говорили...

А говорили они такое:

«Ты милый, хороший... Ты мне люб... Чего же ты молчишь? Когда же ты заговоришь?»

Всё это Сашок отлично читал в глазах женщины и всегда мысленно отвечал:

«Отчего ты сама не заговариваешь... Я сейчас отвечу...»

И теперь он иногда начинал мечтать, сидя дома: «Вот она идёт и вдруг упала... «Ах!» Я бегу, подбегаю и говорю: «Вы ушиблись?» А она: «Нет! Ничего...» Вот бы и заговорили!»

Затем он мечтал: «Кричат, бегают... Сумятица!.. Пожар! Горим! Где пожар? У князи?.. Нет, у пономаря Ефимонова пожар... Катерина Ивановна не выскочила. В огне. Помогите. Я кидаюсь в двери... Нет, уж лучше я в окно влез. Схватил её на руки и несу... А она меня обхватила и говорит: «Спасибо. Я бы без вас сгорела!»

И Сашок, вдруг очнувшись от дум и мечтаний, вскакивал со стула и со злостью восклицал:

– Тьфу! Дурак! Малолеток! Нюня! Зачем тебе, дураку, пожар, когда она и без пожара к тебе льнёт... Нюня, как говорит княгиня. Правда это истинная.

На этот раз Сашок тоже замечтался, но его вдруг разбудил голос:

– Князинька! Лександр Микитич! А, князинька?

Пред ним стоял и приставал Тит.

– Чего тебе...

– Князинька! Мне от Катерины Ивановны отбою нет. Вот сейчас опять была. Я обтирал коня, а она в конюшню заглянула, спросила, где вы, да что... А там говорит: ты прости меня... Я обещался и вот пришёл к вам...

– Что? Что обещался? Кому?

– Ей пообещался и вот пришёл сказать вам, что она вышла со двора к Арбату.

– Ну так мне-то что же? – вдруг выговорил Сашок важно и делая удивлённое лицо.

– Говорит: скажи... может, и князь выйдет к Арбату же...

– Что-о? – невольно ахнул молодой человек и прибавил:
– Она тебе это сказала?

– Точно так. Поди, говорит, Титушка, голубчик. Постарайся, чтобы князь вышел за мною. На церковном дворе и батюшка, и мой муж могут завидеть, а на улице ничего. Постарайся, я тебе, говорит, платок подарю. Ей-Богу, платок посулила. Ну вот...

Тит скромно улыбался и даже смущался.

Сашок сидел, поражённый всем слышанным. Он своим ушам не верил. И вдруг он порывисто встал, надел кивер, который только что снял с себя, глянул в зеркало и быстро вышел из комнаты.

Он чувствовал то же, что чувствует человек, кидаящийся в самое пекло пожара.

– Да. Вот и пожар! – вымолвил он.

Уже спускаясь по ступенькам заднего крыльца, выходя-

шего на церковный двор, он вдруг обернулся к конюху:

– Смотри, Тит. Не вздумай говорить Кузьмичу. Он тебя за эдакое съест...

– Как можно. Помилуйте... Я знаю... Да я бы и не пошёл к вам. Да из жалости. Уж очень она молила, чуть не плакала... Поди да поди, князя на меня выстави...

Но Сашок, румяный от волнения, даже не слышал последних слов. Он шагнул и зашагал по двору, затем по своему переулку, а затем по широкой улице Арбата.

– Ну, а потом? Ну, а потом? Ну, а потом? – повторял он выразительно и отвечал: – Ни за что сам не заговорю. Не могу! Вот и весь сказ. Уж лучше прямо обнять её и целовать. Пускай плюху даст за озорничество... А заговорить – не могу.

И рассуждая так, Сашок не шёл, а бежал, озираясь по сторонам.

И вдруг сердце захолонуло: красавица пономариха тихим шагом, опустив голову и глядя в землю, двигалась ему навстречу.

«Вот сойдёмся! – кричал ему кто-то в ухо. – Вот!.. Вот!.. Ну! Ну! Да ну же. Скорее! Скажи: «Здравствуйте!» Скорее! Поздно будет. Вот уже и поздно».

Сашок и пономариха сошлись... и разошлись. Она подняла глаза и глядела на него, прося глазами то же самое: «Заговори!»

Но Сашок сам опустил глаза и прошёл... А пройдя, на-

чал себя отчаянно честить самыми бранными словами. А затем, уйдя далеко, потеряв из виду женщину, завернувшую за угол, он стал и стоял как вкопанный. А затем закачал головой:

– Ах, нюня! Ах, сопляк! Ах, щенок! Вот уж именно княжна Александра Никитишна, как звали в полку.

И он пошёл бродить по кварталу без цели и смысла, понурив голову и с лицом, на котором теперь была написана неподдельная печаль.

– Конец! Конец! – повторял он вслух. – Уж если и теперь не заговорил, то, конечно, никогда не заговорю.

Когда через час, уже в полусумраке, он, понурясь, задумчиво и не глядя ни на кого и ни на что, входил на церковный двор, вслед за ним, чуть не за его спиной, тоже входил кто-то. Он обернулся. Это была Катерина Ивановна!!

– Неужто же она эдак за мной уж давно? Вплотную? Давно!

И Сашок, обомлев, ускорил шаг.

XXII

Сашок вернулся домой, обзлѣнный на самого себя.

Кузьмича не было в комнатах, но Тит объяснил, что дядька давно вернулся, спрашивал о барине и вышел опять на улицу, но без шапки, должно быть, недалеко...

Действительно, Кузьмич побывал недалеко, но по чутью.

Едва успел молодой человек раздеться, снять мундир и, зажегши свечку, сел на диван, как явился дядька и заговорил странным голосом:

– Вот что, князинька. Я тебе доложу, что я этого оправдать не могу.

– Чего? – удивился Сашок, не понимая.

– А вот этого самого.

– Чего – этого самого? Сказывай.

– Ты знаешь. Нечего вилять-то.

– Что ты, ума решился? Какие-то загадки загадываешь, а я распутывай.

– Никаких загадок тут нет, – волнуясь, заговорил старик. – А я прямо, по моей любви к вам, сказываю, что на эдакое я не могу глядеть и молчать. Я пред твоими покойными родителями и пред самим Господом Богом за тебя ответственую... Выходив тебя, с самой колыбельки приняв на руки...

– Ах, Кузьмич, опять начал с колыбельки. Сказывай прямо, что тебе нужно.

– Ничего мне не нужно, – сурово и будто обидясь, огрызнулся Кузьмич. – А не могу я видеть у себя под носом беспутничанья и всякого...

– Чего? Чего?

– Души и тела погубления...

– Слава Создателю! Сказал наконец! – догадался Сашок, хотя отчасти смутился.

– Понял? Ну вот и мотай на ус, что я по моей любви к вам и ответственности пред родителями покойными и кольми паче...

– ...Пред Господом Богом, – продолжал Сашок.

– Ну да... Пред Господом. Нечего тебе насмешничать.

– Ты про пономариху?

– А то бишь про белого бычка. Понятно, про эту каналью-бабу.

– Чем она каналья?

– А тем, – закричал Кузьмич, – что не смей она, распутная баба, закидывать буркалы свои на отрока, чтобы опакостить его!

– Пустое всё это, Кузьмич... Какой я отрок? Эдак ты, говорю, до тридцати лет всё будешь меня величать.

– Вам след, – помолчав, заговорил Кузьмич спокойнее, – добропорядочно и богоугодно повенчаться законным браком с благородной и честной девицей, коли время пристало, а не срамиться и не пакостить себя. Вот что-с. Познакомься, найди девицу в Москве, бракосочетайся и будешь счастлив,

обзаведёшься достойной супругой, княгиней. А возжаться тебе со всякой поганой бабой я не дам. И коли эта разгуляха пономариха ещё будет тут шататься около дома, я её исколочу до полусмерти... Батюшке пожалуюсь... В консисторию прошение на неё подам.

Сашок поднялся с места и заходил по комнате, засунув руки в панталоны и посвистывая, что означало досаду и гнев. А «пылить» при его скромности и кротости – ему случалось.

– Нечего свистать-то. Дело говорю, – заявил Кузьмич сердито. – Прямо в консисторию прошение подам. Она хоть и каналья, да спасибо, духовная... По мужу... И ей из консистории прикажут не развратничать с офицерами. А ничего не сделают ни пономарь, ни духовная консистория, то я её исколочу собственными руками. И Титку заставлю бить.

– Ну что же? Ты с Титкой. А я с ней. Кто кого одолеет, – проворчал Сашок.

– Что? Как ты с ней?

Сашок молчал и ходил, посвистывая.

– Да полно ты, свистун. Эдак ведь ты и душу свою, и тело своё, ещё покуда не грешные, – просвищешь... Отвечай лучше.

– Что отвечать? Я ответил. Ты хочешь драться. Молодую женщину бить. Ну я за неё вступлюсь.

– Вступишься? Стало, меня бить учнёшь?

Сашок молчал.

– Так, стало быть, что же? Порешил ты пропадать, душу

губить. Говори, отчаянный!

– Да чего ты знаешь? – вдруг вскрикнул молодой человек, наступая на старика. – Чего ты знаешь? Может, я уже и давно душу-то с телом, как ты сказываешь, погубил.

– Что-о? – протянул Кузьмич, разинув рот и как-то присев, будто от удара по голове.

– Да. Чего ты знаешь? Вишь, пагуба мне от пономарихи твоей, когда я уже давно...

– Что-о?! Что-о? – заговорил Кузьмич и вдруг прибавил: – И всё-то врешь. А я сдуру поверил.

– Ан не вру!

– Ан врешь.

– Ан нет. В Петербурге зимой знаком был с Альмой.

– Какой Сальмой?

– Альма, а не Сальма! Шведка.

– Шведка?

– Ну да. Шведка. Красавица. И я... Я у неё был... Десять раз был. Товарищи познакомили... Да. А ты тут всё про душу, да про тело, да про пагубу. Потеха, ей-Богу. Немало в Питере надо мной смеялись товарищи. Ну вот я тогда и порешил...

Кузьмич ухватился за голову и стоял как поражённый громом.

– Скажи, что всё наболтал? Скажи, что морочишь? – произнёс он глухо.

– Ничего не морочу.

– Со шведкой Сальмой? Загубился?

– Какое же загубление? Всё так-то. Я один на весь полк сидел как какой монашек из-за тебя да твоих выдумок.

– Князинька! Александр Никитич! Если же это правда, что ты сказал, – едва слышно проговорил старик, – то я сейчас побегу в Москву-реку. Говори...

Сашок снова заходил по комнате и молчал.

– Говори. Скорееючи! Прямо топиться, коли не углядел я, старый пёс.

– Больше мне сказывать нечего! – резко отозвался Сашок. – Мне надоело... Я к тому говорю, что если Катерина Ивановна мне нравится и я ей нравлюсь, а у неё муж, пономарь, дикобраз, то... То, стало быть, это наше дело и до тебя не касается. А это твоё погубление – всё глазам отвод. Морочанье. Прежде я с тобой соглашался, а потом по-своему всё рассудил. И вот в Петербурге я и... отважился... на это самое.

– Не верю, – замотал головой Кузьмич.

– Не верь, коли не хочешь.

Наступило молчание. Сашок ходил из угла в угол, а дядька стоял истуканом, слегка наклонясь вперёд, как пришибленный.

– Чудно, право! На что же и женщины на свете, коли не для мужчин. Всё эдак-то. Не все рано женятся. Успею и я в брак вступить.

– Слушай, – выговорил старик хрипло. – Ответствуй прав-

ду. Побожись вот на образ.

– Что? В чём ещё?

– Побожись про шведку, что соврал, чтобы только меня ошарашить.

– Да и не одна. Мало ли их в Питере было. Я только ска- зывать не хотел.

– Одна ли, сто ли – это едино! А ты побожися, что загу- бился. Побожися.

– Не хочу.

– Не хочешь. Стало, врёшь! – храбро и с оттенком радости воскликнул дядька.

– Вот же тебе... Вот. Ей-Богу! Побожился. На вот! Швед- ка Альма. Да. Стало быть, Катерина-то Ивановна уж мне не диковина... первая...

– Побожился? – глухо спросил старик.

– Побожился. И ещё побожусь.

– Когда же это было? – ещё глуше произнёс старик.

– Зимой, сказываю тебе. На Масленой неделе познако- мился и на третьей неделе...

– Поста!!

– Чего?

– Великим постом... На третьей неделе? Когда я говел, а ты всё пропадал, якобы у командира.

– Ну вот.

Кузьмич тихо повернулся, двинулся и тихо пошёл из ком- наты. Сашок глядел вслед дядьке и не знал, как объяснить

такой результат разговора.

«Неужели Кузьмич, узнав такое, рукой только махнул?», – думалось Сашку.

Вместе с тем молодой человек был доволен собой, что наконец объяснился с дядькой как следует – молодцом. Его уже давно раздражал этот старик своим обращением с ним как с «махоньким».

– Да. Давно пора было! – бормотал он сам себе. – Невтерпёж. Из любви? Вестимо, он меня любит. Да всё ж таки – нестерпимо. Дитё да дитё. В карты не играй. Вина не пей. С товарищами никуда не отлучайся позднее десяти часов. На женский пол и взглядывать не моги... Щурься, когда какая барыня мимо идёт. Ну, карты и вино – чёрт с ними. Не понимаю, как другие это любят. Но вот женский пол, и особенно если какая красива... Это я не могу...

Сашок помолчал и как-то грустно выговорил:

– Вот, ей-Богу же, не могу.

Затем он сел на стул и начал думать о пономарихе. Красивая женщина ясно, живо встала перед ним в полумраке комнаты, освещённой сальной, давно нагоревшей свечкой. Огромный чёрный фитиль всё увеличивался, коптил и дымил, а сало лилось вдоль свечки. Но Сашок не видел нагара, забыл про щипцы, лежавшие на шандале, и не поднимался снять нагар. Катерина Ивановна стояла перед ним улыбающаяся... Алые уста, яркие чёрные глаза. Румянец пылает на щеках... Она протягивает к нему руки. Он обнимает и

крепко, крепко целует в розовые губы, а она... Она плачет, всхлипывает. Да как всхлипывает! Горько, горько... Сашок очнулся, прислушался и вздрогнул. Видение исчезло, а плач ясно слышался.

– Где? Что? Кто это? – прошептал Сашок. И вдруг он вскочил и бросился из комнаты. Выбежав в коридор и вбежав в первую же дверь направо, где была каморка Кузьмича, он стал, оторопев, на пороге.

Кузьмич стоял на коленках в углу, где висели два образа, и, закрыв лицо руками, горько плакал. Всё тело старика тряслось.

Сашок не выдержал, слёзы навернулись у него на глаза. Он бросился к дядьке с криком:

– Кузьмич! Кузьмич! Полно. Что ты. Полно же, Кузьмич. Золотой мой!

Но при звуке голоса питомца старик отнял руки от лица и пуще зарыдал, громко и хрипло, на весь дом, так что тощее тело его вздрагивало.

– Не углядел. Не соблюл завещания. Дал людям загубить... – с трудом проговорил он.

– Кузьмич! Дорогой. Родимый.

Сашок нагнулся, потом сам опустился на колени около старика и, обняв его, закричал:

– Кузьмич! Вру я. Вру! Вру! Ей-Богу. Господь свидетель. Матерь Божья. Всё наврал. Тебя позлить.

И слёзы уже ручьём текли по щекам молодого человека.

– Сашенька! Сашунчик! Правда ли наврал? – всхлипнул Кузьмич.

– Обморочил. Вот тебе Христос. Матерь Божья. Позлить, позлить хотел.

– Никакой Сальмы ты...

– Ничего! Никого! Никогда! – плакал Сашок, обнимая старика. – Была шведка Альма. Товарищи... Напоили... Её науськали... Я пьян был... Она ко мне... Целоваться...

– Ну! Ну!

– А я её кулаком... И она, обозлясь, меня кулаком. И передрались... Товарищи разняли... Хохотали. Дураком обзывали... А я разревелся... Плакал. Вот как теперь.

– Родной! Голубчик! Сашурочка. Сашунчик. – И Кузьмич, ухватив питомца в объятия, душил его и целовал, куда попало: в волосы, в ухо, в нос...

– Слава тебе, Создатель. Многомилостив царь небесный. Сподобил соблюсти дитё... – восторженно закричал Кузьмич, глядя на образа.

XXIII

Прямым последствием всего, что произошло, было нечто повлиявшее на судьбу молодого человека, на всю его жизнь.

Бурные объяснения и ссоры чуть не до драки бывали, конечно, часто между молодым человеком и его дядькой, но такой стычки и горячего примирения с обоюдными слезами давным-давно не бывало.

Сашок чувствовал, что он виноват пред своим добрым стариком. Ведь Кузьмич был единственным на свете близким человеком у сироты, был будто не крепостным холопом, а близким родственником.

Но, чувствуя теперь себя виноватым пред дядькой, он сознавал тоже ясно, что он не виноват в ином отношении.

«Если Катерина Ивановна нравится мне... Даже вот позарез нравится, – думалось ему. – И сама ко мне льнёт... Что же тут?.. Он говорит, погубление... А товарищи до слёз хотали над этим. Говорили, что все дядьки и мамушки так рассуждают, но что это смехотворное рассуждение. А Кузьмич вот плачет из-за выдумки про шведку, как если бы я в смертоубийстве сознался. Вот тут и вертись и выворачивайся. Что делать?!»

И Сашок целую ночь волновался и плохо спал, да ещё вдобавок, два раза задремав, видел красавицу пономариху, которая его опять обняла и поцеловала. Он проснулся и сел на

постели, как если бы его ударили.

Ох, Господи! Наваждение!

Наутро Кузьмич пришёл в спальню питомца позднее обыкновенного. Он сам проспал, будучи потрясён вчерашним происшествием. Едва только Сашок умылся, оделся, помолился Богу, как дядька заговорил о своём деле... О семье Квощинских и о барышне Татьяне Петровне. Дядька повторял всё то же... Такой красавицы, умницы, «андела и принцесы» – второй во всей России не сыщется.

В заключение он добился от Сашка обещания познакомиться с дядей девицы, с Павлом Максимычем Квощинским, чтобы через него войти в знакомство и со всей семьёй.

Сашок обещал нехотя.

– Да. Хорошо. Вот как-нибудь. При случае...

Затем около полудня, когда его питомец отправился по службе к Трубецкому, Кузьмич вышел и чуть не бегом пустился в гости к Марфе Фоминишне.

На этот раз в комнату мамки пришла сама Таня и села, заставив Кузьмича тоже сидеть. И девушка очаровала старика ласковостью, что было и не лукавством.

Она сама действительно чувствовала, что сердечно относится к тому человеку, который «его» выходил.

Если всякие расписыванья Кузьмича о чувствах девицы к Сашку на него мало действовали – отчасти из-за пономарихи, то подобное же расписыванье Фоминишны о чувствах офицера-князя к Тане совсем свело девушку с ума.

– Ты уж не очень... – говорила нянюшке сама Анна Ивановна. – Вдруг ничего не будет. А ребёнок в слёзы ударится да ещё захворает.

– Небось. Я взялась за дело, так не промахнусь, – отвечала та.

И няня, так же, как и дядька, отлично знала, что делает. Разумеется, дело Кузьмича было много мудрёнее. Много ли надо девицу настрекать. А настрекать молодого человека, когда кругом него увиваются всякие барыньки, и вдовы, и просто весёлые, было, конечно, нелегко. Однако в тот же день, вернувшись от Квощинских, Кузьмич снова заговорил с питомцем, но уже на другой лад. Дядька негодовал на своего питомца, попрекал его, дивился и руками разводил, повторяя:

– Грех! Грех!

– Как же грех, Кузьмич, когда я ни при чём! – оправдывался Сашок.

Дело было в том, что Кузьмич объяснил питомцу, что на барышню Квощинскую смотреть жалко: худеет, бледнеет, глазки красные. Она даже уксус потихоньку пьёт. И ничего ни няня, ни родители не могут поделать. Она извести себя порешила. А если не помрёт, то, говорит, пострижётся в монастырь. И всё это от любви к князю Козельскому. Сашок был смущён, но отчасти и доволен. Впервые в жизни он испытывал странное чувство: знать, что есть на свете красивое молодое существо, которое занято им, Сашком, думает

неустанно и днём и ночью о нём одном.

И молодой человек, наконец, согласился с дядькой, что нельзя оставить девицу помирать от любви. Надо познакомиться, узнать ближе... Может быть, и впрямь его суженая...

«А так, судя по видимости и по личику, конечно, она мне по сердцу...» – решил Сашок.

XXIV

Павел Максимович Квощинский, которого Сашок не раз видал в гостях у госпожи Маловой, не зная, однако, его фамилии, назывался в Москве «всезнайкой».

Павел Максимович был гораздо богаче брата, потому что уже давно и совершенно неожиданно получил очень большое наследство от дальнего родственника. Он, конечно, помогал семье брата, с которой почти жил вместе, занимал на дворе их флигель. Было тоже известно и давно решено, что после его смерти всё его состояние останется его племяннику Паше, который теперь был капралом в Преображенском полку в Петербурге. Впрочем, от большого наследства у Павла Максимовича оставалось ныне уже менее половины. Холостяк, которому ещё не было пятидесяти лет, добродушный, весёлый, беспечный, проживший, собственно, крайне заурядно и скромно, сам не знал, как и куда ухнул более половины своего состояния.

Главная слабость Павла Максимовича – женский пол – не слишком повлияла на это, ибо была, как у многих, самая обыкновенная. Он равно любил общество, любил и путешествия. Он не сидел от зари до зари около своей возлюбленной, как многие иные, а говорил: «Правило есть – всего понемножку!» Поднявшись рано, он до полудня рисовал водяными красками всякие «ландшафты», затем, приказав за-

прячь небольшую берлинку, выезжал в гости, возвращался ко времени обеда и снова исчезал до ужина... В один день случилось ему побывать в пятнадцати и двадцати домах. Вечер же он проводил у «предмета», но, однако, не всякий день. Теперь уже года с четыре этим «предметом» была Настасья Григорьевна Малова, младшая сестра княгини Трубецкой лишь по отцу, женившемуся вторично. Настасья Григорьевна была женщина совсем ограниченная, простодушная, ленивая и как бы вечно сонная. Но двадцатипятилетняя вдова, вполне свободная, да ещё и очень красивая, конечно, прельщала многих. Однако главные её обожатели были почему-то только юноши и старички. Светло-белокурая, голубоглазая, белая как снег лицом, шей и руками, даже поразившая этой белизной на балах, она была лишь немного мала ростом, от коротеньких ножек, и немного полна, а стало быть, кругленькая как шар. Зато она была тем, что высоко ценится многими и именуется «сдобная». Сонливость и наивность, если не глупость кругленькой вдовушки были, однако, особые, если не были просто обманчивы.

Настасья Григорьевна, с трудом соображавшая или не понимавшая совсем самых простых вещей, понимала, однако отлично, что любовь, например, пожилого, несколько обрюзглого, неинтересного, но доброго и богатого Павла Максимовича надо беречь... Приберегать на всякий случай, чтобы через лет десять на худой конец выйти за него и замуж. Уверяли, будто Настасья Григорьевна кажется такой «про-

стотой», а в сущности себе на уме и даже «лиса баба». «Лапки бархатные, а зубки щучьи!» – говорил про неё Пётр Максимыч, которого, конечно, смущала связь брата-холостяка со свободной вдовой.

Благодаря этим, действительным или кажущимся, свойствам молодой вдовушки у богатого, любящего свет весело-добродушного и на вид совсем беззаботного Павла Максимовича была, однако большая забота, было нечто, чуть ли не отравлявшее его существование.

«Всезнайка» не был влюблён как мальчишка, не был предан телом и душой красивой вдовушке, с которой был в связи уже пятый год, а вместе с тем ревновал её ко всем, так как мысль об обмане и её неверности ложилась тяжестью на его душу. Это было вопросом самолюбия. Настасья Григорьевна, по его убеждению, была такой безмерной ограниченности разума, что с ней нельзя было быть уверенным в чём-либо. Он был уверен, что она способна на всё и что можно было её заставить всё сделать. По недомыслию и крайнему простодушию она могла, по мнению Квощинского, попасть в воровки или убийцы, стоит только кому-нибудь «науськать» её, убедив, что убить человека самое простое дело и самое хорошее.

Зная это свойство характера своей возлюбленной, Квощинский постоянно боялся измены со стороны женщины, не по её личному почину, а под влиянием кого-либо...

Малова жила на квартире, которую нанял и оплачивал Па-

вел Максимович, рядом с сестрой Трубецкой, и жила тихо, обыденно, скучновато, почти не выходя и никого не видя, занимаясь сплетнями и пересудами околотка. Квощинский бывал у подруги своей всякий день среди дня, иногда и вечером, но долго и тщательно скрывал от всех свою почти старческую слабость. Даже брат его и невестка только год назад узнали о его связи с госпожой Маловой.

За последнее время, за прошлую зиму и весну, Квощинский имел уже и основание тревожиться, так как стал часто встречать у своей Настеньки очень молодого капитана по фамилии Кострицкий. Женщина объясняла, что офицер – её дальний родственник, вроде племянника, недавно прибывший в Москву на время. Сам капитан был человек необыкновенно скромный, с Квощинским был особенно вежлив и почтителен, а к Настасье Григорьевне относился при Квощинском с глубоким уважением. Вместе с тем он сказывался женихом одной девицы и почти накануне свадьбы... И вместе с тем этот племянничек и жених смущал донельзя ревнивого Павла Максимовича. Сердце его будто чувало что-то...

Но у холостяка была другая, настоящая страсть. Богомольные путешествия. Не было, казалось, в России ни единого монастыря, ни единой пустыни, где бы Павел Максимович не побывал хоть раз. У Троицы Сергия он бывал по нескольку раз в году. Один только монастырь не видал он и мечтал повидать. Но это было уже грёзой... Одно заявление его о путешествии этом своим знакомым пугало всех... Это

был Афонский монастырь. Впрочем, и сам Квощинский понимал, что он грезит и хвастает и за всю жизнь никогда туда не попадёт.

Эти постоянные путешествия к разным святым местам, а равно и вечные скитания по гостям обуславливались двумя чертами характера Павла Максимовича: крайней искренней религиозностью и крайней общительностью, страстью видеть побольше народу и беседовать. Когда на него нападала какая-то особенная грусть или меланхолия, он тотчас собирался на поклонение в какую-либо пустынь... Или когда москвичи начинали ему прискучивать и мало бывало событий и новостей в первопрестольной, он вдруг сразу решал поездку в какой-либо монастырь, где у него были хорошие давнишние приятели-монахи.

– Два удовольствия тут, – говорил он. – Уехать приятно и вернуться потом домой приятно.

За последние годы у Квощинского понемногу явилось и созрело новое желание, которое прежде показалось бы ему совершенно невероятным.

Ему захотелось побывать в чужих краях. Съездить хотя бы и не очень далеко, в королевство Польское или в Швецию. Но средств на это уже не было. Поэтому постепенно созрел у него план поступить на службу в коллегия иностранных дел и быть посланным на казённый счёт за границу. План этот отчасти был исполним, так как Павел Максимович имел одно редкое преимущество пред другими дворянами его лет.

Он хорошо читал, писал и отчасти мог разговаривать по-французски и по-немецки.

Он всегда с благодарностью вспоминал, что этим был обязан своему крёстному отцу, очень образованному человеку времён великого императора, Шафирову.

Теперь, в начале нового царствования и в дни, когда увидела у себя Москва новую императрицу, окружённую своими сановниками, Квощинский решил попытать счастья, проситься в коллегияю иностранных дел, тем паче, что крупный сановник Теплов мог оказать покровительство.

Когда Москва переполнилась гостями из Петербурга, Павел Максимович уподобился рыбе в воде или сыру в масле... Он летал по городу... А с другой стороны, «всезнайка» в эти дни оказывался для друзей бесценным человеком. Вести и слухи, одни страннее других, бегали по всей Москве, по всем дворянским домам. Челядь крепостная не менее господ ожидалась и прислушивалась ко всему, что проникало в столицу из села Петровского.

А как узнать, что выдумка ради соблазна и что правда? И, будто по единодушному приговору и решению, «всезнайка» Павел Максимович был почтён званием верховного судьи, решителем или пояснителем всех вестей.

Видавая теперь часто таких лиц, как Теплов, Павел Максимович всегда мог знать, что именно праздная выдумка, злобная клевета, «соблазнительное» враньё и что истина.

Слух, передаваемый с опаской, чуть не шёпотом, что го-

сударыня собирается выйти замуж за графа Григория Орлова, всего сильнее взволновал москвичей.

– А правда ли это?

– Не клевета ли это?

– Не злобное ли и противозаконное издевательство?

И вот многие обращались теперь насчёт удивительного слуха к «всезнайке».

А Павел Максимович уже слышал об этом от Теплова, который передал ему даже мнение самого Никиты Ивановича Панина.

Вельможа по этому поводу выразился французской поговоркой: «Pas de fumee sans feu!» – «Нет дыма без огня!»

И «всезнайка» в свой черёд отвечал на вопросы москвичей:

– Почём знать, чего не знаешь.

Когда начались споры между политиками-дворянами, возможно ли такое, неслыханное и невиданное, несообразное, то «всезнайка» говорил, повторяя слова Теплова:

– В иноземных государствах такое бывало. Супруг монархини не считается монархом и не коронуется. Ему только дают почёт и уважение, как ближнему к престолу лицу, хотя и без должности.

– То иноземные государства, а то Российская империя. Басурман нам не указ! – говорили одни.

– Греховного или противозаконного ничего тут нет! – говорили другие.

– Стало быть, у простого дворянина могут быть царские дети.

– А разве прежде супруги царей не были из российского дворянства?

И вот к этому всезнайке и путешественнику-богомолу направил Кузьмич своего питомца знакомиться.

Сашок отправился и узнал, что это тот же господин Квощинский, которого он видал уже не раз у Маловой, когда бегал к ней за чудодейственным табаком.

Павел Максимович принял офицера-князя любезно, но, не зная ничего о планах брата, недоумевал, зачем Козельский явился к нему.

На его заявление брату, какой был у него гость, Пётр Максимович спросил:

– Ты знаешь князя Козельского Александра Алексеевича?

– Вестимо, знаю. Он теперь здесь, в Москве. Недавно пир задавал. Он дядя родной этого молодца. А что?

– Что он за человек?

– Российский дворянин и князь.

– Я говорю: что это за человек?

– Человек богатейший. Чудодей знаменитый...

– Ну...

– Что «ну»?.. – отозвался Павел Максимович.

– Скажи, Господи, что за человек нравом, чувствами, душой, что ли, своей.

– А? Эдак, то есть... Ну, эдак будет уже не то... Эдак будет

он человек особенный.

– Чем особенный? Чем? – нетерпеливо спросил Квоцинский.

– Да так... Не столько человек по образу и подобию Божию, сколько... свинья.

– Что-о? – проорал Пётр Максимович.

– Да. Это человек добрый, но, собственно говоря, совсем свинья. А тебе на что?

Квоцинский таинственно объяснил брату.

– Ну что же. Не он ведь женится, а племянник.

– Да. Но он мог бы дать ему душ двести-триста...

– Ну, вот этого не будет. Полагаю, не даст он ничего. Жила! На себя не пожалеет тысячи рублей на любую прихоть. А другому дать, хотя бы родному племяннику, алтына не даст. Но надо с ним уметь взяться... Это мне препоручи. Устрою.

– Как же так? Ты что же тут можешь?

– Препоручи. Может быть, и сумеем его встряхнуть! – улыбнулся «всезнайка».

– Говори, братец, прямо... Дело ведь нешуточное, – сказал Пётр Максимович.

– Изволь. Скажу. У князя Козельского есть дело, ему непосильное. Есть просьба, с которой он увивается около вельможи.

– Около кого?

– Около графа Панина.

– Ты это знаешь, братец?

– Верно знаю.

– Удивление. Теперь все добиваются чего-нибудь. Все хотят что ни на есть от новой монархини выклянчить, – закачал головой Пётр Максимович. – Кто должность, кто орден, кто сотню, и две, и пять душ крестьян...

– Да. Ну, вот и твой князь желает звезду александровскую...

– Что же ты можешь?

– А вот надумаем меновой торг, – усмехнулся Павел Максимович. – Тебе нужно то и то... Ну, дай нам вот то и то... Удели что-нибудь племяннику... Немудрёно это дело. Я Теплова попрошу, он Панина, а Никита Иваныч Козельскому поставит условием оное...

XXV

Тит уже давно собирался навеститься к бабушке и сестре, но Кузьмич не отпускал его. Наконец он добился своего и радостно пустился в путь в село Петровское. Он нашёл дома только сестру, а старуха была на своём огороде. Расспросив её о бабушке, он, разумеется, принялся рассказывать тотчас о своём житье-бытье, о князе, о Кузьмиче, даже о пономарихе.

– Ну а каков князь. Драчун? – спросила Алёнка.

– Где там! Мухи не тронет, – ответил Тит восторженно. – Добреющий. Ласковый такой, тихий. Я отродясь таких не видал. И красавец. Катерина Ивановна от него прямо ума решилась.

– Вишь ты... – раздумывая, выговорила девушка.

– И на это, Алёнушка, полагаю я, есть особливая причина.

– Красив да князь... Ну и влюбилась. Ничего нет особливого...

– Нет, я не про то... Я про его тихость да ласковость... Он, может, сам-то по себе и такой же, как все господа... Нет-нет и треснут чем попало... А ему, моему Лександру Микитичу, не до того... Мысли его ему мешают. Не до сыска, не до взыска, а до горести своей. Знаешь, так-то поётся.

– Да что же такое?

– А то, говорят тебе... Что он очень сам-то убивается. По-

любилась ему барышня Квощинская, Татьяна Петровна. Барышня – на диво. Ну и она тоже души в нём не чаёт.

– Ну а родители его противничают?

– Чьи? У него их никого. Сирота. Была тётушка. А теперь и её нет.

– Уехала?

– Как уехала? Не уехала, а померла...

– Стало, родители барышни не хотят его в зятя себе.

– И они хотят. И барин Квощинский, и барыня, и брат баринов – все хотят.

– Так что же тогда? Чего тянуть. Говори! – нетерпеливо вымолвила Алёнка.

– Говори? Чего же я буду говорить, когда не знаю. И никто не знает. Он, мой Александр Микитич, от Татьяны Петровны без души. И все его полюбили. И все бы рады сейчас свадьбу сыграть. И он бы радёхонек... Разума от неё решился, сказывает Кузьмич. А Катерина Ивановна, говорит, совсем князю противна.

– Ну? Что же свадьба-то?

– Ну – нет ничего. Не выгорит. Печалуются все, а поделаться ничего не могут. Запрет. И неведомо от кого! Чудно. Сам Кузьмич мне всё это сказывал.

И беседа брата с сестрой снова перешла на то же близкое ей дело, о Матюшке и его господах.

– Надо же эдакую напасть, что они разбогатели, – сказал Тит. – Но всё ж таки рублей за пятьдесят они дадут отпуск-

ную. Что им одним парнем больше или меньше.

– А где их взять! Пятьдесят-то рублей, – вздохнула Алёнка.

– У бабуси найдутся. Верно говорю. Она таится. А у неё есть они.

Алёнка помотала головой.

– Кабы были, бабуся давно бы их дала, – сказала она. – А их нету...

А пока брат с сестрой толковали о своих делах, их бабуся сидела на скамейке около своего огорода, а около неё была та же дама, живущая в палатах графа Разумовского. И это было не во второй, а уже в третий раз. После первой встречи и беседы со старухой дама снова появилась около огорода дня через три.

Параскева при виде её струхнула и желала укрыться, но это было совершенно невозможно среди гряд и голого поля.

Дама села на скамейку, ласково окликнула её и подозвала к себе.

В этот второй раз Параскева привыкла к своей «барыньке» и будто забыла, что она живёт в одном доме с самой царицей и даже видаёт её. Барынька ласково, просто и весело, притом прямо «по душе», беседовала со старухой о себе самой, о житье-бытье Параскевы, о её правнуках... Но просидела она недолго, спешила домой, опасаясь, что важная особа, при которой она состоит, может её хватиться, а вышла она без спросу.

Теперь в третий раз наведалься она к огороду, а Параскева, пришедшая было полоть картофель, завидя свою «касатку», поспешила к ней радостная. Уж очень долго не виделась она с новым другом.

Но подойдя и сев около дамы, Параскева удивлённо пригляделась и даже ахнула:

– И чтой-то ты, касатушка... Аль худо какое приключилось?

– Ничего, старушка... – отозвалась та.

А между тем по красивому лицу дамы можно было легко догадаться, что она была не только озабочена, а прямо грустна. Печальные глаза, казалось, были с краснотой, как если бы она плакала пред тем, как прийти.

– Я сто лет на свете живу. Забыла ты это... – заговорила Параскева. – Говори, касатушка, что у тебя на сердце. Говори, не бойся... Чужое дело всегда чужому человеку легче развести.

Дама стала уверять старуху, что ей просто нездоровится, но Параскева начала её расспрашивать, иногда отвечала сама, догадкой, и так умно, что дама постепенно многое рассказала. А всё это многое за сердце схватило добрую столетнюю старуху.

Параскева заохала, закачала головой и начала утирать сухие глаза, так как уже давно плакала без слёз.

– Вот оно что... И господам бывает хуже холопов. Вижу я, вижу, касатушка, рвут тебя як части. А всё вдовье твоё дело.

Будь у тебя супруг, то заступился бы.

Дама улыбнулась, но печально.

– Горе-злосчастье ходит по свету... Куда придёт, отворяй ворота, что в мужичью избу, что в палаты боярские. Ему, говорю, не скажешь: проходи, мол, своей дорогой. Нет. А придёт оно, и не знаешь, как его изжить. Ни умом, ни силком, ни молением. Ничто не берёт его.

– Правда твоя, бабушка! – грустно отозвалась дама.

– Да-а! – протянула Параскева, вздыхая. – Инда смерть жалко тебя, мою касатушку. Ты красотка, умница, добрая. А тебя, вижу я, рвут на части. А люди, родимая, рвут хуже, чем собаки. А ещё тебе скажу, верь мне, старой, не вру... Есть, бывает такое, други-приятели хуже врагов.

Дама улыбнулась невольно и подумала про себя: «Dieu me garde de mes amis, et de mes ennemis je me garderai moi-même».

Параскева задумалась, приуныла, потом выговорила:

– Ну, вот что, моя золотая сударка...

И она запнулась, подумала ещё и наконец, вздохнув, сказала:

– Так уж и быть... Для тебя одной. Полюбилась ты мне гораздо, так что просто удивительно мне самой. Таковое ты, болезная, мне кажется, горе мыкаешь, что из жалости к тебе согрешить готова. Поняла?

– Нет, бабушка, не поняла ничего.

– Слушай, моя горемычная. Была я помоложе, грех за

мною водился. Велик не велик, а всё-таки грех... И я его много, много годов замаливала. И дала я клятву эдак-то больше не грешить... Ну и вот я эту самую клятву мою из-за тебя побоку... Вот, стало быть, как ты мне по сердцу пришлась. Поняла теперь?

– Нет, бабушка милая, ничего всё-таки не поняла, – улыбнулась дама.

– Слушай. Была я молода, не молодёшенька, а всё-таки не старая. Лет тому, поди, тридцать аль сорок. Ну вот... И загребала я деньги, да чем? Чем, моя горемычная? Колдуньей была!

– Как? Чем? – удивилась дама.

– Колдуньей, говорю... Да. Ворожеей! Оно всё то же... – вздохнула Параскева. – Гадала я дворянам, господам, на картах, на гуще кофейной и на мыльной воде... И бросила... И вот уж сколько лет этого греха на душу не брала. Ну а теперь из-за тебя погрешу, божбу свою преступлю и тебе погадаю.

Дама улыбнулась ласково.

– Я пошукаю твою судьбу... И мы будем с тобою знать, что нам делать. Как тебе твоё дело и все дела повернуть в твою пользу. Понимаешь?

– Нет, бабушка. Я не понимаю... Ты погадаешь. Хорошо. Но что же из того?

– Увидим мы всё, глупая ты моя! – воскликнула Параскева. – Увидим всё-то и всех-то наскрозь. Ну, ты и узнаешь, как тебе извернуться, чтобы всех своих ворогов объегорить.

Дама рассмеялась.

– А ты, моя сударка, как будто и не веришь мне. Думаешь, я совсем дура и зря болтаю. Не хочешь – не надо. Я для тебя же... – обидчиво проговорила старуха.

– Как можно, бабушка. Я считаю тебя очень умной. Ты мне умнейшие советы уже дала. Обещаться.

– Как знаешь. Я не навязываюсь, – бурчала Параскева, обидясь.

– Нет. Что ты. Напротив. Я очень рада погадать. Но это невозможно. Это трудно. Разве вот здесь, в лесу.

– Зачем. Здесь нельзя. Гуща должна быть горячая... Приходи ко мне в избу. Вот тут, недалече. Я тебе сейчас покажу.

– Вот это хорошо, – воскликнула дама. – Завтра же я к тебе приду. Только не одна, а с приятельницей.

– Ладно. И карты захвати. У меня нету. Они тоже нужны.

XXVI

Параскева вернулась домой и, задумчивая, не говоря ни слова внукам, села у окошечка... Размышляя о чём-то глубоко и угрюмо, она изредка вздыхала, а то и охала.

Внуки притихли и отчасти встревожились. Такого никогда почти не бывало... Было, помнилось им, когда старухе не хотели возобновить условий по отдаче внаём земли под огороды. Было то же, когда бабуся их узнала вдруг, что внучка собралась замуж за крепостного Матюшку.

Алёнка долго приглядывалась к прабабушке и наконец не выдержала. Она подсела и, обняв старуху, выговорила тихо:

– Что ты, бабуся? Аль беда какая?

– Что? – отозвалась Параскева, будто очнувшись.

– Что ты так, оробемши будто? Аль беда стряслась?

– Тьфу! Типун тебе на язык. Какая беда? Где беда?

– Так что же ты эдакая? – вступился и Тит. – Ажно напугала нас. Говори, что такое? Откуда пришла?

– Видела я опять мою барыньку, – вздохнула Параскева. – Ну вот и взяла меня тоска. Жаль мне горемычную. Помогла бы ей, да где же мне, бабе-мужичке, барыне помочь.

– Отчего жаль-то? – спросила Алёнка.

– Тяжело ей. Добрая она. Сердечная. А тяжело ей, страсть. Говорила со мной, у неё даже слёзки по щекам потекли. Заедают её, бедную, лихие люди. Много их. А она-то одна, си-

рота, вдова. Не у кого ей и защиты искать. Некому заступиться за неё. А уж одолели-то... Одолели... Ахти! Со всех сторон... Чисто псы. Один, вишь ты, хочет – вынь да положь, выходи она за него замуж. А она не желает. А отказать нельзя, говорит, бед не оберёшься. Озлится он и набедокурит.

– Дело простое – арбуз поднести! – рассудил Тит. – Ну, не хочу, и проваливай. Просто?

– Просто? – воскликнула, качая головой, Алёнка. – Ты слышал, бабуся рассказывает, она сирота да вдовая... В эдаком разе кто захочет, тот на тебе и женится. Ты парень, а не девка, и бабьих дел не смыслишь...

– Верно. Верно. Золотые твои речи, Алёнушка! – оживилась Параскева. – Смышлёная ты у меня головушка. Остаешься ты вот без меня и без Тита. На тебе прохожий татарин женится.

– Да. Оно пожалуй... Если сирота круглая, – согласился Тит, – то несподручно от всех отбиваться. Одолеют, именно как собаки в переулке... Вот надысь шёл я по Арбату ночью, и вдруг это...

– Полно. Помолчи, Титка. Дай бабуся рассказывать, – вступилась Алёнка. – Ну, что же барынька-то эта? Ещё-то что у неё?

– Ещё-то? Да много. Многое множество всяких забот и горя, – начала Параскева, подперев щеку рукой. – Один вот привязался, выходи да выходи за него замуж. Где-де тебе, вдове молодой, управиться в своих вотчинах. А она-то, моя

горемычная...

– Не хочет! – перебила Алёнка. – Это мы слышали. Ещё-то что?

– А ещё-то... Один из ейных, должно, дворовых. Старый, да умный, да злюка, смекаю я сама-то, служил её родителям и гордости набрался... А теперь хочет, чтобы она его в главные управители взяла...

– Ну что же? Коли старый слуга, – сказал Тит, – да умный... И хорошее дело, если...

– Погоди. Прыток ты... Дай досказать, – перебила Параскева. – Юн, этот самый, дворецкий, что ли, хочет быть в управителях ейных вотчин токмо на такой образец, чтобы она, моя золотая, ничего бы не смела делать без его ведома и без его разрешения.

– Скажи на милость! Ах, идол этакий, – воскликнул Тит. – А за это его на скотный двор! К коровам, мол, хочешь?

– То-то вот... Говорит он: «Заведём тройку управителей, я буду четвёртый и набольший. И буду я всё вершить. А ты, барынька, ни во что не вступайся. Кушай, гуляй да почивай на перине». А она, знамо дело, эдак-то не желает. Я, говорит, не старуха, хочу сама госпожой быть.

И Параскева вздохнула и задумалась.

– Ну, ну... Ещё-то что же? – спросили правнуки.

– Да много ещё... Все лезут, всякие себе должности просят по двору. А кто на волю просится зря. Кто денег просит в награждение за старую службу... А она давала, и всё даёт,

и много раздала... А всё не сыты! Всё лезут и ещё просят, больше... А сосед один, и важный такой, боярин и князь из немцев, грозится... Отдай ему целое угодье. А не хочешь, тягаться в суде учну, и оттягаю, и разорю.

– Ах, Господи! – шепнула Алёнка, не поняв слова «тягаться» и вообразив себе, что это значит душу из тела вытягивать.

– И то не всё, родные мои, – продолжала Параскева. – Все-го и не запомню... Ну, просто, говорю, бедную касатку на части рвут. И грозятся! Этот самый дворецкий, что ли, написал эдакую бумагу и с ножом к горлу лезет, подпиши. А она-то, сердечная, боится.

– Избави Бог! – воскликнул Тит. – Это мне сказывал наш Кузьмич, князев дядька. Никакой, говорит, бумаги никогда не надо подписывать, кто грамотен. А кто неграмотен, и креста не ставь. Как подписал, так тебя и засудят.

– Ну, вот... Она и не хочет подписывать. А он, старый, говорит; «Тогда-де я дело в суде заведу, чтобы твой сынок был помещиком-душевладельцем, а ты бы отставлена была от делов». А сынок-то ещё махонький совсем.

– Как же так, бабуся? Такого закону нету.

– Да так вот... Вотчины, стало быть, не её самоё, а мужнины. Ну, сынок-то и наследник. А она, вдова, токмо покуда он махонький, распорядиться может. Старый-то чёрт знает всякие законы и ходок. Стрекулист. Где ей, бедной, супротив его идти. Вот, стало быть, либо назначай его главным пра-

вителем, либо он в суд махнёт. Малолетку чтобы объявили помещиком, а её самоё побоку.

– Да, дела! – ахнул Тит.

– А ещё-то есть одна молоденькая барынька, что была в её товарках-приятельницах, теперь, обозлясь, поносит её везде и со всеми её подругами заодно... А ещё-то... Ещё... Да всего и не перескажешь. Уж так-то мне её жаль. Так-то жаль, что я на одно грешное дело из-за неё иду...

– Что ты, бабуся? Зачем?! – испугался Тит.

– Не бойсь... Дело такое... что только я свой грех знать буду. И грех для людей невелик, да мне-то самой тяжело.

XXVII

Ввечеру, когда Тит ушёл, Параскева сказала внучке:

– Вот что, Алёнушка! Завтра барынька к нам придёт. И не одна, а с одной своей старой приятельницей. Надо нам светёлку нашу почистить, прибраться как следует, полы вымыть и всё эдакое... Она всё-таки, сдаётся мне, барыня важная, хоть и якшается попросту со мной, мужичкой.

Весь день и вечер старуха была задумчива. Старуху мучила мысль, что она сколько годов, и Бог весть, ворожить бросила и никому не гадала. А теперь вот не вытерпела из жалости... И обещала барыньке за грешное дело взяться.

– Авось Бог простит, – утешала себя старуха. – Один разочек. Да и то не за деньги. А из жалости.

Когда внучка улеглась спать, старуха дождалась, чтобы она заснула, и принялась за таинственную работу, которая постороннему показалась бы бессмысленной.

Через час у Параскевы была в руках небольшая посудина, полная какой-то тёмной гущи. Она накрыла её полотенцем и спрятала к себе под кровать, только для того, чтобы внучка не увидела её.

На этой гуще предполагалось узнать всю судьбу «барыньки».

Наутро Параскева, едва проснувшись, начала волноваться, сновала без смысла в комнате, выходила и бродила около до-

мика. Её смущало и то, что придут к ней две барыни, и то, что надо опять себя осквернять ворожкой. Почём знать, ду-малось ей, может быть, она уже замолила свой грех молодости, а теперь, в сто лет, вдруг опять колдуй и душу губи.

Алёнка начала ещё с зари хлопотать и, вымыв пол, вытерев начисто стёкла двух окон, убирала и поправляла без конца всё, что попадало ей под руку... Раз десять переставляла она с места на место всякую всячину из их рухляди.

– Да уж полно тебе... – заметила Параскева. – И так ладно. Мы не дворяне какие. Чем богаты, тем и рады. Кроме огурчиков да брюквы, и угостить-то нечем. Да им и не нужно. А ты вот не забудь, что говорила.

– Нет! Нет, бабуся...

– Ни за что не лезь. Слышь? Покуда она будет у меня здесь сидеть, ты ни в жизнь не смей входить.

– Знаю. Знаю. Раз десяток слышала.

– То-то, Алёнушка. Смотри.

Старуха опасалась пуще всего, что правнучка, войдя в комнату, увидит вдруг на столе разложенные карты, которых отродясь, конечно, не видела, и, разумеется, охнет, перепугается, может, даже расспрашивать потом начнёт... А что ей скажешь? А если она брату всё расскажет, то Титка другим расскажет... Беда тогда! Тит князю своему сболтнёт. И пойдёт трезвон. Около полудня Параскева, выглядывавшая на лес, увидела двух дам. Они вышли на опушку и остановились.

Казалось, что они озираются по сторонам, нет ли кого постороннего, кто может их увидеть идущими в гости к старухе. Оглядевшись внимательно, они двинулись. Параскева пошла им навстречу. Обе барыни улыбались как-то особенно, точно будто подсмеивались. Над старухой ли, над собой ли, что к мужичке в гости идут, да ещё на ворожбу. Гадать про свою судьбу.

Приятельница барыни была почти одного с ней роста, но полнее, и не красива, как она. Только большие глаза были хороши, умные, быстрые... А над ними густые брови дугой придавали лицу немного суровое выражение. Барыня вошла в комнату, а приятельница её осталась на крылечке. Усевшись с Алёнкой рядом, она стала её расспрашивать.

Параскева усадила дорогую гостью в угол на лавке, за стол, и поставила перед ней лукошко со свежими огурчиками.

– На вот, не взыщи. Полакомись, чем Бог послал. С моего огорода, – сказала она.

Затем, достав из-под своей кровати посудину с гущей, старуха поглядела, удивилась и вымолвила:

– Ничего не вышло. Всю ночь стояла, и ничего!.. Худого нету, но и хорошего ничего не видать. Карты принесла?

Гостья тоже поглядела в посудину с гущей и рассмеялась. Затем она вынула из кармана и передала старухе колоду карт. Параскева вдруг при виде их стала сумрачна, вздрогнула глубоко, но, взяв колоду, начала своё дело. Когда карты были разложены на столе, она разглядела их внимательно и, забыв

свой великий грех ворожбы, оживилась и начала качать головой.

Затем она выговорила тихо:

– Мати Божия!

Дама, видимо, интересовалась гаданьем вообще и пристально поглядела на старуху.

– Вот чудно-то. Чудно-то... – забормотала Параскева.

– Что же такое? Рассказывай! – улыбнулась она.

– Чудеса в решете!

Дама не поняла и повторила:

– Что же?

– А я не знаю. Тебе лучше знать... Ну вот, слушай... Я не вру. Я что вижу, то и говорю. Не моя вина – худо если... Не мне спасибо – коли хорошо. Кто же ты такая будешь, касатушка?.. Ты, видно, меня, старуху, морочишь. Ты вот, сказывают крести, важная-преважная барыня, богатая... У-у, богатая! Денег, денег, денег... Ах, Господи! Сохрани и помилуй.

И, помолчав, старуха снова заговорила:

– Да, родимая. Ты меня, стало, морочишь. И радости тут все! И всякое счастье! И во всех делах всякое удовольствие! И врагов, врагов!.. Страсти! Так и кишат, окаянные. Зубы точат! И ничего, ничего, ничегошеньки поделать они не могут. Со зла поколеют все, прости, Господи! Ай, батюшки! И жених! Да. Только не суженый. Нет, не суженый. Жених так жениховствовать и останется... А вот этот лезет. Ой, злой!

Вот злой-то... Чисто пёс цепной сорвался! И давай кусать. А зубов-то нету. Ну, гаданье!! Отродясь эдакого не видывала! – охнула Параскева.

Дама, внимательно слушавшая, рассмеялась, но спросила серьёзно:

– Будет ли мне благополучное окончание всего?

– Диковина! Всё будет. Всё! Вот тут и десятка жлудёвая.⁹

И туз крестовый. А с ним-то, родимые мои, сам червонный развалет... Вот тебе привалило-то. Ну, уж привалило. Что же это ты меня, старуху, морочишь, говорила, всё-то у тебя заботы да горе. Какое тебе горе! Что ты! Не гневи Господа. Я эдаких карт не видела никогда. Гляди! Гляди! Жлудёвая-то восьмёрка, и та легла у тебя в головах... Ну, что ж тут! Тут и гадать нечего. Что хочешь ты, то и будет. Звёзды с неба все забереёшь и в карман покладёшь.

Дама оживилась не столько от слов старухи, сколько от её голоса и её вдохновенного лица.

«Пифия», – подумала она про себя и прибавила:

– Скажи мне, Параскева. Замуж я не выйду?

– Голубонька, касатушка... Прости! Я говорю, что вижу.

Никакого супруга тут нет. Жених есть, но при себе самом и остаётся. Да ты, моя голубонька, меня не одуряй. Ты сама замужества не хочешь. Ты-то говорила это... Да я вот и тут вижу. Не хочешь. Да. Вот пиковая семёрка около жениха.

⁹ По смыслу подразумевается бубновая или пиковая масть, хотя жлудью в старину обычно называли крестовую (трефовую).

Ты, выходит, рассуждаешь: «Проваливай, жених, я и без тебя обойдусь». Мне, касатушка, всё видать! Я всё наскрозь вижу по картам.

Дама слушала внимательно, воодушевление и вдохновенный голос столетней старухи, будто вдруг помолодевшей взглядом и речью, не могли не подействовать.

«Пифия», – повторяла она мысленно.

Прошло около часу, когда дама, весёлая, улыбающаяся, вышла на крыльцо и, простившись со старухой, двинулась в лес, сопровождаемая приятельницей. На вопросы её дама ответила только: «Удивительно!» И затем она глубоко задумалась и шла молча, понурившись...

XXVIII

Когда две женщины молча дошли до палат Разумовского, часовые у подъезда отдали честь... На лестнице они разошлись... Дама вошла в зал... При её появлении сановник, ожидавший здесь, склонился и подал большой пакет с большой печатью.

– От короля Карлуса, – доложил он. – Гонец гишпанский в ночь прибыл.

Это был канцлер граф Воронцов.

Спутница дамы прошла в малые комнаты дома. Придворный лакей, дряхлый старик, являсь почти вслед за ней, доложил, что уже с час ждёт её офицер.

– Имя-то он своё сказал? – спросила она.

– Сказывал. Да виноват, Марья Саввишна...

– Что? По дороге, Гаврилыч, потерял?

– Потерял, матушка. Уж очень мудрёно оно.

– Тяжело было нести и уронил?

– Точно так-с!.. – усмехнулся старик лакей.

– Обермиллер?

– Точно-с. Похоже! Совсем эдак...

– Да каков из себя-то он?

– Маленький, рыжеватенький.

– Ну, вот! Так бы, Гаврилыч, прямо и говорил! Ну, про-
си...

И Марья Саввишна Перекусихина, наперсница императрицы, вышла в свою отдельную маленькую гостиную.

Через минуту гвардейский офицер, действительно очень маленького роста, с лицом, покрытым сплошь веснушками, и с мохнатыми рыжими бровями, что придавало ему очень странный вид, скромно и отчасти боязливо расшаркался пред женщиной и, по просьбе её садиться, уселся на край стула.

– Ну, что скажешь, Карл Карлович?

– Ничего, сударыня, особенного, но всё-таки понемножку начал. Теперь уже человек десять извещены. Шум пошёл уже.

– А велик ли шум?

– Велик, сударыня! Пуще, чем можно было ожидать.

– Кто же больше всех шумит? Небось, измайловцы?

– Есть один и измайловец. Пуще всех остервенились Гурьевы, два брата, да Хрущёвы, три брата, да Измайловы, два брата, да один Толстой.

– Ты как же говорил-то? Расскажи!

– Да как вы сказали, Марья Саввишна. Прежде всех сказал я одному Гурьеву, что вот, мол, так и так, Григорий Григорьевич Орлов возомнил о себе превелико. Ожидая, что будет при коронавании графом и получит большое денежное вознаграждение, всё-таки не довольствуется. Ведь так вы изволили сказывать.

– Так, так! Молодец!

– И вот-с... – продолжал немец-офицер тихо и подобострастно, – возомня о себе, не полагает уже предела своим вожделениям и ныне возмечтал быть супругом императрицы.

– Ну? Ну? Верно. Дальше что?

– Всё, сударыня!

– Как всё?! – воскликнула Марья Саввишна.

Офицер немножко смутился.

– Как всё?! – повторила женщина. – Главное-то ты, стало быть, и забыл?

– Простите, а по-моему, всё, что вы приказали, я в точности исполнил.

– Помилуй, голубчик! Главное-то, главное. Как государыня-то на это смотрит? Сама-то она что говорит?

– Виноват-с, вы меня перебили, а то бы я и это вам передал. Это я тоже-с доподлинно и как вы сказывали, чуть не вашими словами говорил. Сама-де государыня очень этим обижена, тяготится, опасается господ Орловых и их всяких клеветов, но что, собственно, выходить замуж считает для своей особы царской неблагоприличным.

– Ну вот, умница! А я уж испугалась, что ты главное-то и позабыл.

– Как можно, Марья Саввишна! Да это, собственно, и подействовало на всех. Не скажи я этого, так, пожалуй бы, все эти господа и шуметь бы не стали. А именно когда я им пояснил, что её императорское величество обижается, счита-

ет для своей особы оное совсем неподходящим делом, чтобы бракосочетаться с простым дворянином, хотя бы князем Римской империи... Тут-то всё и пошло... Гурьев один, старший, заорал, и даже громогласно: «Ах, мол, разбойники! Мало им денег, мало им почёта! Они вот что выдумали! Не бывать этому. А если этакое совершится, то мы бунт учиним. Выйдет царица замуж за дворянина простого, то мы Ивана Антоновича на престол посадим!»

– Что ты?! – ахнула Перекусихина.

– Точно так-с!

– Ну, это уж, значит, через край хватили! За это можно и улететь далеко, за такие слова...

– Так точно-с... Я всё по правде докладываю.

– Но всё-таки, чем же они кончили? На случай усиления сего слуха, что порешили делать?

– А когда слух усилится, – отвечал Обермиллер, – то многие из них хотят челобитье подавать государыне, чтобы она свою царскую особу не унижала браком с простым дворянином.

– Ну, вот умник ты, Карл Карлович! Так и продолжай! Ходи и по величайшему секрету сказывай! И помни главное, что, мол, господин Орлов упрямуствует, грозится, а за ним его братья да разные приятели и многие клеветы. А государыня не знает, как ей быть, и рада, коли явится какое со стороны заступление, чтобы этому никогда не бывать. Ну, ступай! Спасибо тебе! Помни, я в долгу не останусь! Но только

помни опять, Карл Карлович, другое, то есть главное: коли пройдёт слух, что мы с тобой этакие беседы ведём и что я, Марья Саввишна, тебя пустила с этим слухом к офицерам гвардии, то знай, будет тебе плохо! Не миновать тебе настоящей ссылки в сибирские пределы.

– Помилуйте, сударыня, – встрепенулся Обермиллер, – я всё-таки не дурак, понимаю, что дело щекотливое. У меня не раз спрашивали, откуда я таковое знаю, и я отвечивал, что пускай меня в застенке пытаются, а я не скажу, где прослышал. Впрочем, должен вам сказать, что помимо меня такой слух о возмечтаниях господина Орлова ходит по Москве. С другой стороны прибежал, а не от меня...

– Ну, это может быть! Может, ты не один узнал об этом! – усмехнулась Перекусихина не то лукаво, не то насмешливо.

Немец-офицер вышел, а Марья Саввишна, оставшись одна, задумалась.

Перекусихина была наперсницей, самым близким доверенным лицом и первой любимицей императрицы. Но этого мало... Всё, что было у вновь воцарившейся государыни тайной для самых близких ей лиц, не было тайной для Марьи Саввишны.

Зато и Перекусихина, когда-то случайно и неведомо откуда и как попавшая во дворец, с своей стороны обожала, боготворила не великую княгиню Екатерину Алексеевну и затем монархиню Екатерину II, а женщину-красавицу...

Официально она носила звание: камер-юнгферы, или ка-

мер-фрау, или наконец «девицы» при особе её величества, титул особый, ставивший выше дворцовой прислуги.

XXIX

С грустью, почти со слезами на глазах офицер по званию, но ещё недоросль характером, уступил своему дядьке и обещался забыть и думать о красавице пономарихе. «Обидно, смерть обидно», – думалось Сашку. И вместе с тем он обещался познакомиться через Павла Максимовича Квощинского с семьёй его брата и с девицей, которая неожиданно-негаданно из-за него помирает от любви, укусу пьёт и собирается в монастырь.

«Удивительно! Бывают же эдакие неожиданности на свете, – думал Сашок. – И спасибо ещё, что она не худорожа», – утешался он, вполне считая себя обязанным смилостивиться над «помирающей».

Может быть, однако, он прособирился бы ещё долго ехать знакомиться с семьёй Квощинского, а Кузьмич тоже перестал бы науськивать, зная, что пономариха уже теперь не опасна, но случилось вдруг нечто, всё ускорившее.

Среди дня, когда Сашок вернулся от Трубецкого и сел, как всегда, у окошка глазеть на пустой переулок, Кузьмич отпросился со двора.

– К Квощинским? – сказал молодой человек, ухмыляясь.

– Ну, да... Что же? – отозвался дядька. – Скажу Марфе Фоминишне, что ты будешь вскорости у них. Обрадую всех, а пузе всего бедную барышню... Перестанет помирать.

– Ступай. Ничего. Что ж! Я и впрямь соберусь к ним, – заявил Сашок уныло. – А то, поверишь ли, до чего стала меня тоска разбирать. Не токмо жениться, Кузьмич, а хоть удавиться готов.

– Тьфу! Типун тебе на язык! – воскликнул старик. – Нешто бракосочетаться то же, что удавиться?

– Нет. А я так к слову сказываю. Должно, и в самом деле пора жениться. А то уж очень тошно. Не знаешь, куда себя девать.

Кузьмич ушёл со двора, а Сашок остался у окна и, глядя на улицу, где лишь изредка появлялись прохожие мещане, а проезжало за день всего два или три экипажа, начал подрёмывать.

Сашок не знал, долго ли подремал он, но вдруг, среди этой дремоты, он услышал чей-то голос и, открыв глаза, увидел под самым окном своим какую-то странную фигуру.

Это была женщина, просто одетая, повязанная платком, но в ней, в её лице было что-то, удивившее Сашка. Быстро сообразив, в чём дело, он объяснил себе:

«Уж очень не похожа на всех. Чернавка!»

Женщина, стоявшая под окном, была молода, очень смугла, с великолепными чёрными глазами и с тёмной верхней губой.

«Совсем будто усы!» – ахнул мысленно Сашок.

Женщина уже два или три раза повторяла всё тот же вопрос, прежде чем Сашок, очнувшийся, а затем удивлённый,

собрался ответить.

– Здесь ли живёт князь Козельский? – спрашивала она.

– Да. Да. Да... – спохватился, наконец, молодой мальчуган. –

Я князь Козельский.

– Ну, я так и полагала. Позвольте мне к вам войти. У меня к вам есть важное дело.

Сашок смутился от неожиданности и робко выговорил:

– Пожалуйста.

И, выйдя, он сам отворил дверь.

Незнакомка вошла в дом и сняла платок с головы. Молодой человек смотрел на неё во все глаза и дивился.

Это была красавица в полном смысле слова и, конечно, не русская.

«Должно, цыганка», – подумал он.

Чёрные как смоль волосы, вьющиеся, будто взлохмаченные, казались целой шапкой на голове, чёрные тонкие брови и длинные ресницы оттеняли большие прелестные глаза. Но, несмотря на красоту, незнакомка произвела странное, скорее неприятное впечатление на молодого малюга. Она улыбалась, а в её улыбке, с этой тёмной губой, было что-то недоброе, невесёлое.

«Эдакую не полюбишь. Не прельстишься. Ночью в лесу побоишься остаться!» – смутно возникло в голове его.

Действительно, в лице, взгляде и улыбке смуглой красавицы было что-то отталкивающее, подозрительное, зловещее.

Когда она села и заговорила, первое впечатление немного

сгладилось и женщина казалась уже приятной. Вероятно, оттого, что голос её был приятен, как-то звучен и мягок, как-то певуч и вкрадчив. Бархатный голос...

С первых слов «цыганки» Сашок стал всё более удивляться. Незнакомка заявила, что пришла узнать от него, скоро ли приедет в Москву его приятель, князь Багреев, преображенец.

Сашок заявил, что у него такого приятеля никогда не бывало и он даже такой фамилии в Петербурге и в гвардии никогда не слышал.

«Цыганка» удивилась и продолжала говорить и говорить. Но со странным акцентом и перевирая русские слова. И она уже не поясняла ничего, а выпрашивала у Сашка кое-что касающееся до него лично.

– Как не знаете? Да когда же вы приехали в Москву? Что думаете делать? Не поедете ли опять скоро в Петербург?

Сашок отвечал на ряд вопросов, но вместе с тем удивлялся, сообразив, что знакомка, пришедшая по своему делу, выпрашивает его совсем о другом. При этом она зорко, пытливо глядела на него, не спуская глаз, будто хотела хорошенько рассмотреть его, узнать.

– Ну, извините, я ошиблась, – сказала она наконец и поднялась.

Сашок был даже доволен, что она собралась уходить. Эта красивая женщина своими глазами смущала его... Но не так, как пономариха или иная какая женщина. Она пронизывала

его своими глазами, и если жгла, то неприятно жгла.

– Позвольте спросить? – решился Сашок на вопрос, который его уже давно занимал. – С кем же я имею честь разговаривать?

– Я не русская.

– Да. Это видать...

– Прощайте. Извините.

– А позвольте узнать ваше имя...

– Акулина Ивановна... Прощайте...

Сашок удивился, хотел сказать, что желает знать не имя, а фамилию и узнать, кто, собственно, гостья, но незнакомка, накинув снова платок на голову и снова скрестив его на лице так, что видны были одни глаза и нос, двинулась в переднюю. «Ну что ж! И не надо! Бог с ней», – подумал он. Но в ту минуту, когда таинственная гостья сошла с подъезда, перед ней очутился, как из земли вырос, Кузьмич.

– Батюшки светы! – заорал старик на всю улицу, как если бы увидал самого чёрта.

Незнакомка невольно остановилась и удивлённо смерила старика с головы до пят.

– Откуда? Зачем? Что такое?.. Чего вам? – закидал вопросами старик, но она, принимая его за прохожего, да ещё, вероятно, не совсем в своём уме, двинулась и, молча пройдя мимо него, стала удаляться.

– Стой! Стой! Что такое?! – орал Кузьмич, совсем потерявшись.

Это было уже что-то сверхъестественное. Эта уже не чета пономарихе. Прямо наваждение дьявольское.

– Кузьмич. Кузьмич. Иди... – раздался голос Сашка. – Иди. Я тебе всё поясню.

И когда поражённый дядька был уже в комнатах, Сашок передал ему всё подробно.

– Не лжёшь? – тревожно, пугливо, взволнованно произнёс растерявшийся старик.

– Создатель мой! Да ты скоро ума решишься со своим безверием. Говорят тебе, шалая какая-то, или о двух головах девка. Да ещё цыганка.

– Не шведка? Не та... Не Самля?

– Вот как! Альма в Самли попала!

Сашок покатился со смеху. И смех молодого малого, весёлый, раскатистый и искренний, успокоил старика больше слов и объяснений.

Однако долго ещё расспрашивал он питомца и в себя не мог прийти от удивления: кто эта гостья и зачем она была?

Объяснение Сашка показалось старику ребячески-наивным.

– Дитё! Дитё. Вот дитё-то... Всеми веру даёт! – восклицал Кузьмич. – А я тебе, глупая твоя голова, сказываю, что это неспроста. Неспроста!

– Что же тогда? Кто ж она, по-твоему?

– Либо цыганка и украсть что хотела, да не пришлось. Либо... Либо вот с теми же пакостными мыслями, что и поно-

мариха. К тебе подъехать, чтобы тебя загубить и осрамить.

Несмотря на уверения Сашка, что дядька ошибается, Кузьмич стоял на своём:

– Неспроста!

Наконец и молодой человек согласился с дядькой, что «цыганка» являлась неспроста и что зовут её, конечно, не простым русским именем Акулина.

Старик между тем, сильно смущённый происшедшим, решил мысленно скорее и бесповоротно снарядить питомца знакомиться с Квоцинскими. И скорее в храм Божий! Венчаться! Скорее! Вон какие времена пришли. Коли сам отрок богобоязненный и скромница, то его разные бабы, русские, шведские и цыганские, силком загубят.

И старик заявил вдруг, решаясь на ложь.

– Тебя завтра Павел Максимович ждать будет, чтобы вести в дом, познакомить со всеми.

– Что ты? – испугался Сашок.

– Да. Я ему докладывал. Будет ждать.

Молодой человек подумал, вздохнул и отозвался:

– Ну что же? Хорошо. Знакомиться так знакомиться. Всё-таки скажу: Татьяна Петровна эта – пригожая. Она мне по душе. Не то что вот этот чумазый чёрт, что приходил. Красивая, слов нет, а прямо чёрт. Я бы на эдакой жениться побоялся.

– Ещё бы!.. Эдакая ночью зубами горло перегрызёт, – ответил Кузьмич убеждённо.

XXX

А пока дядька и питомец объяснялись, недоумевали и удивлялись, что за странная гостья была у них, смуглая красавица, зайдя за угол первой улицы, подошла к поджидавшему её молодцу, такому же чёрному, как она сама, и с виду тоже смахивающему на цыгана.

– Ну? – выговорил он, пристально глянув и блеснув красивыми глазами.

– Глупый совсем, – отозвалась она.

– Ну а как будет на глаза старого?

– На глаз моего прихотника, пожалуй, что совсем прелесть. Он эдаких любит Глупый, добрый, ласковый... Так, щенок толсторылый. Кудрявая болонка... Для забавы, конечно, он ему годится. И поболее другого какого! – угрюмо проговорила красавица.

– Как же тогда?

– То-то, как же!.. – задумчиво отозвалась она. – Не знаю. Твоё дело.

– Да. Моё. Ну что же! Не сробею. Да и не промахнусь. Только, говорю тебе, знаю верно. Он по вечерам ни ногой никуда. Да и опять всегда верхом. Пешком никогда. Ну, знаешь, верхового на коне полоснуть ножом не так-то просто. Высоконько. Пырнуть-то пырнёшь, но толку никакого, только шкуру ему попортишь. Надо будет это дело на все лады

обмыслить. Ты всё-таки не тужи. Так ли, сяк ли, а я берусь, коли ты говоришь, что он тебе помехой станет.

– Покуда он жив, – звонко и резко воскликнула красавица, – я ни за что отвечать не могу! Нынче так, а завтра эдак. Нынче благополучие совсем, а завтра и Бог весть что случиться может.

– Ну, стало, и толковать нечего! Начну мои подходы. Говорю тебе... Нельзя эдак, я наймусь к нему в услуги, за конюха... Нельзя будет его одного, то и дядьку прихвачу... Что же? Кровь-то лить что из одного, что из-за дюжины – всё равно один ответ. И пред людьми, и пред Богом. Твоя воля. Ты только скажи: нужно. И будет!

– Вестимо, нужно. Я же видела. Знаю теперь. Думала, худое для себя увижу... Ну, эдакого всё ж таки не ждала. Щенок! А для него, прихотника, стало быть, ангельчик! Ну и выходит, рада не рада, а нужно.

– Ну и будет!! – шепнул молодец спокойно, но твёрдо.

Часть вторая

I

Был ясный сентябрьский день. Первопрестольная шумела и ликовала... Близился давно ожидаемый день торжественного въезда императрицы. От городской заставы у Тверских ворот до вотчины графа Разумовского было ещё болеелюдно и оживлённо, чем на старых улицах Москвы. Кареты и тележки, всадники и пешеходы вереницами наполняли Ямскую слободу и поле между городом и селом Петровским.

У самого дома графа-гетмана стояло множество экипажей. Был большой приём, и апартаменты переполнились людом, сановниками и простыми дворянами-москвичами, явившимися представиться. В комнате, ближайшей к кабинету государыни, находилось около пяти-шести лиц, ожидавших очереди войти, после чего императрица должна была выйти к остальным. По докладу генерал-адъютанта Орлова одним из первых был принят воспитатель цесаревича – Панин. Войдя, он с низким поклоном подал целую тетрадь.

– Ваше величество. Вот прожект, который вы изволили указать написать. Постарался по мере сил и разумения. Могу только добавить на словах, что оное дело не терпит отлагательства, потому что...

– Постараюсь, Никита Иванович, решить скорее, – любезно, но сухо отозвалась государыня и наклонила голову, отпуская...

Она положила тетрадь на стол, а Панин, нахмуясь, вышел. Вслед за ним вошёл фельдмаршал Разумовский. Лицо императрицы сразу прояснилось.

– Рада вас видеть, Алексей Григорьевич. Вы ведь без дела, без просьбы и без злобы!

– Простите, ваше величество... Никакого дела. Только желал иметь счастье... – начал граф.

– Ну вот. И слава Богу. Рада вам, потому что вы явились ко мне для меня, а не для себя. Ну что скажете, дорогой мой?

– Да что же, милостивица. Скажу: Москва ждёт не дожждётся увидеть царицу в богоспасаемом Кремле.

– Ах, Алексей Григорьевич, я и сама жду не дождусь священного коронования. Дни кажутся мне длинны, что года. Право, мнится, что я всю жизнь не забуду эти дни, проведённые здесь, в Петровском. Тяжёлые дни. Заколдованные они, что ли?

– Простите, ваше величество. Не уразумею. Чем заколдованы?

– Скажите лучше, батюшка Алексей Григорьевич: кем.

– Кем?!

– Да. Кем, спросите. А я отвечу всеми. Да, всеми! Да вот это одно чего стоит!

И государыня показала на тетрадь, лежащую на столе.

– Что ж такое, ваше величество?

– Это? Это насмешка. Это продерзость. Это – лежачего бить, как говорит пословица. Это умничанье умного, у которого ум за разум зашёл. Вот что, дорогой Алексей Григорьевич. Я это прочту, а завтра вам пришлю. Вы прочтите, и мы побеседуем. Сочинитель сего мудрствования меня так уж горячо просил никому оно не показывать, что я твёрдо решила дать оное на обсуждение вам, графу-гетману, графу Воронцову, как канцлеру, князю Шаховскому, графу Бестужеву, старшему сенатору Неплюеву, генерал-фельдцейхмейстеру Вильбоа и ещё двум близким мне персонам. Завтра будут сняты копии и я вам пришлю тоже. Такие дела не вершатся одним умом, а многими умами.

II

Дядька молодого князя Козельского был смущён...

– Господи, батюшка, царь небесный! Да, что же это за времена настали?! – восклицал, раздумывая, Кузьмич. – Прежде мужчина был вот, скажу например, волком, а баба, девка – овцой. А ныне времена пошли, что молодой дворянин, совсем дитё ещё, что овца. А на него со всех сторон лезут волки-бабы. И вот на моего Сашунчика, почитай, просто какая-то бабья облава. Помилуй Бог! Скорее надо, скорейчи!

Рассуждения и страх дядьки основывались на том, что за последнее время он и видел и воображал, какой опасности подвергается его питомец. Только что он уберёт питомца от духовной ракалии-пономарихи, как вдруг явилась какая-то цыганка. И эта уже в дом влезла без зазрения совести.

Затем к кухарке приходила в гости племянница и, увидав князя мельком, начала так им восторгаться, так расхваливать его красоту, что Кузьмич тотчас выгнал её и запретил пускать в дом. Кухарка и племянница, желавшие главным образом угодить Ивану Кузьмичу своими похвалами, диву давались и только руками разводили, говоря:

– Вот тебе и угодили. Чуден старый! Что же, ругать, что ли, надо князя, чтобы он рад был?

Наконец, сам Сашок проговорился дядьке, что сестра

княгини Трубецкой, к которой он послан был за табаком, будучи дома на этот раз одна, странно глядела на него и, чтобы передать ему табак, повела его в свою спальню. И там, смеясь, дала тавлинку для князя... Больше ничего не случилось! Но Кузьмич обмер при мысли, что «вольная вдова» заманила его питомца в свою спальню. И, конечно, прямо ради соблазна, а то зачем же?..

– Бесстыдница! – восклицал старик без конца.

И кончилось тем, что Кузьмич повторял мысленно от зари до зари: «Скорее! Скорееючи!»

Дело было в том, чтобы скорее спровадить питомца знакомиться к Квощинским.

Разумеется, сам Сашок несколько смущался этим шагом, который казался ему решительным, и, может быть, стал бы откладывать. Появление цыганки в квартире, а вслед за тем приключение у Маловой, «заманившей» его в спальню, решило дело сразу.

Кузьмич побывал уже два раза у Квощинских, но вместе с тем зашёл на поклон и к Павлу Максимовичу во флигель. Заявив в краткой беседе о том, что на дворе очень жарко, а вода в Москве просто кипятки, а барину Павлу Максимовичу на вид можно тридцать годов дать по его молодцеватости, старик очень понравился холостяку.

Вместе с тем дядька заявил официально, что его питомец просит разрешения явиться к Квощинскому не просто в гости, а с тем, чтобы Павел Максимович представил его свое-

му братцу и всей фамилии.

Разумеется, Квощинский ожидал этой просьбы, когда увидал у себя старика дядьку. К тому же и Марфа Фоминишна давно предупредила его о посещении Кузьмича.

Наконец, через три дня после загадочного появления в квартире какой-то цыганки Сашок в парадной форме появился во флигеле на дворе дома Квощинских, а затем вместе с Павлом Максимовичем отправился и в дом.

Молодого человека приняли в гостиной Пётр Максимович, Анна Ивановна и Таня.

Сам Квощинский был как будто удивлён появлением молодого князя. И довольно искусно удивлён. Анна Ивановна сплеховала, так как не привыкла лицедействовать. Она расспрашивала гостя, как его имя и отчество, где он квартирует, живёт ли с рождения в Москве... Она удивилась, что он приехал из Петербурга не так давно, удивилась, что он сирота, а затем, разговорившись о чём-то, вдруг бухнула:

– А уж ваш Кузьмич чистое золото.

Пётр Максимович, сидевший рядом с женой, толкнул её ногой. Анна Ивановна спохватилась... Но Сашок положительно ничего не заметил. Он счёл все расспросы женщины необходимыми по правилам светскости, а заявление о Кузьмиче совершенно естественным.

Таня сидела, не проронив ни словечка, опустив глаза и горя, как на угольях. Она то белела, то краснела, то опять белела. Раза два-три ей удалось искоса и вскользь взглянуть на

Сашка, и после второго раза она уже была до смерти влюблена.

И глаза его, и золото кафтана, и тихий голос, и сабля, и «сиятельство» – всё отуманило её... И прежде, при свидании в церкви, князь показался ей красавцем, затем от расписываний Фоминишны голова начала кружиться, а теперь при знакомстве она, конечно, совсем разум потеряла. Но сам князь, почтительно отвечавший на расспросы Квоцинских, не знал, какова Таня вблизи, так как ни разу не решился взглянуть на неё.

Посещение это, несмотря на простую беседу о разных мелочах, имело всё-таки особое значение, было отчасти какое-то торжественное.

Когда молодой князь поднялся и стал раскланиваться, Квоцинские, за исключением молодой девушки, проводили гостя через небольшую залу до дверей передней и в третий раз попросили «не оставить, бывать попросту».

Проходя по зале, Сашок увидел в дверях, открытых в коридор, три какие-то горчащие фигуры и в одной из них узнал нянюшку молодой Квоцинской. Фигуры тянулись вперёд, как бы стараясь, чтобы головы были поближе к зале, а туловища подальше.

В передней, где он надевал свой офицерский плащ, помимо трёх лакеев, в таких же дверях в коридоре торчало уже несколько человек. Видны были только два туловища, полуоткрытые косяками, но над ними высывалось более полу-

дюжины голов...

С крыльца, садясь на лошадь, Сашок увидел, что из-за угла дома выглядывало ещё человек пять бородатых холопов, кучера, фореиторы, дворники, скороходы, самоварники...

Он понял, что вся дворня Квощинских выползла поглазеть на него как на жениха. По всем лицам, по открытым не в меру глазам и ртам видно было, что гость-князь – происшествие.

Действительно, когда Сашок съехал со двора, в доме пошёл выюн выюном. Все забегали, весело охая и повествуя о своём впечатлении... Таня в коридоре повисла на шее своей Фоминишны и, обхватив, целовала её и душила.

– Задавила! Дай вздохнуть... Задав... – отчаянно хрипела няня.

III

Сашок был доволен своим визитом, но недоволен тем, что почти не видал молодой девушки, не смея глядеть на неё. Только прощаясь, он глянул на неё вскользь и не остался доволен.

Теперь, едучи шагом по улице, он соображал вслух:

– В церкви она мне лучше показалась. Она эдакая бело-брысенькая... Да и маловата. Да и сухопара... Куда ей до Катерины Ивановны... Вот красавица! Что небо от земли... И как это вот бывает на свете спутано! Что бы вот Катерине Ивановне быть девицей Квощинской. А этой Тане – быть пономарихой!

И Сашок вздохнул. Затем он вспомнил слова покойной тётки: «Ничего нет на свете превосходного, а всё с изъяном. А произошло оное от грехопадения человеческого!»

Впрочем, Сашок, знавший это изречение тётушки наизусть, никогда не мог одолеть и усвоить себе ясно, что значит «грехопадение». Тётушка Осоргина объясняла ему не раз, что первые человеки на свете, Адам и Ева, упали во грехе, согрешили. Но как он ещё отроком ни добивался, в чём согрешили эти самые «человеки», старая девица не могла объяснить, а только – по мнению Сашка – разводила турысы на колёсах.

Однако молодой человек был всё-таки доволен своим ви-

зитом, хотя бы потому, что его впервые в жизни приняли с почётом.

«Кабы видели товарищи и командир, которые звали меня пуганой канарейкой и княжной Александрой Никитишной!» – думал он с самодовольством.

Выехав на Арбатскую площадь, молодой человек стал соображать, что ему делать. Заехать домой переодеться из парадной в обыкновенную форму или ехать к начальнику, как он есть. Подумав, он решил, что надо спешить, а то, пожалуй, княгиня окажется в зале и начнёт браниться за опоздание.

Через четверть часа он уже сдал лошадь во дворе князя Трубецкого и вошёл в дом...

На этот раз Сашок вступил в залу как-то степеннее и важнее, так как был ещё под впечатлением почёта, с которым его принимали Квощинские.

Но едва молодой человек сел на стул в углу зала, в ожидании, что его позовёт к себе князь, как услышал в парадных комнатах какую-то страшную возню и голоса людей... Но всех и всё покрывало командование самой княгини:

– Олухи! Черти окаянные! Ведмеди! Михаилы Иванычи косолапые!.. Авдюшка, не зевай!.. Сафрон, не налегай, как бык!.. Васька, подсобляй, сопляк!.. Миколай, пузо-то убери своё!.. Продавишь, леший!..

Возня и голоса приближались к зале постепенно. Пислышались шуршанье ног, робкие голоса вперебивку и зычный голос княгини:

– Какой раз тебе я сказываю, чтобы ты пузо убрал. Продавишь – в степную вотчину, на скотный двор! Говорила вам: зови ещё двух хамов.

И в дверях, наконец, появилась кучка дворовых, которые медленно и осторожно тащили огромное фортепьяно. В дверях снова явилась задержка. Тяжёлый, массивный, широких размеров инструмент не пролезал вместе с людьми. Пришлось снова взяться лишь за два конца. При этом середина как-то скрипнула.

– Треснет коли... Все в солдаты улетите! – ахнула княгиня. – Вам, лешим, дела нет, что клавикордам тыща рублей цена. Прямые ведмеди, олухи, черти!..

И вдруг, завидя офицера поверх фортепьяно и голов людей, княгиня крикнула:

– Эй, воробей! Иди-ка, подсоби.

Сашок, вставший со стула, шелохнулся от изумления, но не двинулся, полагая, что он ослышался.

– Ну, что же? Не слышишь? Говорят тебе, подсоби. Видишь, тяжело...

Сашок, с кивером в руках, приблизился и, смутясь от неожиданного приказания, совсем неподходящего, не знал, что и ответить.

– Оглох ты! – крикнула княгиня, уже обойдя фортепьяно и наступая на адъютанта. – Клавикордам, слышь, цены нету, а они, мужичьё... Берись сзади и правь...

– Княгиня, я – в звании офицера... – начал Сашок.

– Что? Что?!

– Как офицер, я не могу... Да и во всём параде, при всей амуниции...

– Ах ты, мамуниция!.. Да я тебя... Слышишь, берись!

И, видя, что Сашок стоит истуканом, княгиня выхватила у него кивер, а другой рукой ухватила за обшлага мундира и пихнула его к фортепьяно.

Сашок наткнулся на лакея и, потерявшись окончательно от оскорбительного приказания, взялся руками за бок фортепьяно. Он покраснел и тяжело дышал от обиды.

– Не примеривай, а неси! – вскрикнула княгиня, пуще сердясь.

– Я несу-с... – ворчнул Сашок.

– Врёшь! Притворяешься... Вижу ведь. Меня не надуешь... Тащи, как следует, не то – вот, ей-Богу... Хоть ты и офицер... А вот, ей-Богу...

И женщина, подойдя близко к нагнувшемуся Сашку, как-то помахивала руками.

«Вдруг, ударит? – мелькнуло в голове молодого малого. – При людях!»

И он, пригибаясь, схватился за фортепьяно изо всех сил. В то же мгновение раздался какой-то странный звук. Люди единодушно встали, опустили фортепьяно на пол и переглядывались. Княгиня тоже слышала странный звук и тревожно оглядывала инструмент.

– Ну вот-с!.. – выговорил Сашок, выпрямляясь. – Покор-

нейше вас благодарю. Как я теперь домой поеду?

У офицера под фалдами от натуги лопнули узкие парадные панталоны.

Княгиня обошла его, оглядела и выговорила сумрачно:

– Толст не в меру. Вот на тебе одёжа и трескается. Ну, уходи. Не глядеть же мне, даме, на эдакое.

Сашок вышел, озлобленный, из дому. Верхом ехать было нельзя, так как бельё виднелось между красных отворотов фалд мундира. Он доехал домой на извозчике и послал Тита за своей лошастью, оставленной у Трубецкого.

И молодой князь, и Кузьмич были одинаково возмущены приключением и целый день говорили только о княгине Се-рафиме Григорьевне.

Сашок повторял, что он дворянин и офицер, и хотя клавикорды – не шкаф и не сундук, а предмет более важный, но всё-таки заставлял его эдакое дело делать – прямо самовластие, и притом самовластие дурашной бабы.

Кузьмич соглашался насчёт этой стороны вопроса, но главное для него было в другом. Панталоны были дорогие – из аглицкой сермяги. А они лопнули не по шву, а по правой половинке. Кузьмич то и дело разглядывал большую прореху, трогал пальцами, приставлял края, охал и головой качал.

Вечеру дядька был поражён заявлением питомца.

– Знаешь ты, что такое дворянин и что такое офицер гвардии? – спросил Сашок Кузьмича почти печальным голосом.

– Ты это насчёт чего же? – отозвался старик.

– А вот ответствуй на мои слова.

– Нет, ты, князинька, не мудри и меня не сшибай на сторону. Я и так из-за твоих панталашек мысли растерял. Ведь они по пяти рублей аршин плачены, и опять портняга-подлец три рубля за шитво взял...

– А я тебе скажу... Я – князь Козельский, и старинный дворянин, и офицер измайловский. Стало быть, как же мне с хамами клавикорды таскать? Это есть унижительское для меня приказание бабы, которая сама не знает, что можно офицеру и чего никак нельзя. Что ж после этого ожидать? Ведь она меня не нынче, так завтра заставит полы мыть.

– Кто ж про это говорит. Княгиня, а дура.

– Именно – дура... Дурафья... Что же делать?

– Как что делать? Не мыть.

– Что?

– Не мыть, говорю.

– Что мыть? – не понял Сашок.

– А полы, как ты сказываешь.

– Я не про то, Кузьмич. А я в отставку подам.

– Как в отставку?!

– А так. Скажу князю, что я не могу эдак. Я для ординарных услуг у него, а не затем, чтобы в дворовых состоять.

Кузьмич ничего не ответил, но сильно испугался решения питомца. Если в отставку, то, стало быть, в Питер ступай. А бракосочетание?

И, не сказавшись, старик ранёхонько сбегал в Кремль по-

молиться святым угодникам, чтобы отвратили они надвигавшуюся неожиданно беду.

И молитва дядьки была услышана – тотчас же.

IV

Наутро рано к маленькому домику, который занимал офицер, подъехала карета. И Сашок и Кузьмич удивились, кто может быть этот гость. Но затем, когда они увидели господина, вылезавшего при помощи двух лакеев из экипажа, то и старик и молодой человек ахнули и обрадовались. Кузьмич бросился на крыльцо, а Сашок вслед за ним.

Приезжий был единственный близкий человек Сашка в Москве, которому он был многим обязан. Это оказался Романов. Посещение молодого человека стариком было необычно, следовательно, должен был существовать какой-нибудь важный мотив.

Быстро сообразив это, Сашок несколько смутился. Он догадался, что посещение Романова связано с тем казусом, который приключился с ним в доме князя Трубецкого.

«Наверно, княгиня пожаловалась! – подумал Сашок. – Ну что ж, я всё-таки считаю себя правым. Невежество приключилось от натуги. Она скорее виновата, а не я».

Сашок встретил Романова на ступенях с крыльца. Гость обнял молодого человека и выговорил:

– Я к тебе с важным делом, должен твоему сиятельству нечто объяснить и очень важное посоветовать. И вперёд ожидаю, что ты моему совету человека добротворствующего не откажешься повиноваться.

«Ну, так! – подумал про себя Сашок. – Княгиня нажаловалась! Нешто можно за панталоны ответственовать, как за самого себя?» Когда гость уже был на диване в гостиной, а Сашок уселся против него, отчасти смущённый, Романов начал было говорить, но остановился и произнёс:

– А Иван Кузьмич где? И его надо сюда! Твоя покойная тётушка всегда призывала его на семейное совещание, когда дело о тебе шло, стало быть, и теперь Кузьмич должен присутствовать.

И Романов крикнул на всю квартиру:

– Кузьмич, куда провалился? Пожалуй сюда!

– Иду-с! – отозвался Кузьмич, который сидел в прихожей с намерением прислушаться к разговору гостя.

Когда старик появился на пороге, Романов обернулся к Сашку и спросил:

– Ну а как же теперь? Сажать его или стоять будет? Ведь с тобой-то он, поди, сидит?

– Сидит! – отозвался Сашок, улыбаясь.

– Ну а при мне у твоей тётушки он частенько сидел. Ну, стало быть, Кузьмич, возьми стульчик, поставь и садись!

– Нет, зачем? И постою... – отозвался старик.

– Садись, говорят!

– Нет, Роман Романович, увольте! Ин бывает, можно сесть, а ин бывает, не след.

– Ну, как знаешь! Беседа недолгая... А ты выслушай, а затем нам своё мнение доложишь. Вот с чем я к тебе, Алек-

сандр Никитич: есть у тебя дядюшка?..

Сашок удивился и даже глаза выпятил.

– Ну, что же, ответствуй! Дядюшка-то ведь есть у тебя? И здесь в Москве теперь...

– Сказывали мне, но я...

– И ты, зная, что он в Москве, зачем же к нему не отправишься с поклоном? А ты, Кузьмич – человек пожилой, как же ты своего выходца не снарядил и не отправил? Ведь это неуважительная неблагодарность.

Наступило молчание. Сашок не знал, что ответить, а Кузьмич был настолько озадачен, что, взятый врасплох, думал: «Как же в самом деле так?..»

– Скажи-ка ты мне, Кузьмич, как, по-твоему, хорошо это? В городе находится единственный близкий родственник молодого барина, и он к нему не отправляется, ему на него наплевать! Разве такое непочтение позволительно? Чего же он ждёт? Что князь Александр Алексеевич сам к нему с поклоном приедет?

– Виноват, Роман Романович! Вижу я теперь, что и я в таких дураках состою, каких мало на конюшне розгами наказывать. Прямо сказываю, и в уме у меня не было ничего такого! Узнал я, что князь Александр Алексеевич в Москве, и не подумал, что нам следует сейчас делать. Я только докладывал князюшке, спрашивал, как нам быть, а он отвечал – «не знаю».

– Действительно, Роман Романович, я и вам так объясню.

Моё суждение такое, что мне нельзя к дядюшке ехать.

– Как нельзя?

– Ведь он же всю мою жизнь меня видеть не желал, всегда относился ко мне особенно недоброжелательно, точно я чем провинился перед ним. И вот, когда мы узнали с Кузьмичом, что дядюшка в Москве, мы и решили, что ехать мне к дядюшке не следует. Он может меня не принять, выслать мне сказать что-либо нехорошее, а я – офицер.

– Верно ли? Так ли это?

– Точно так! – отозвался Кузьмич за своего питомца, – Именно так! Да ничего другого и быть не может.

– Ну, так вот что я тебе приехал сказать: твоему сиятельству одеваться в парадный кафтан, нацеплять всю амуницию парадную и отправляться к дядюшке. И прикажи доложить, что приехал, мол, князь Александр Никитич Козельский с достодолжным почтением к своему дядюшке. А если раньше не был по долгу своему родственному, то якобы из-за болезни и лежания в постели. Так и соври! Делать нечего! Поедешь? Что же?..

– Да я, право, не знаю, Роман Романович...

– Ну, слушай! Ты знаешь, что я был близким приятелем твоей покойной тётушки, знаешь, что я тебя люблю, всё, что мог, для тебя сделал. И если ты моего теперешнего совета не послушаешься, то ноги моей у тебя не будет! А ты, Кузьмич, если не настоишь на том, чтобы твой барин ехал к дядюшке, то докажешь мне этим, что ты...

– Дурак из дураков! – добавил Кузьмич.

– Верно!

– Я вот, Роман Романович, и ответственую: ни я, ни князьинька дураками не будем. По совету вашему он у меня оденется и пойдёт.

– Так ли? – спросил Романов, глядя на Сашка.

– Если вы советуете, то, конечно, я готов. Только... как же быть, если дядюшка вышлет мне сказать что-нибудь оскорбительное?

– Ладно! Это мы увидим! Вот что, родной мой...

Романов хлопнул молодого человека по плечу и выговорил тише:

– Если Роман Романович советует что молодцу, которого любит, то, надо полагать, он знает, что делает. Я, может быть, вперёд знаю, как тебя твой дядюшка примет... Ну, мне не время, на службу пора!

Расцеловавшись с молодым человеком и провожаемый им до самого экипажа, Романов сел в карету и, уже отъезжая, крикнул:

– Ну! Не откладывай! Да вот что... От дядюшки заезжай ко мне рассказать, как он тебя в три метлы принял! Понял?

– Понял! – отозвался Сашок.

И пока карета удалялась, он стоял в недоумении, несколько разинув рот, и размышлял о последних словах: «Как же так – в три метлы?.. Зачем же тогда ехать?»

– Чего ты? – раздался за ним голос Кузьмича. – Нешто не

понял, что Роман Романович шутки шутит? Нешто станет он посылать тебя на обиду? А ты лучше скажи: со штанишками-то – парадными как быть? Штопать скорее надо.

V

У подъезда большого дома князя Козельского стояла запряжённая тележка для самого князя. В качестве важного дворянина Козельский всегда выезжал в большой карете с двумя лакеями на запятках и цугом в шесть коней.

Когда запрягалась и подавалась для выезда одиночка, иногда приличная, а иногда и совсем невозможная, с рваной сбруей на тощей кляче, то все в доме знали, что князь едет «чудить» по Москве. Впрочем, два кучера, выезжавшие с бариним на тележке, молчали, как немые, когда их расспрашивала дворня о том, где князь был и что делал. Это был строжайший приказ барина – не болтать. Зато толстый и важный кучер Гаврила, выезжавший с князем в карете с гербами, получал менее жалованья и был менее близким и доверенным лицом князя, чем кучера Игнат и Семён, выезжавшие с тележкой, иногда в драных кафтанах и шапках. Они были очевидцами «чудес» барина и были поэтому любимцами. Князь поехал на этот раз далеко от себя, поблизости от палат фельдмаршала Разумовского, на Гороховое поле. Здесь в глухом переулке он вместе с Семёном разыскал дом по данному адресу, а в глубине грязного топкого двора нашёл и мужика.

– Где у вас тут живёт вдова Леухина? – спросил он, пока молодец и ражий детина Семён остался ждать барина на

улице. Во дворе можно было утопить коня.

Мужик указал на лачугу, куда князь поднялся по тёмной и грязной лестнице и очутился в смрадной комнате. Молодая женщина, худая, болезненная на вид, встретила его, недоумевая. Двое детей-оборвышей, девочка и мальчик, дико тарасили глазёнки на незнакомого господина.

Оглядевшись, князь обратился к женщине с вопросом:

– Ваша как фамилия, сударыня моя?

– Леухина.

– А это ваши дети?

– Да-с.

– Вы, сказывали мне люди, в нужде большой?

– Да-с... Совсем плохо приходится, и если...

– Почти есть нечего?..

– Чёрным хлебом обходимся, милостивый барин. Когда есть. А то и хлеба нет. Мне бы самой одной...

– Погодите. Не расписывайте. Отвечайте только на вопросы, – перебил князь.

– Слушаю-с.

– Горничная есть у вас?

– Нету-с... Было и трое холопов, да когда...

– Прошу вас, сударыня, вторично не болтать, а отвечать кратко и толково на то, что я буду у вас спрашивать... Стало быть, всякое прислужническое дело и себе и детям вы сами справляете.

– Точно так-с.

– Давно ли вы в эдаком положении?

– Вот уже скоро год... Сначала было...

– Чего бы вы желали?

– Как то есть?

– Я спрашиваю, чего бы вы желали себе теперь?

Женщина глядела удивлённо.

– Неужели, сударыня, нельзя ответить на такой простой вопрос? Чего бы вы желали себе?

– Дети совсем впроголодь, и если можно...

– Получив немного денег, – продолжал за неё князь, – вы бы прежде всего озаботились их накормить?

– Да-с.

– Прекрасно. Деньги сейчас будут... Погодите, помолчите... Бельё и платье есть у вас?.. Или вот только то одно, что на вас теперь?

– Одна перемена белья и у детей, и у меня...

– Прекрасно. Квартира сырая...

– Теперь ничего, а зимой – беда...

– Ну-с. Желали бы вы иметь должность с жалованьем? Или вы ленивы и предпочитаете бедствовать и жить подачками?

– Я была бы счастливейшим человеком! – воскликнула Леухина. – Если бы я могла работать и иметь пропитание для детей... Но я дворянка... Я не могу идти в ключницы... Воля ваша... Стыдно.

– Верно, сударыня. Верно. Но должность и занятие под-

ходящие – примете?

– Счастлива буду, сударь... Мы уже третий день голодаем совсем.

Мальчик смело приблизился к князю, дёрнул его за сюртук и, закинув назад голову, чтобы видеть его лицо, сказал:

– Дяденька. Дай хлебца.

– Сейчас, сейчас будет и хлебец и варенья, – улыбнулся князь.

– Какое варенье, – отозвалась женщина. – И есть нечего. И надеть нечего.

– Всё это сейчас будет, – сказал князь. – Всё это немудрёно устроить. Потихонечку, понемножечку всё наладится. А куда собирайтесь-ка со мной! Пожитков и рухляди у вас, как я вижу, немного, почти ничего нет!

– Какие же пожитки? – отозвалась Леухина. – Что и было – продала, а то бы мы совсем с голоду померли.

– Так самое лучшее, сударыня моя, не берите ничего. Всё, что я вижу, лучше оставить тут.

Князь высунулся в окошко и крикнул Семёну через двор:

– Поезжай и приведи извозчика!

Семён вместо того, чтобы двинуться, обернулся и начал махать рукой. Далеко послышалось громыхание дрожек, и у ворот показался извозчик.

– Ну-с, пожалуйста! Забирайте ребятишек – и поедемте!

– Куда же-с? – отчасти робко спросила женщина.

– Это, моя сударынька, не ваше дело! Ведь не резать же

я вас повезу Я приехал помочь. Коли желаете из беды выкарабкаться, то и повинуйтесь!

И через минут пять князь садился на свои дрожки, а Лехина с детьми и с узелком садилась на извозчика.

– В Тверскую гостиницу? – спросил кучер, когда князь сел.

– Вишь, какой умный, сам догадался!

– Мудрёное дело. Как же не догадаться, – отозвался Семён, – завсегда ведь этак же!

И тихой рысью, чтобы не дать извозчику отстать, князь двинулся и только через час был на краю Тверской, где началась Ямская слобода. Он остановился у крыльца большого двухэтажного постоянного двора, рядом с ямским двором вольных ямщиков, нанимаемых во все ближайшие к Москве города. С этого двора съезжали постоянно на «вольных» в Тверь, в Калугу, во Владимир, в Рязань и во все города, которые были не далее двухсот вёрст расстояния.

Князь вышел первым и спросил:

– Где Спиридон Иванович?

Но едва он назвал это имя, как пожилой мужик вышел к нему навстречу с поклоном.

– Господину Князеву наше почтение! Комнаты нужны-с?

– Верно-с! – отозвался «господин Князев», то есть князь.

– Прикажете те же самые две, что прошлый раз брали?

– Отлично, давайте! Хотя можно и одной обойтись. Видите, всего одна барынька с двумя ребятишками.

И через несколько минут Леухина с детьми была уже в простой, но чистой комнате постоялого двора, который величался гостиницей.

Через четверть часа новым постояльцам подали обедать.

– Ну, вот-с и ваше помещение! Спрашивайте, что вам нужно, кушайте на здоровье и помните одно: всё, что нынче или завтра к вам доставят сюда, всё то будет ваше собственное. Сегодня вам доставят бельё.

Выйдя и сядясь в дрожки, князь сказал провожавшему его хозяину:

– Ну, Спиридон Иванович, кормите на убой! Слышите!

– Уж положитесь на меня, господин Князев, – ответил тот, – Я – человек с совестью. И не первый раз, да и не последний, конечно. Поверьте, что всех несчастных, коих вы у меня помещаете, я держу на особом положении. Всё лучшее им отпускается. Если я сам, по моему малому состоянию, не могу благодетельствовать, то я хоть помогать в благородном деле стараюсь.

Князь приказал кучеру ехать и прибавил:

– В разбойное место...

Через несколько минут дрожки остановились пред большим зданием Верхнего суда, и князь, войдя по большой лестнице, очутился в прихожей, где, как и всегда, сидела куча просителей. Князь разыскал чиновника и попросил доложить о себе главному начальнику. Через минуту он уже входил в его кабинет.

– Что прикажете, дорогой мой? – сказал Роман Романович, вставая навстречу.

– А вот что, дорогой мой: уже давненько, кажется, с месяц, что ли, толковали мы с вами об этом самом здании. Я сказывал, что все-то у вас грабители, душегубы, разбойники, а вы сказывали, что есть у вас и хорошие люди. Так ли?

– Так! Так! – рассмеялся Романов.

– Называл я вам главного грабителя, господина Скрябина, а вы даже как будто обиделись, говоря, что это клевета и что господин Скрябин не такой совсем, а якобы ваша правая рука. Так ли?

– Ну нет, князь, правой рукой я его не называл, а говорил, что он человек хороший, знающий своё дело и уж во всяком случае честный. Припоминается мне, что разговор наш шёл о лихоимцах. Ну, вот я вам на это и ответил, что другой кто, может быть, у меня тут и прихрамывает на этот счёт, а Скрябин человек честный.

– Ну вот, больше мне ничего и не надо. Пожалуйста, выслушайте... Тому сколько-то дней, я добился чести переговорить лично с господином заседателем и дал ему из рук в руки пять тысяч рублей за то, чтобы завершить дело в пользу ябедника и в ущерб правого. Скрябин взялся за дело так усердно, что мой правый уже нищ. Разумеется, он принял взятку не от князя Козельского, а от господина Телятева, ко-его я изобразил.

Романов глядел изумлённо в лицо князя.

– Если не верите, Роман Романович, то выслушайте дальше всё по порядку. И не одно, а два дела. Одно Баташева, а другое госпожи Калининой.

И князь передал обе тяжбы подробно.

– Да зачем же, князь, вы вмешались в пользу неправой стороны и повернули дело сами, деньгами, взяткой, в ущерб правого... Это уж совсем удивительно.

– А затем, Роман Романович, чтобы иметь верные доказательства, что деньгами можно заставить вашего Скрябина живого человека в землю зарыть. Дело Баташева тому образчик и доказательство. А затем, желание моё сердечное, кровное, избавить Москву от Скрябина.

Романов, озадаченный, переменялся даже в лице и, очевидно, сильно взволновался.

– Я вам во всём верю на слово, князь, – признаюсь, это для меня некоторого рода удар.

– Так пожалуйста сейчас к нему, и докажем всё, приказав поличное подать. Оба дела кляузных, разбойных...

– Нет, князь, это совсем не нужно, – вздохнул Романов. – Я его вызову сюда... А покуда два слова о нашем деле. Я был у Александра Никитича, он боялся обиды от вас, оскорбления. А теперь будет тотчас же. Я заезжал от него к вам, сказать вам, но не застал вас дома.

– Спасибо вам. А сейчас, при мне же, побеседуйте с господином Скрябиным, – ответил князь, усмехаясь. Он боялся, как бы дело это не отложилось.

Романов высунулся в дверь и приказал позвать к себе главного заседателя. Через минуту появился чиновник, но вид у него теперь уже был совсем иной. Важности, которая была в нём, когда он беседовал с просителем Телятевым, не было и в помине. Явившись к главному своему начальнику, он остановился у порога, руки по швам.

– Притворите двери плотнее! – выговорил Романов несколько сурово. – Объясните, господин Скрябин, что, собственно, на днях произошло между вами и князем?

Чиновник вытаращил глаза, поглядел на начальника и выговорил:

– С каким князем, ваше превосходительство?

– А вот с этим самым князем! – показал старик на своего гостя.

Скрябин глядел поочерёдно на начальника и на господина Телятева, оказавшегося князем, и, наконец, произнёс:

– Я не понимаю-с, извините!

– Позвольте мне вкратце объяснить! – сказал князь. – Именуя себя Телятевым, я на прошлых днях передал господину Скрябину пять тысяч рублей в качестве простой взятки. Следовательно, Скрябин – лихоимец! Вот в чём заключается всё дело! Соизвольте, ваше превосходительство, спросить у него, получил ли он пять тысяч по делу Баташева и как дело решено теперь.

Романов обратился к чиновнику и выговорил:

– Правда ли всё это?

– Ваше превосходительство, это недоразумение... Они очень просили, а я, виноват, из жалости решился... Они просили ходатая, это для ходатая... по делу секунд-майора...

– Довольно! Вы признаёте, что деньги получили?

– Но, ваше превосходительство...

– У вас ли деньги? Или истрачены? Переданы?

– У меня-с...

– Ну-с, ступайте домой и пришлите мне их тотчас сюда, а сами подайте рапорт о болезни. Болеть вы будете месяца два, а за это время приискивайте себе должность где хотите.

– Ваше превосходительство!.. – вскрикнул Скрябин. – Я могу объяснить...

– Ступайте вон! Я сам делом займусь...

– Ваше превосходительство! – захрипел Скрябин и упал на колени.

– Полноте! Полноте! – резко произнёс Романов. – Со мной такими глупостями ничего не сделаете. Вставайте и выходите!

– Ваше превосходительство!

– Ступайте вон! – вскрикнул Романов.

Скрябин поднялся и, как бы ошупью или в темноте, нашёл дверь и вывалился вон.

– А что вы думаете, дорогой мой? Ведь мне этого мерзавца жалко стало! – сказал вдруг князь. – Сам же я настряпал, да сам же тут и раскаялся. Впрочем, это так. Минута такая. Когда я подумаю, что вы сотни людей в Москве избавите от

этого кровопийцы, то, конечно, стоит радоваться. Спасибо вам, однако, за то, что так много мне верите.

VI

Сашок волновался наутро, сильно робел и был тревожен. Он одевался, собираясь не к князю Трубецкому, а к дяде, князю Козельскому. Этот дядя всегда представлялся ему сказочным Кощеем, злым, «отвратительным» человеком, и стал представляться теперь ещё страшнее. Вдобавок всё случилось вдруг, и он не успел мысленно приготовиться к тому, чтобы предстать пред лицом человека, которого никогда не видал и о котором, кроме худого, ничего никогда не слышал.

Через сутки после того, как Романов побывал у Сашка, молодой человек уже подъезжал к большому, великолепно-му дому в глубине двора. Отдав свою лошадь конюху, Сашок вошёл и, встреченный швейцаром в епанче и с булавой, объявил своё имя.

Один из лакеев, по виду старший, особенно вежливо поклонившись князю, тотчас быстро побежал по парадной лестнице с докладом. Через полминуты он уже спускался обратно со словами:

– Пожалуйста! Князь приказал просить и сказать, что рад дорогому гостю, коего давно ожидает.

Сашок, ободрённый этими словами, стал подниматься по лестнице, но всё-таки чувствовал, что сильно робеет. Пройдя огромную залу, затем три парадные гостиные разных цве-

тов, Сашок увидал в глубине лакея, стоящего у запертых дверей и, по-видимому, ожидающего его. При его приближении лакей растворил дверь и посторонился. Сашок вошёл. Мысленно он готовил фразу «По долгу родственному и особливому почтению имею честь явиться к вам, дядюшка...»

Фраза была длинная, хорошо составленная дома, потом прибавленная в дороге, но теперь, когда Сашок переступил порог, всё до последнего слова выскочило у него из головы. К нему навстречу шёл высокий человек, статный, моложавый, в тёмном бархатном шлафроке. Он протянул руки, обнял молодого человека и расцеловался с ним трижды.

Но Сашок, глядевший дяде в лицо, был так ошеломлён, что стоял истуканом, вытаращив глаза и разинув рот.

– Удивился, голубчик? – выговорил князь.

Сашок двинул губами, но ничего произнести не мог.

– Садись! Сейчас всё узнаешь!

Удивление молодого человека объяснялось тем, что вместо дяди – князя Козельского перед ним был, не в поношенном платье, а в богатом шлафроке, Вавилон Ассирьевич Покуда.

Сашок ничего сообразить не мог и только изумлялся поразительному, неслыханному сходству двух людей. Мысль, что это тот же человек, не пришла ему на ум.

– Вот видишь ли, дорогой племянничек, ты ко мне с родственным уважением не ехал, а мне, твоему дяде, первому ехать к тебе не подобало. Ну вот я и попросил вместо себя

поехать к тебе Вавилона Ассирьевича. Но, правда, он тогда сказал тебе, что он Вавилон Ассирьевич Покуда. И потом может стать князем Александром Алексеевичем Козельским. Понял?

Сашок сообразил всё, но, невольно вспомнив свою беседу с Вавилоном Ассирьевичем, снова запутался и ничего понять не мог.

– Ты, небось, дивишься, зачем я был у тебя шутом с дурацким прозвищем? – заговорил князь. – Это моё дело! А теперь плюнь на всё это и забудь! Теперь я хочу объяснить тебе, что жизнь человеческая не то же, что поле перейти, а затем в жизни человеческой чем дальше в лес, тем больше дров. Инако сказывать буду ты молод, а я стар, ты только недавно прыгать начал, а я уже напрыгался всласть, умаялся. И если не собираюсь ещё ложиться в гроб, то собираюсь сесть и сидеть. Ты одинок как перст, считаешься сиротой. Я то же самое, тоже сирота. Родня мы с тобой близкая, ближе нельзя, разве что мне твоим отцом быть. Держал я тебя от себя вдалеке, как сказывают, в чёрном теле, будучи человеком богатым; допустил, чтобы ты жил в Питере в казарме; допустил вот, что ты теперь ко мне приехал не в экипаже цугом, как полагается князю Козельскому, а верхом, как самый простой офицер без достатка. Ну вот, дорогой мой племянничек, и тёзка, и крестник, теперь кто старое помянет, тому глаз вон. Теперь всё пойдёт на иной лад! И прежде всего ты должен не мешкая собрать все свои пожитки и переезжать

сюда ко мне. Пока я в Москве, будешь со мной жить, а если меня нелёгкая опять унесёт куда-нибудь, хоть бы на край света, то дом сей со всем в нём находящимся и с полусотней холопов – всё это будет в твоём распоряжении. При этом я назначу тебе месячное содержание на разные удовольствия, а лошади и экипажи и твои первейшие потребности – всё это само по себе будет оплачиваться из моей конторы. Ну, поцелуемся и забудем всё старое!

Сашок, совершенно поражённый тем, что он слышал, сидел, не двигаясь.

– Ну, поцелуемся! – повторил князь.

И, расцеловав снова три раза племянника, он рассмеялся.

– Что, небось всё думаешь о Вавилоне Ассирьевиче? Не понимаешь сего казуса? А дело просто. Хочешь, я тебе поясню?

Сашок двинул языком и пролепетал что-то себе самому непонятное.

– Отойди, голубчик! Ишь ведь как тебя захватило! Оттереть, что ли, тебя? Был я у тебя затем, чтобы поглядеть на тебя, каков ты молодец, сам не сказываючись. Если бы ты мне пришёлся не по душе, то я бы уехал и плюнул на тебя на всю мою жизнь, а ты бы и не знал, кто у тебя был. Ну а ты мне понравился. И вот произошло совершенно иное; ты теперь у меня. А кроме того, вспомни, голубчик, как ты меня обозвал, как изругал! Помнишь ли?

– Виноват, дядюшка, – заговорил наконец Сашок, – я не

знал, что это вы.

– То-то и хорошо, что не знал! Кабы знал, тогда бы всё прахом пошло, всё бы я за комедию принял. То-то и хорошо, что не знал. Вот за то, что ты меня изругал, ты мне и стал люб. А помнишь ли ты, за что ты меня изругал?

Сашок стал соображать, вспоминать, но по лицу его видно было, что он не помнит.

– Вот видишь ли, добрый ты малый. Жалею я сердцем и душой, что так поздно с тобой познакомился! Ты и не помнишь того, что в тебе мне именно и понравилось? Тебе Вавилон Ассирьевич что предлагал?

– Не помню, дядюшка!

– Разве он тебе не говорил, что предлагает свои услуги, как твоего дядюшку Александра Алексеевича на тот свет отправить, чтобы наследовать от него? Вспомнил?

– Так точно!

– Ну вот, видишь ли, голубчик, я так полагаю, что много есть на свете молодых прыгунов-офицеров, которые бы, конечно, не согласились тоже сразу на такое предложение: богача дядюшку опоить или придушить! Но многие из них к этому делу отнеслись бы хладнокровно. В душе, тайно, им бы даже этакое и понравилось! По глазам бы можно было прочесть, что этакое нравится... А ты – истинный князь Козельский, прямой, честный и благородный, какие мы все были. И твой отец, и твой дед. Ты разгорелся, взбудоражился на этакое предложение и стал ругаться. И вспомнился мне,

будто в тебе возродился мой родитель – твой дед. И лицом ты на него больше меня похож, да, очевидно, и нравом такой же – прямой и справедливый. Когда ты меня, вскочивши, начал ругать и чуть не в три шеи гнать из квартиры, я чуть-чуть не назвался. Хотелось мне тебя обнять, расцеловать.

VII

Едва только Сашок, радостный, вышел от дяди и уехал, как из верхнего этажа дома быстро двинулась к князю красивая молодая женщина, смуглая, с большими чёрными огненными глазами... Это была сожительница князя по имени Земфира. Она вошла в кабинет стремительно и как-то порывисто и, остановившись у порога, огляделась. Глаза её с синими белками будто сверкнули. Убедясь, что князь один, она выговорила тихо и вместе с тем резко:

– Кто у вас был?

Князь поглядел на неё, помолчал и наконец произнёс, подсмеиваясь:

– Была вся Москва... Третьего дня был дома именитый граф Бестужев-Рюмин-Сибирный.

– Я спрашиваю, кто у вас сейчас был?

– Сейчас? Ты знаешь сама. А иначе и не ворвалась бы, как ураган. Так ведь ты махнула юбками, что ветром подуло, насморк получить можно.

– Ну. Я знаю, кто был. Мне сказали. Но я не поверила и не верю. А поэтому и спрашиваю, чтобы вы мне сами сказали.

– Был князь Александр Никитич Козельский, мой племянник и крестник, красавец офицер, и по урождению своему, по характеру почище меня...

– Вот как?! – рассмеялась Земфира презрительно.

– Дура ты, дура! – вдруг воркнул князь.

– Почему же это? Я же и дура... А не другой кто...

– Кто? Я, что ли, дурак, по-твоему?

– Так вас я обзывать не могу... Но, однако... – Земфира запнулась и прибавила: – Кто говорил всегда, что не пустит на порог своего дома мальчишку – вздыхателя по наследству?

– Знаю... Верно... – перебил князь. – Говорил... Не пущу к себе молокососа, который мой единственный прямой наследник и поэтому спит и видит, чтоб я помер без завещания... Говорил, Зефирочка. Говорил. А знаешь, почему я так говорил?..

– Ну-с? – вымолвила женщина, видя, что князь молчит и ждёт ответа.

– Говорил... Потому что я был дурак. А теперь я вдруг поумнел... Хочу, чтобы у меня был поблизости, даже в моём доме, родственник, молодой, честный, добронравный... А главное, честный. На всякий случай пригодится такой. Надоело мне всё с блюдолизмами да с прихлебателями жить. Один подлее другого... Ну вот, душу и буду отводить с прямодушным родным племянником, у коего душа чистая.

– А вам кто это сказал?

– Что? Что его душа чистая? Мой нюх.

Земфира, знавшая хорошо по-русски и говорившая правильно, хотя с сильным акцентом чужеземки, всё-таки не знала многих простых слов и теперь не поняла слова «нюх».

Князь объяснился. Красавица ничего не ответила, посто-
яла среди комнаты, а затем молча вышла вон.

Прошлое этой женщины было совершенно тёмное. Ко-
гда-то она рассказала князю подробно всё своё мыканье с
детства, но впоследствии она столько раз видоизменяла своё
повествование, что князь уже плохо верил в правдивость
рассказа. Было даже неизвестно наверное, молдаванка она и
христианка или же турчанка.

Единственное было верно, что Земфира была безродная.
Вспоминая своё раннее детство, она не видела около себя
ни отца, ни матери, ни кого-либо близкого. Будучи уже лет
двенадцати, она узнала, что находится в числе других шести
девочек на воспитании у старухи, злой, сварливой, от кото-
рой никто из девочек никогда не видал никакой ласки и от
которой равно все получали только пинки и колотушки.

И в доме этом постоянно появлялись новые девочки де-
сяти и двенадцати лет, причём исчезали те, которым было
уже около пятнадцати. Чаше всего старуха охала и вздыха-
ла о том, что Земфира и другие девочки слишком молоды.
Долго ждать. В каком городе это происходило, Земфира не
помнила, но говорили все по-молдавански.

Когда Земфире минуло четырнадцать лет, старуха стала
её брать с собой в большое здание, где бывало много народу
и где продавалась всякая всячина. С двух-трёх раз Земфира,
умная и хитрая, поняла, что она в этом большом здании то-
же товар. Уже несколько раз подходили к старухе какие-то

чужие люди, оглядывали внимательно Земфиру и потом толковали о деньгах. Это было главное торжище города.

Наконец однажды Земфира не вернулась со старухой домой, а отправилась в другой дом вслед за каким-то пожилым человеком. Она узнала, что куплена им за полтысячи червонцев.

– Это страшная цена! – говорил он ей. – Ещё ни разу таких денег я не платил, а так как у меня правило каждый раз брать вдвое, то, вероятно, тебе долго придётся прожить у меня, прежде чем найдётся богач-покупатель.

У этого пожилого человека, которого все звали Юсуф, Земфире оказалось жить лучше. Она ходила уже не в лохмотьях, а в чистом платье. Юсуф не только не жалел денег на её содержание, но настаивал, чтобы она больше ела и больше спала.

– Худошава ты, поправляйся скорей! – говорил Юсуф. – Справишься – тебе можно будет и пятнадцать лет дать на вид, а это важно. Таких тощих, как ты, никто не любит!

У Юсуфа бывали часто гости, но всегда мужчины. И почти все, которым Юсуф показывал Земфиру, оглядывали её точно так же внимательно, как и тогда, когда старуха выводила её на торжище.

Через месяц после того, как Земфира была у своего нового хозяина или владельца, у него появились ещё две девушки почти её лет. Одна из них была турчанка, другая сама не знала, кто она, и говорила на таком языке, которого никто не

понимал, а сама она тоже не могла ничего объяснить и начала учить молдаванские слова. Земфира подружилась с ней.

Но не прошло ещё месяца, как однажды утром Юсуф одел Земфиру, посадил в бричку с провожатым, дал один золотой, приказав его не потерять, и объяснил:

– Ну, прощай! Я на тебе, спасибо, нажил куш хороший! Будешь ты ехать весь день и всю ночь, по дороге где-нибудь отдохнёшь, а завтра ты будешь в таком доме, что ахнешь...

И действительно, Земфира, переночевав где-то, очутилась через сутки в каком-то замке и, несмотря на то, что была от природы смелая, всё-таки несколько оробела. Ей стало жутко. Прямо из экипажа она попала в красивую комнату, а рядом с ней была старуха, точь-в-точь такая же, как её первая хозяйка-воспитательница. Только эта была ещё старше и ещё безобразнее.

Дом был переполнен народом – и господами, и слугами, но казалось, что всё это не имело никакого сообщения с теми комнатами, в которых очутилась Земфира.

Через сутки молоденькая девушка, почти ещё подросток, стала наложницей семидесятилетнего уроды. Испуг и отчаяние её были так велики, что она твёрдо решила бежать из этого дома при первом случае.

Так как старуха отнеслась ко вновь прибывшей девушке без малейшего подозрения, то случай представился тотчас же. На третий же день Земфира, выпущенная погулять, убежала... И бежала без оглядки, бежала с полудня до вечера.

Вечером её приютили в какой-то деревушке добрые люди, крестьяне.

Через месяц она была снова в положении наложницы у богача-валаха. Это продолжалось около года, после чего Земфира, увлѣкшись молодым польским графом, уехала с ним и очутилась в Киеве. Увлечение это тоже скоро прошло. Слишком много разума и слишком мало сердца было в юной красавице.

Явился случайно проезжий богач, русский князь, и влюбился в неё. Земфира тотчас же последовала за ним. Это был князь Александр Алексеевич. Но в своих привязанностях к женщинам, встречавшимся в жизни, он был самый непостоянный человек. Случалось, что женщина, по которой он сходил с ума, через месяца два-три уже наскучивала ему настолько, что он только удивлялся, где у него были прежде глаза. Земфира этого не знала, но вскоре поняла, догадалась и приняла свои меры. Прирождённое лукавство стало в ней талантом. И теперь дело обстояло иначе. Уже лет семь, как в доме князя жила и «владествовала», как он выражался полушутя, эта молодая и красивая молдаванка.

Красавица уверяла, что имя её настоящее было Мария. Но её ещё девочкой звали почему-то всегда Земфирой. Узнав её под этим именем, князь стал её звать Зефира, теперь называл, ухмыляясь, «моя Зефирка». По его примеру, и вся Москва, узнавшая о существовании женщины в его доме, звала её тоже «Зефиркой», но вместе с тем звала «молдаш-

кой».

Умная и хитрая красавица сумела сначала глубоко привязать к себе пятидесятилетнего человека, а затем, когда первый пыл его страсти прошёл, она сумела так устроиться, что не было и речи о том, чтобы расстаться. Или женщина была особенно искусна, или сам князь постарел. Впрочем, он считал, что эта молдаванка была единственной серьёзной привязанностью в его жизни.

Если бы не его ненависть к браку, то, быть может, в начале связи он решился бы и жениться на ней. Такой другой княгини-хозяйки в доме трудно было бы и выдумать. Казалось, что красавица была рождена для того, чтобы первенствовать в столичном обществе.

Земфира была, конечно, на положении полной хозяйки и как бы законной жены князя. На больших парадных обедах и вечерах, которые он давал, она не присутствовала, но когда бывали у князя одни мужчины, она всегда появлялась и распоряжалась. Зная за последние годы, что князь бывает ей часто неверен, она относилась к этому совершенно равнодушно, но каждый раз обращала внимание исключительно на одно обстоятельство: что за женщина – новая прихоть князя.

Она совершенно не боялась красавиц, а боялась умных женщин. Иначе говоря, она боялась, чтобы какая-либо более хитрая искусница, чем она сама, не вытеснила бы её окончательно и не заняла её места.

Сначала Земфира долго и упорно, с большим искусством.

старалась добиться, чтобы пожилой вдовец и богач женился на ней. Это было бы не стыдно князю, так как Земфиру можно было выдать происходящую якобы из дворянского молдавского рода. Она уже, будучи у князя, получила известное воспитание, не только была грамотна, но и говорила хорошо по-русски, и немножко по-французски, хорошо играла на мандолине, хорошо пела, а в особенности ловко и грациозно танцевала всякие характерные танцы. Изящество всей её фигуры при красивом сложении, а равно и изящество всех движений были прирождённым даром. Выказывать свои таланты приходилось ей часто на вечерах, устраиваемых князем. Иногда она появлялась в каком-либо костюме, конечно, великолепном, и танцевала перед гостями. Танцами своими она всегда приводила всех в восторг.

Теперь Земфира отказалась окончательно от мысли выйти замуж за князя, так как, уступчивый во всём, он был на этот счёт упрям. При малейшем намёке на женитьбу он выходил из себя и говорил грубо, резко, сердился настолько, что с трудом успокаивался через несколько часов. Он говорил:

– Всякий человек, который способен жениться, дурак, свинья, тварь, дубина, бревно...

Он объяснял свою женитьбу в двадцать пять лет тем, что приобрёл огромное состояние за женой, и женился он на женщине много себя старше, чуть не вдвое, стало быть, понятно, что всё дело было в деньгах.

– Но жениться по любви – да разве я безумный! – кричал

он. – Да разве я глупая тварь какая?!

И, не имея давно надежды сделаться княгиней Козельской, бессердечная и лукавая Земфира добивалась теперь иного – получить от князя большие деньги, даже очень большие, и при их помощи выйти замуж за русского дворянина, чтобы быть в другом положении, законном, приличном.

Однако и это дело не удавалось. Уже года с три, как князь обещал любимице подарить ей около пятидесяти тысяч, но дело всё оттягивалось, и Земфира начинала опасаться, что и этого она достигнет, когда будет стара. Она рассчитывала, получив собственное состояние, уехать в Киев, выйти удачно замуж и сделаться членом дворянского общества.

С год назад она собралась покинуть князя, разумеется, она лукаво грозилась. Князь в ответ показал ей своё завещание. Умный и недоверчивый, подозрительный, он, как часто бывает, был и наивен. Земфира осталась и была счастлива... Но недолго...

В последнее время она стала особенно угрюма, задумчива и раздражительна. Она как будто выбилась из сил от терпения и ожидания. Она пришла к убеждению, что князь будет водить её за нос, пока она совсем не состарится. И женщина чувствовала, что если она прежде относилась к пожилому князю равнодушно, хитрила с ним и лукавила, уверяя его, что она глубоко привязана к нему, то теперь в ней растёт уже крепкое, сильное и злобное чувство отвращения к старому, себялюбивому и упрямому человеку.

«На что мне состояние в сорок лет!» – злобно говорила она себе. И Земфире приходило на ум нечто такое, чего бы прежде никогда не пришло. Она поставила себе давно цель в жизни – быть законной женой, дворянкой и богачкой. На пути к этой цели стоит этот человек. Она же не из тех, что могут примириться и уступить. Надо, следовательно, во что бы то ни стало достигнуть цели! И что бы ни являлось помехой, всё надо устранить, так или иначе! Хотя бы даже ценою преступления. «Только бы нашёлся человек и помощник! – думалось ей. – Одной мудрёно, а вдвоём дело пустяковое...»

Но, разумеется, такого помощника судьба долго не посылала Земфире. Только за последний год, странствуя за князем, она на юге России узнала молодого цыгана, сразу оценила его, поняла, что это за человек, и теперь тайком, конечно, видала его, так как дала ему средства приехать за ней в Москву и давала денег на существование. Существование, конечно, странное, тёмное...

Но вместе с тем Земфире посчастливилось ещё иначе и недавно... Настоящий «помощник» нашёлся.

Она познакомилась в Москве с молодым человеком, замечательно красивым, который по матери был её соотечественником, но родился в Москве, и был вполне русский. Только тип его лица говорил о южном происхождении.

Молодой молдаванин, вернее, валах, был лекарем и имел небольшую практику, предпочитая, однако, лечить женщин, и в особенности пожилых, или вдов, или одиноких. Разуме-

ется, эта личность была тоже тёмная, как и цыган. И в известном смысле он был хуже цыгана. Фамилия его была, однако, самая обыкновенная, русская – Жуков.

Последнее время Земфира тоже тайно от князя ведалась с красавцем лекарем...

VIII

В тот же вечер Сашок снова явился к дяде, как тот приказал. Князь тотчас повёл племянника показать апартаменты, которые ему предназначались. Они были в нижнем этаже с отдельным входом из швейцарской и особым задним выходом во двор. Комнат было четыре, больших и светлых, с особой передней, и, разумеется, меблировка была такая же богатая, как и во всём доме. В них, однако, никто ещё никогда не жил... Некому было...

Обойдя комнаты, князь соображал, что нужно прибавить к обстановке, дабы его племянник ни в чём не нуждался. Затем, снова поднявшись к себе, князь занялся приготовлением своего ежедневного, давнишнего вечернего питья. Всё было уже подано на стол. Горячая вода, ром, лимоны и сахар. Начав свою стряпню, князь, улыбаясь, показал Сашку на стул около себя.

– Ну, мой любезный, объясни мне, – сказал он, – необходимое нечто. Знаешь ли ты, что у меня в доме, вверху, в отдельных апартаментах, живёт некая особа? Знаешь ты это?

– Нет, дядюшка!

– Не слышал?

– Нет, дядюшка!

– Не может этого быть! Тебе, верно, и тётушка сказывала, и Роман Романыч, вероятно, говорил, кто у меня пребывает,

кто мне везде сопутствует. Особа женского пола.

– Ах да! – вспомнил Сашок.

– Ну вот! Ну а звать знаешь как?

– Помню, сказывала тётушка давно – молдашка.

Князь рассмеялся.

– Так! Так! Молдашка! А то и турчанка, а то и белая арапка, Бог её ведаёт! Она и сама не знает. Ну а как звать её, знаешь?

– Знал, дядюшка, да забыл! А то и не знал...

– Земфира! Я зову Зефиркой, да и в Москве так стали звать. Ну, вот ты с ней завтра познакомишься. Она ничего, баба умная, красивая, только черна больно. Как сказывается, девка-чернавка. Добрая – не скажу Тебе говорили, что добрая?

– Нет! – промычал Сашок, мотнув головой, и в то же время вспомнил слова, давно слышанные: «маленькая, чёрненькая, царапается и кусается!»

– Так вот, познакомишься. И прошу я тебя любить да жаловать. Она чудна, норовит всякого озлить. Такова уродилась! А ещё я тебе скажу по правде, что наше с тобой заключение мира Земфире против шёрстки пуще всего. За эти последние годы, если я не послал за тобой или не повидал тебя в полку, в Петербурге, проездом, то спасибо скажи Земфире. Теперь я вспоминаю, что рассказывали мне про какие-то твои два нехорошие действия, и вспоминаю, что узнал потом, что всё это было враньё. А сказывала мне это, попро-

сту сказать, сочинила, Земфира. Так вот видишь, теперь дело обстоит мудрёно! Она и так добротой не отличается, а тебя ей Бог велел недолюбливать. А между тем я бы не желал в доме ссор. Хотелось бы мне, чтобы вы ужились в ладу. Можешь ты постараться, чтобы этот лад был?

– Я, дядюшка, готов всей душой!

– Ну, так слушай... Побожись ты мне, что всякий раз, что бы ни приключилось между тобой и Земфирой, сейчас же иди и мне рассказывай. Чтобы я всегда знал всё, как и что.

– Слушаю-с!

– Затем обещайся мне отнестись к её поступкам с холодным разумом. Ты, как я вижу, обидчив, у тебя всё на языке «дворянин да офицер». И это ты, конечно, здраво судишь. Так и следует князю Козельскому. Если ты обиделся на княгиню Трубецкую, то прав; но вот на Земфиру не обижайся. Коли что приключится, по здравому рассудку – наплюй! И каждый раз, как что приключится промеж вас, помни пословицу: «собака лает – ветер носит». Или ещё и по-другому: «на всякий чих не наздравствуешься».

Сашок прислушивался внимательно к словам дяди, но при этом слушал молча и был озадачен. Он не раз слышал о молдашке от своей тётки. Теперь приходилось знакомиться с этой молдашкой и стараться ладить с ней, а между тем сам дядя объяснил, что она злая и что не надо обращать внимания на неё. «Собака лает – ветер носит».

– Хорошо дяде это говорить, – думалось молодому мало-

му. – Начнёт так лаять, что и не будешь знать, что делать. Он же первый этому лаю поверит, а я окажусь виноват.

Разумеется, молодой человек, как ни был наивен и простодушен, всё-таки понимал, что в лице этой женщины, которую дядя рекомендовал сам как «злюку», он неминуемо должен встретить врага, и даже заклятого врага. Чем дядя будет с ним добрее, тем она будет злее. До сих пор она исполняла как бы должность самого близкого лица при князе-бобыле, теперь вдруг между нею и им становится родной племянник, однофамилец и вдобавок крестник.

И неминуемо начнётся борьба!

И чем эта борьба может кончиться?.. В ответ на этот вопрос Сашок задумывался и вздыхал...

IX

Через два дня молодой князь был уже в доме дяди. Собраться и переехать было ему немудрёно, так как все пожитки поместились на одной телеге. Сам он приехал верхом и прошёл в кабинет дяди, заявляя, что пожитки сейчас придут.

Разумеется, Сашок, постоянно занятый теперь мыслью о трудности своего положения при князе Трубецком, рассказал дяде про последнее приключение с клавикордами. Князь Александр Алексеевич смеялся до упаду и этим удивил племянника. Однако когда Сашок заявил ему своё мнение, что дворянином и офицером так помыкать нельзя, князь согласился с ним.

– Я нахожусь при князе для ординарных услуг. Как теперь стали сказывать – ординарец. А выходит, что я у княгини на побегушках, и этак может приключиться, как я уже сказывал Кузьмичу, что меня княгиня заставит полы мыть.

Князь рассмеялся и сказал:

– Дурашная баба. Бьёт холопов напрапалую. Руки болят. Её все в Москве знают... Добрая, но удержу не знает своему пылу. И прихотлива, что захотела – вынь да положь!

– Да-с. Сам генерал, князь, её опасается.

– Мы с тобой об этом подумаем, обсудим. Может быть, я тебе и другое какое место найду. А если после короннова-

ния государыни останется какой петербургский полк здесь, то устрою, чтобы тебе в него перейти.

Дядя и племянник разговаривали стоя. Князь ходил по своему кабинету, Сашок следовал за ним. Случайно они очутились около окна, выходящего на большой двор, в то мгновение, когда в ворота въехала тележка, на которой были два сундука, ящик и маленькая кровать. На облучке рядом с мужчиной сидел Кузьмич.

– Вот он! – сказал Сашок.

Князь присмотрелся к въезжавшей тележке, и лицо его из весёлого вдруг стало несколько сумрачным.

– Это твои пожитки? – сказал он.

– Да-с!

– Всё твоё имущество?

– Да-с!

Князь закачал головой.

– Как тут пояснить? – заговорил он тихо. – Мудрёно! Устанавливается образ мыслей, как бы само собой, и думаешь, что прав, что рассуждаешь здраво. А потом, неведомо от чего, года ли, возраст преклонный, иное ли что, вдруг образ мыслей меняется... Оглянешься назад, на свой пройденный жизненный путь, удивишься, начнёшь вот этак-то головой качать... Вот тебе и здраво думал! Нет, братец, дурак ты был, а в ином в чём и хуже. Прямо сказать – скот был. Понял ты меня?

Сашок стоял, изумлённо глядя, слышал всё, что дядя ска-

зал, но не понял ни единого слова, как если бы тот бредил. Ввиду молчания молодого человека, князь снова спросил:

– Понял ты меня?

– Виноват, дядюшка, не понял.

– Ничего не понял? Как есть?

– Как есть, дядюшка, ничего!

– А ты припомни всё, мною сказанное, и сообрази.

– Как-с? – спросил Сашок.

– Ну вот. Как-с! Брось ты эту привычку, ей-Богу, начну тебя звать Какс Никитич. Ну, слушай опять! Был у меня, богача, один только родственник – мой племянник и крестник, и тёзка, и того же имени – князь Козельский. И вот я этого родственника, который чуть не родной сын, больше двадцати лет держал в чёрном теле, не только ничего не делал для него, никогда ничего не дал ему, но даже на глаза к себе не пускал. Почитал я это дело совсем понятным, естественным. А теперь, обращаясь зрительно назад, вижу, что я был прямо скот. Вот у меня часто бывает, что денег совсем девать некуда, получишь, положишь в стол, в первый попавшийся ящик да иной раз и забудешь, куда сунул. И украсть могут – не вспомнишь! А ты вот сейчас переехал ко мне на жительство, и всё твоё имущество на одной тележке приехало. Разве это не стыд для меня?

Князь вздохнул, потом потрепал Сашка по плечу и прибавил:

– Но этому теперь конец. Пойдёт всё по-новому! Впрочем,

у меня есть одно извинение: не любил я никогда мальчишек, а каких знавал, все были озорники. Думал я, что и ты такой же. И вот спасибо Роману Романовичу, узнал я по приезду в Москву, каков ты уродился, но, признаться сказать, не поверил. Романыч – добрейший человек, у него все люди – угольники Божий и ангелы. У него вот в суде душегубы и грабители есть, которых он почитает чистыми агнцами. Я и подумал: коли Романыч хвалит моего крестника, то заключить из этого ничего нельзя. Может, этот самый крестник всё-таки отчаянный ветрогон, озорник и мошенник. Ан вот оказалось, что Романыч-то прав, а я-то, тебя забросивши, свинья свиньёй вышел. Ну, пойдём теперь в твои апартаменты. Покажи мне своё имущество, и сейчас мы порешим, что тебе нужно покупать.

– У меня всё есть, дядюшка!

– Уж будто всё? – рассмеялся князь.

– Ей-Богу, всё!

– Ишь какой! Деньги тебе нужны?

– Нет, дядюшка.

– Как нет?

– У меня есть...

– Сколько же у тебя есть?

– Теперь?

– Ну да, теперь!

– Тридцать два рубля и ещё семь гривен.

Князь, глядевший в лицо племянника, молчал, а потом

вздохнул:

– Тридцать два рубля и семь гривен... Много!

Князь двинулся к письменному столу, открыл ящик, где были деньги, и стал отсчитывать на стол.

– Вот тебе ещё тридцать два рубля и семь гривен, а к ним вот ещё сто, да к ним же самым вот ещё тысяча. Это на твои разные нужды в эти особо великие дни восшествия и коронавания государыни.

Сашок стоял, не двигаясь, глядел на стол, где князь выложил деньги, потом поднял глаза на него и выговорил:

– Дядюшка, ведь мне они не нужны, ей-Богу.

– Бери!

– Ей-Богу же, дядюшка, не нужны! Ну, сами вы посудите, что же я с ними буду делать?

– Сказывал ты сам, что Кузьмич всё плакался, что панталоны по пяти рублей аршин пропали. Стало быть, бывает же у тебя нужда. Дядька богатого человека, офицера, не станет двое суток ахать, что панталоны надо новые барчуку шить. Бери и с нынешнего дня старайся по Москве побольше болтаться и побольше денежками швырять. Это будет моё единственное утешение, что я тебя больше двадцати годов не знал, забросил. А теперь пойдём в комнаты, тебе отведённые, и посмотрим, как Кузьмич будет располагаться.

Князь взял пригоршню червонцев в карман, приказал Сашку взять данные ему деньги, и оба двинулись. Кузьмич встретил князя в прихожей.

– Здравствуй, старик! – сказал князь. – Поцелуемся, старый хрыч... со старым хрычом.

Кузьмич смутился от ласки и взволновался.

– Батюшка-князь, за что такая честь? – прошамкал он голосом, в котором сказывалось волнение.

– А за то, старик, что у тебя такой барчук, как вот этот! Хоть его и тётушка воспитывала, а не ты, но я так полагаю, что старая девица его только малость портила баловством – калачиками, да коврижками, да всяким потаканием. Поди, наверное, что он, бывало, ни сделает, всё хорошо. А ты, поди, журил его, от зари до зари бранился, уму-разуму учил. Стало быть, воспитывал-то ты, а не тётушка. Ну вот и спасибо тебе, что он этакий вышел. И вот тебе, помимо будущего жалованья, в придачу!

Князь полез в карман, вынул горсть червонцев и выговорил:

– Подставляй ладошки!

– Помилуйте, ваше сиятельство, – отстранился старик. – Зачем же!

– Вижу, вижу! И ты тоже из тех же! Подставляй ладошки!

И князь пересыпал золото в руки старика.

– Приходи завтра ко мне побеседовать, – сказал князь, – о том, что нужно твоему барчуку. Прежде всего надо обшиться. Небось, и бельё-то не ахти какое?

– Никак нет-с, я стараюсь! Раза два в неделю чиним.

– Чините? Славно! А знаешь ли ты, Кузьмич, почему это?

Старик не понял и молча глядел на князя.

– Рвётся, – выговорил он наконец.

– А почему рвётся-то?

Кузьмич снова молча глядел, не понимая.

– А потому это, Кузьмич, что есть на свете князь Александр Алексеевич Козельский, который, будучи человеком не злым, был свиньёй.

Кузьмич вытаращил глаза.

– Да, вот потому, что князь был свиньёй, потому ты и чи-нишь два раза в неделю бельё своего барчука, который тоже князь Козельский.

Кузьмич понял тотчас же смысл слов и опустил глаза.

– Что же, ваше сиятельство, не допускали вы к себе Сашунчика – и не виноваты. Кабы допустили разом, то увидели бы, каков таков молодец, и не стали бы его от себя удалять. А этак-то вы знать не могли.

– Стало быть, по-твоему, я прав? Говори! Говори, старик, прав я был так поступать?

И князь нетерпеливо ждал ответа старика.

– Простите. Александр Алексеевич...

– Ну, ну?!

– Простите, кривить душой не могу!

– Так и говори, как следует прямодушному человеку.

Прав я был?

– Нет, не правы! Зачем было этак-то поступать с единственным-то родственником на свете? Нет, воля ваша, нехо-

рошо это было! Не сердечно и пред Богом – грех.

– Ну вот, спасибо тебе! Я так и думал, что ты человек хороший... – ответил князь.

Едва только успел Кузьмич разложить платье и бельё своего питомца и пересчитать полученную горсть червонцев, как уже собрался со двора.

Ласковость князя его тронула почти до слёз.

«Спасибо» князя за воспитание Сашка хватило его по сердцу. На огромные деньги, каких у старика никогда отроду не бывало, он обратил меньше внимания. Кузьмичу деньги были совершенно не нужны, разве только на просфоры и поминанья, которые он подавал в алтарь каждое воскресенье. Поминая и «вынимая» просфоры за здоровье раба Божия Александра и за упокой рабу Божию Марию, своих родственников старик не поминал ни живых, ни умерших. Сашок один давно занял их место в его душе и во всех помышлениях.

Разумеется, Кузьмич побежал к другу, Марфе Фоминишне, объявить о происшествии, о переезде питомца к богачу дяде, который признал крестника после с лишком двадцатилетнего отчуждения. Это известие, переданное нянюшкой господам, произвело на Анну Ивановну Квощинскую радостное впечатление, а Пётр Максимыч, наоборот, насупился.

– Что же это вы? – спросила жена.

– Хорошего мало! – угрюмо отозвался Квощинский.

– Как? Что вы?

– Был молодец офицер и князь без особого состояния, и ему Танюша была парой. А теперь будет богач жених, да не для неё..

Х

Хотя у князя была, по крайней мере, дюжина кучеров и конюхов, Сашок попросил позволения всё-таки оставить у себя в услужении Тита. Он любил парня, привык к нему, а главное, чего Сашок не подозревал и не сознавал, – с этим молодцем связывалось у него нечто особенное, а именно воспоминание о пономарихе.

Тит помогал ему всячески в этом приключении, и если ничего не вышло, то вина была, конечно, самого Сашка, а не конюха. Кузьмич тоже желал, чтобы Тит оставался у князьинки в услужении, конечно, потому, что старик не знал, какую роль парень разыграл. Если бы дядька знал, что этот конюх почти науськивал его питомца на Катерину Ивановну, то он прогнал бы его давно.

Когда Сашок собрался переезжать к дяде, Тит отпросился повидать своих денька на два и получил позволение. И в то утро, когда Сашок и Кузьмич поселились в палатах князя Козельского, Тит шибко, бодро, весело зашагал из Москвы в Петровское.

Разумеется, старуха и Алёнка обрадовались ему. Параскева тотчас же заговорила о своей барыне, которую видела ещё два раза, всё около того же огорода. Старуха искренно радовалась, что у барыни в её делах многое начинает понемногу налаживаться. Барыня смотрит бодрее и со старухой

очень ласкова.

Выслушав бабуся, Тит спросил, почему Алёнка не так бодра и весела, как старуха.

– Хорошо бабусе радоваться, что чужие дела ладятся! – угрюмо ответила девушка. – А наши-то заботы всё те же. Будь бабуся на моём месте, так, небось, не радовалась бы.

Тит, видевший Матюшку в Москве только один раз, так как Кузьмич не любил его отпускать со двора, конечно, стал расспрашивать, что молодец.

– Да что, – отозвалась Алёнка, – всё то же... Наведался к нам два раза: первый раз сказал, что опять просил дворецкого доложить Ивану Григорьевичу насчёт отпускной и спросил, за какие деньги он отпустит, а второй раз был и сказал, что ничего-то не выгорит. Иван Григорьевич ответил дворецкому: «До вас ли теперь? Вишь, что на Москве! И на кой прах самоварнику воля? Всё глупости! Коли жениться хочет, пускай женится. Жене его место у нас найдётся». И вот тогда бабуся, расспросив его, сказала, что, стало быть, проку уж никакого не жди, ничего не выгорит, и прогнала его совсем.

И Алёнка при этом заплакала и замолчала. Тит тоже смолк. Ему жаль было сестру, да и Матюшку он любил, как брата.

– Надо подождать, Алёнушка! – заговорил он. – Правда, теперь на Москве такой Вавилон, что где же барину Орлову думать о разных этаких делах. Матюшке важно на волю выйти, а Орлову что же? Ему это дело всё одно, что блоху

изловить аль не трогать.

В сумерки старуха, оставшись одна с правнуком, пока Алёнка пошла на деревню за молоком, сказала Титу загадочно:

– Ну-ка, паренёк, присядь ко мне да слушай! Тебе Алёнушка огород нагородила, потому как она ничего не знает. А ты вот слушай, что я скажу! Совсем удивительное! У меня моя дорогая барынька выспрашивала насчёт Алёнки. Я ей всё расписала, а она мне сказала, что этим делом надо заняться, что она узнает через своих приятелей, кто такие господа Орловы и какой-токой у них Матюшка, и если можно, то пошлёт кого-нибудь спросить Ивана Григорьевича, нельзя ли Матюшке дать отпускную не больше как рублей за тридцать. Коли будет удача, то она обещалась мне сказать. Но с тех пор я её не видала. Вот ты и посуди: дело, стало быть, не совсем плохо. Почём знать, что она может? В палатах графа живёт. Её приятельница состоит при самой царице. А этакие люди могут больше, чем кто другой. Найдёт кого, кто съездит к Орловым господам и потолкует о Матюшке. Только ты ничего этого сестре не сказывай, не смущай её. Выйдет что – хорошо, а не выйдет – зря её нечего смущать.

– Да как ты сама, бабуся, думаешь, выйдет ли что? – спросил Тит.

– А кто же знает? Моя барыня милая прямо не обещала, а сказала только, узнаю, мол, кто такие Орловы господа, и коли можно, то один у меня есть человек, который пого-

ворит. Да кроме того, ещё достала она бумажку и карандашик и спросила, как Матюшку звать. Я сказала: «Матюшка», а она спросила: «Это что за имя?» Я сказала: «Матвей». А она очень смеялась.

– Почему? – удивился Тит.

– А Бог её знает! Смешно было... А там спросила ещё, нет ли другого Матвея у господ Орловых? Я сказала: «Не знаю». Тогда мы с ней на все лады потолковали, и я ей сказала, что он самоварник, а она опять карандашиком написала и опять спросила, что это такое. И опять смеялась, что он – самоварник.

– Почему? – спросил снова Тит.

– Да что ты, дурак, всё почему да почему! Я почём знаю? Смеялась, смешно, стало быть... А почему ей, голубушке моей, смешно, то нам, дуракам, знать нельзя.

– Коли она, бабуся, всё смеялась, то, может, всё смехом и кончится?

– И дурак ты! Смех смехом, а дело делом. – Старуха хотела ещё что-то рассказать правнуку, но увидела в окошко Алёнку и махнула рукой.

– Смотри ты, ни единого словечка ей. Не смущай сестрёнку. Может, и впрямь ничего не будет.

Тит, конечно, мысленно согласился с бабусей, что ничего сестре говорить не надо, а тем паче, что он из рассказа старухи вынес убеждение, что её барыня, которая с ней болтает о всякой всячине, конечно, и думать забыла о своём обеща-

нии. И что она, записывая, как звать Матюшку, всё смеялась, от этого пути не жди.

Вечеру, как только солнце село, старуха и правнуки поужинали и легли спать. С восходом солнца все были уже снова на ногах. Алёнка была добра и весела, потому что видела во сне двух чёрных собак, которые её «всю истрепали, всю на ней одежду подрали». Матюшка её от злых псов отбивал, но они его искусили в кровь и «голову его отъели».

– То-то ты кричала ночью! – заявил Тит, вспомнив.

– Да, кричала! И ещё бы не кричать, сам ты посуди. Смотрю я, а Матюшка без головы, и сказывает мне: «Алёнушка, голову-то у меня псы отгрызли». Я проснулась и принялась орать.

Старуха, выслушав сон внучки, объяснила, что такого хорошего сна редко когда дождёшься. Стало быть, будут от Матюшки вести не худые.

Тит стал было ухмыляться недоверчиво, но Алёнка ожилилась и заметила брату:

– Ты вот что, Титушка. Ты этак не ухмыляйся! Бабуся такая отгадчица, что всякий сон так тебе и распишет. Коли она говорит, что мой сон хороший, то, стало быть, так и есть.

– Знаю. Токмо, помню, бывало тоже, что бабуся и зря отгадывала.

Пред полуднем старуха собралась на свой огород. Тит хотел тоже пойти с ней – помочь нарвать побольше огурчиков и дотащить домой. Но едва только собрались они и отошли на

несколько шагов от дома, как на опушке леса, окружающего палаты графа Разумовского, показался парень, который не шёл, а бежал.

Через мгновение и старуха и Тит узнали его сразу. Это был Матюшка. Завидя их, он уже припустился рысью и в нескольких шагах от них, махая руками, начал кричать:

– Вольная! Вольная!

Подбежав, он обнял старуху, расцеловался с ней, чуть не сбив её с ног, затем расцеловался с Титом и, стараясь передохнуть, выкрикнул:

– Воля! Воля! Отпустили! Вот она! В кармане!

И он вынул лист, на котором было что-то написано, а внизу была кудрявая подпись.

– Это вот, значит... Мне читали, Тут значит: «отпускаю Матвея, вот, на волю, на все четыре сторонушки». Вот тут значит «Иван Орлов»!

Старуха была поражена, но улыбалась. И глаза её старые будто помолодели и сверкали. Тит, тоже изумлённый, стоял разинув рот.

– За сколько? – выговорила наконец Параскева. – И когда деньги платить?

– За сколько?! – . – вскрикнул Матюшка. – Бабуся, родимая! Ни за сколько! Даром! Даром! Пойми ты! Чудеса в решете... Я помру, ей-Богу, помру! Где Алёнка?

– Дома... Пойдём! – выговорил Тит, чувствуя, что у него всё ещё в голове какой-то туман. Вспомнив о сестре, он оста-

новил приятеля за руку.

– Стой, Матюшка! Этак грех! А ну как всё вздор? Зачем сестрёнку смущать? Ведь этак обрадуешь, да потом окажется всё враками, она захворает с горя.

– Что ты, глупый! – закричал Матюшка. – Да эту бумагу все во дворе читали, все меня поздравляли... Сам Иван Григорьевич вызывал, в руки мне её дал и сказал сам: «Ну, Матюшка, ступай на все четыре стороны, лети вольной птицей. А отпускаю тебя потому, что мне так указано. А то бы не отпустил».

И Матюшка, завидя вышедшую на крылечко Алёнку, бросился к ней бегом, крича то же слово:

– Вольный! Вольный!

– Уму помраченье, – сказал Тит, – Видно, и впрямь сила твоя барыня.

Параскева видела, как Матюшка обнял её правнучку и целовал без зазрения совести, зная, что они всё видят. И старуха начала утирать сухие глаза, которые плакали без слёз.

XI

Переезд в дом дяди сильно повлиял на молодого человека. Прежде всего совершенно изменился его образ жизни. У себя на квартире он вставал и, по выражению дядьки, тыкался из угла в угол, то присаживаясь к окошку поглазеть на улицу, то выходя во двор и в конюшню поглядеть на лошадей и поболтать с Титом. Затем он отправлялся на ординарные услуги, вздыхая о том, что он исполняет у Трубецкой должность «побегушки». А затем, возвратясь домой, он опять не знал, что с собой поделаться.

Немудрено, что при этакой жизни он чуть не «загубился», по выражению того же Кузьмича, с красивой пономарихой. Понятно, что из-за этого скучного препровождения времени он заявил Кузьмичу, что готов равно и жениться и удавиться.

Теперь время шло совершенно на иной лад. В доме дяди бывали с утра гости, и Александр Алексеевич требовал, чтобы племянник был у него, знакомился со всеми, кто приезжает, а за отсутствием дяди принимал бы гостей. Много раз уже повторял князь Сашку:

– Почитай ты себя не племянником, а моим родным сыном! Стало быть, если отца в доме нет, то сын – хозяин и должен его замещать во всём.

И если когда-то Сашок жаловался дядьке, что чувствует в себе мало светскости, что, как только много народу, у него

уходит душа в пятки, то теперь, в несколько дней, молодой человек развернулся и, уже не смущаясь, принимал гостей дяди и сам отправлялся в гости.

В его распоряжении было три экипажа и до дюжины лошадей, которых так и определяли «выездом молодого князя». В доме вообще постоянно слышались теперь выражения «молодой князь» и «старый князь».

Однажды князь Александр Алексеевич слышал громкое приказание дворецкого:

– Иди к князю! Князь зовёт!

И на вопрос: «Какой?» – крикнул:

– Старый князь!

И Александр Алексеевич, обратясь к стоявшему около него племяннику, поклонился ему в пояс, прибавив:

– Вот тебе и здравствуйте! Спасибо вам, Александр Никитич, за производство меня в следующий чин. Был я просто князь, а нынче вот стал старый князь.

В то же время переезд к дяде как бы изменил отчасти и общественное положение Сашка. С первого же дня он заметил, что все относятся к нему иначе, чем прежде: кто с большей ласковостью, а кто с большим почтением. Только один Романов оставался всё тем же, но другие знакомые в Москве совершенно изменили своё обращение с ним. Прежде его спрашивали несколько небрежно:

– Ну, князёк, как поживаете?

Теперь говорили почтительнее:

– Всё ли в добром здоровье, князь?

Сашку показалось, что не только князь Трубецкой, но и княгиня Серафима Григорьевна тоже стали будто относиться к нему иначе, в особенности княгиня. Она перестала кликать его, прибавляя слова «воробей, галчонок, щенок»...

Побывав снова один раз у Квощинских, не вследствие личного желанья, а по неустанным просьбам Кузьмича, Сашок заметил, что вся семья приняла его ещё с большим почётом, чем в первый раз. В особенности же стал вдруг чрезвычайно любезен и мил в обращении с молодым человеком Павел Максимович.

На другой же день после этого посещения Павел Максимович приехал в гости к Сашку и тут же попросил, чтобы он представил его своему дяде.

Кузьмич тайком от питомца тоже побывал у Квощинских и узнал то, о чём Сашок и не подозревал. Семья была встревожена переменой в жизни молодого человека.

Пётр Максимович первый сообразил, к чему может повести эта перемена, и передал своё соображение жене, а она няне.

Разумеется, Марфа Фоминишна передала это соображение другу, Ивану Кузьмичу, и старик, сидя у неё перед самоваром, удивился тому, что услышал. Ему самому в голову это не пришло, а между тем умный старик сразу почувствовал, что в словах Марфы Фоминишны есть большая доля вероятности. И Кузьмич задумался, а этим смутил и Марфу Фо-

минишну ещё больше.

– Вам этакое на ум не приходило? – сказала она.

– Нет, родная моя. Но всё-таки не думаю, чтобы какая перемена могла быть, – ответил Кузьмич.

Но главное, приключившееся с Сашком на первых порах, было нечто совершенно особенное, диковинное... Если когда-то было диковиной, что господин Покуда явился пред глазами молодого человека вельможей в великолепной карете, а затем оказался его родным дядей, то теперь приключилось нечто такое же.

Князь Александр Алексеевич прислал поутру человека, прося племянника пожаловать тотчас наверх. Сашок вошёл в кабинет дяди быстрым шагом, но, растворив дверь и переступя порог, остановился и вытаращил глаза. Князь что-то сказал, но Сашок не слышал, настолько был удивлён и поражён.

Князь сказал:

– Вот, племянник, познакомься с моей любезнейшей подругой, Земфирой Турковной!

Он не слышал этих слов и шутки дяди, потому что красивая и очень нарядно разодетая дама, стоявшая среди кабинета, была та самая цыганка, которая побывала у него в квартире под именем Акулины Ивановны.

Сашок стоял истуканом и глядел на неё, не мигая.

– Что с тобой? – спросил князь, смеясь и подходя к племяннику. – Красота её тебя, что ли, поразила?

Сашок молчал, продолжая смотреть на молодую женщину. Земфира смотрела на него, улыбаясь какой-то, как показалось ему, нехорошей улыбкой. Она ждала, что скажет он. Промолчит он, то и она промолчит. А объяснит он всё тотчас же по своему добродушию и наивности, тогда и она признается.

Но Сашок рассудил, что нельзя заявлять о посещении Земфиры, потому что, Бог знает, может, ему чудится, что это та же женщина. Может быть, просто одно удивительное сходство, и не она, а действительно какая-либо цыганка была у него. А между тем чем более он вглядывался в красивое лицо Земфиры, тем более убеждался, что это она была у него.

– Очень рада, – проговорила с акцентом чужеземки Земфира, – что дядюшка вас к себе перевёз! Веселее будет! Прошу меня любить и жаловать.

Голос и акцент те же. Вполне убедился Сашок, что действительно та цыганка – она, «молдашка дядина».

Он собирался сказать дяде, что уже знает Земфиру, видел, принимал у себя, но язык почему-то не повиновался.

«Нужно ли? Хорошо ли? Не отложить ли это?» – думалось ему.

А в то же мгновение Земфира, пристально глядя ему в лицо, думала: «Однако ты уж не такой простофиля, дурак. Всё-таки знаешь, когда и промолчать надо. Тем лучше!»

Между тем князь взял какую-то книгу и сел к окну. Зем-

фира уселась на маленьком диванчике, усадила около себя молодого человека и начала расспрашивать его и о нём самом, и о службе, о Трубецких, и обо всех московских новостях и случаях. Разговор этот продолжался почти целый час, и Сашок был совершенно очарован молодой женщиной.

«Как люди лгут! – думалось ему. – Говорили, что она – злюка, кусается даже. А она добрая. Однако и дядюшка говорил, что в ней доброты мало. А мне вот сдаётся, что она совсем добрая».

И с этого же первого знакомства Земфира была с Сашком до крайности мила, предупредительна, а подчас даже какая-то, по убеждению его, диковинная. Иногда ему казалось, что Земфира смотрит на него такими же глазами, какими смотрела Катерина Ивановна, а раз или два смотрела Малова.

Однажды, встретившись случайно в зале, Земфира и Сашок стали ходить взад и вперёд, беседуя обо всяких пустяках. Земфира смешила молодого человека своими шутками, острыми насмешками, иногда немного злыми, над разными лицами, бывающими у князя. Сашок от души хохотал.

В те же минуты за дверями залы стоял и приглядывался сквозь щель раскрытой двери старик Кузьмич, и когда кто-то из проходивших дворовых людей спугнул его с места, он ушёл к себе вниз, сел и задумался, а через мгновение выговорил вслух:

– Ах, ракалия! И эта тоже! И хуже той... Что пономари-

ха?! Пономариха – овечка, а эта – волчица!

Кузьмич, конечно, ещё более смутился бы, если бы узнал, что именно Земфира была у них на квартире. Но, увидев её тогда лишь вышедшей из дому, на одну секунду, с головой и лицом, полузакрытыми большим чёрным платком, Кузьмич, конечно, не мог признать в красивой и щёгольски одетой женщине ту цыганку. А Сашок раз двадцать собирался сказать дядьке правду и тоже промолчал.

«Зачем поднимать это всё? Начал молчать, так уж и молчи! – думалось ему. – Она молчит, что была у меня. Зачем была – совсем непонятно!.. Сказать Кузьмичу – он бухнет, пожалуй, дяде, а дядя спросит, зачем я тогда же не сказал, когда увидел её у него».

XII

В числе других лиц, переменившихся к молодому князю после его переезда к дяде, была одна личность, настолько изменившая своё обхождение, что Сашок был даже удивлён. Это была Настасья Григорьевна Малова.

На третий или четвёртый день после того, как он был уже в доме дяди, князь Трубецкой снова послал его к свояченице за табаком. Сашок, как всегда, явился в гостиную и доложил, что князь просит немного табачку. Малова ответила, смеясь:

– Ну, вот теперь я вам табаку и не дам! Присядьте и посидите. А то вы точно в лавку приходите. Возьмёте табак и уйдёте! Это невежливо! Садитесь-ка!

Сашок сел. Малова захлопала в ладоши. На зов явился лакей, и она приказала:

– Если кто приедет, то говори, что я выехала. И это всем говори!

– Слушаю-с! – отозвался лакей.

– Если приедет Павел Максимович или господин Костицкий, то сказывай им то же самое: «Дома нет!» А если Павел Максимович всё-таки соберётся сюда идти меня поджидать, то прикажи Улите быть за дверями в прихожей и бежать сюда меня предупредить. Ну-с, вот, – обратилась Малова к князю, – теперь мы можем с вами сидеть и беседовать! Расскажите мне прежде всего, как это вы с дядюшкой помири-

лись, что он за человек и всё такое. Всё мне выкладывайте. Я любопытница.

Сашок отвечал на расспросы Маловой довольно неохотно, но вместе с тем несказанно дивился тому, что женщина теперь вела себя с ним уже совсем на особый лад.

«Чересчур вольно!» – мысленно определил Сашок.

И действительно, сидя рядом с молодым человеком, Малова в разговоре несколько раз похлопала его по плечу по-товарищески. А затем, говоря, что он хороший человек, вдруг погладила его рукой по лицу, потрепала по обеим щекам, как маленького ребёнка. Наконец, стала гладить по голове.

Сашок угрюмо глядел исподлобья, добился, чтобы получить поскорее табак, которого ждёт князь, и вышел несколько недовольный. Это обращение подействовало на него как-то странно... оскорбительно.

После его ухода Настасья Григорьевна отменила свой приказ – никого не принимать, а сама уселась за вязанье на рогульках и думала: «Обидно, что раньше я не знала. Хотя и знать, вестимо, не могла. Офицер и князь, да без гроша за душой – какая невидаль! А тут вдруг вон что свалилось! У дяди-то, говорят, страшнейшие деньги, а детей нет. А родной-то только этот один. Стало быть, всё его и будет. Да и сейчас, наверное... Да. И сейчас, поди, деньги завелись, каких во сне не снилось ему. Да. Вот кабы я раньше знала. Мало он тут разов был за табаком, а я только один раз всего и приласкала его. Недавно. Да и то сама не знаю зачем. Так

потрафилось. А кабы знать-то вперед!...»

В то же время Сашок, возвращаясь к князю Трубецкому с тавлинкой табаку, угрюмо раздумывал о приёме Маловой.

«Что она? Спятила? – ворчал он. – Как же это, по лицу гладить? Я не ребёночек. А если иное что у неё на уме, то... уж извини... Будь ты Катерина Ивановна. Тогда... И чудно! Одна сестра ругается, а другая чуть целоваться не лезет».

И он глубоко вздохнул.

Офицер снёс князю табак в его рабочую комнату, и старик сказал:

– Спасибо. Ну, нечего тебе зря сидеть в доме. Полагаю, сегодня никто не приедет. Ступай домой.

– Я, князь, отсижу часок. Не важность. Может быть, кто и явится к вам, – ответил ординарец почтительно.

– Нет. Не стоит. Ступай домой.

Молодой человек поблагодарил и вышел.

Но на этот раз ему совсем не посчастливилось. Приближаясь к залу, он уж слышал звонкий, резкий голос княгини. Когда он вошёл в зал и поклонился, княгиня не только не ответила на его поклон, но, взглянув, казалось, не заметила его появления. Перед ней стоял её дворецкий, пожилой и очень тучный человек с кротким лицом.

– Стало быть, переврал? – воскликнула княгиня уже в третий раз.

– Никак нет-с... – ответил дворецкий. – Вы изволили, ваше сиятельство, так сказывать: что ежели князь поедут, то

доложи, а ежели не поедут, не докладдай.

– И переврал, напутал, олух. Зачем же ты теперь лезешь с докладом, коли князь дома?

– Я, ваше сиятельство, думал, что ежели...

– Думал? А? Ты думал? А-а? Ты опять думал?

– Виноват-с... Не думал... Полагал-с.

– Думал?! Что же, я сто лет буду вам всем, чертям, сказывать? Ну, последний, слышишь, последний раз тебе сказываю. Не смей думать! Как ещё от кого об этом услышу, так прямо брить лоб и в солдаты. Слышишь!

– Виноват, Серафима Григорьевна. Я не думал-с. Ей-Богу, не думал-с, Это у меня так с языка стряхнулось. Вы не изволите приказывать думать, так можем ли мы-с, И я, ей-Богу-с, никогда не думаю-с... И теперь не думал-с. Так язык-с...

– Ну пошёл, – мягче произнесла княгиня. – Да опять всем олухам накажи и себе на носу заруби: как только кто будет смей думать, так тому – брить лоб.

Дворецкий вышел из зала, а княгиня, заметя Сашка, выговорила:

– А? Ветер Вихревич. Что скажешь?

– Ничего-с, – отозвался Сашок.

– Немного.

И княгиня, отвернувшись, двинулась по залу, заложив руки за спину, но не вышла, как надеялся Сашок, а, повернувшись, снова зашагала в его сторону. «Пошла отмеривать половицы?» – досадливо подумал он, не зная, уходить или обо-

ждать.

Пройдя два раза, княгиня остановилась против него чуть не вплотную и, глядя сурово прямо в глаза, вымолвила:

– Правда, у твоего дядюшки в любовницах туркова девка?

– Она-с не турка, а молдаванка, – ответил Сашок досадливо.

– Отвечай, что спрашиваю. Есть такая у него в доме?

– Да-с. У дядюшки она уже...

– Что же он, старый хрыч, в его годы соблазн эдакий и срамоту заводит... Сколько ему уже годов-то?

– Пятьдесят, кажись, восемь.

– Слава тебе, Создателю!.. Скоро седьмой десяток, и ещё не напрыгался... Ты бы сказал ему, что срам.

– Не моё это дело, Серафима Григорьевна. В чужие дела мешаться – значит, никакого благоприличия не разумеешь...

– Что? Что? Что? – протянула княгиня, изумляясь дерзости.

– Не моё это дело-с.

– А оно моё?

– Нет-с. И не ваше-с.

– Так как же ты смеешь эдак со мной рассуждать и меня учить? А? Ах ты...

И княгиня прибавила крайне резкое слово.

– Извините-с, – вспыхнул вдруг Сашок. – Когда я был ребёночком, то, может быть, в постельке со мной эдакое при-

ключалось, как оно, к примеру, со всеми малыми детьми бывает. А теперь меня эдак называть нельзя-с.

– А я тебе говорю, что ты...

И княгиня снова произнесла то же слово.

– А я сказываю, что вы ошибаетесь, – заявил Сашок уже резко, а лицо его ярко запылало.

– А коли обидно тебе, скажу инако, повежливее, но выйдет всё то же... Ну – замарашка.

– И не замарашка-с. Извините.

– Ну, вонючка, что ли?

– Другой кто-с. А не я...

– Другой? Кто другой?

– Не знаю-с.

– Кто другой? Говори, грубиян.

Наступило молчание. Княгиня громко и тяжело дышала, сдвигая свои густые чёрные брови. Сашок стоял перед ней, скосив глаза в сторону, и сопел на весь зал.

– Кто другой? Говори, грубиян! Говори! Я эдакого не спущу. Первый попавшийся галчонок будет мне, даме, княгине... Говори!

Сашок молчал и сопел.

– Го-во-ри! – протянула княгиня и на новое молчание вымолвила тихо: – Так я – вонючка-то... А-а?.. Я дама и княгиня Трубецкая. Супруга генерал-аншефа... Ну так ради памяти... Неравно это слово своё забудешь... Получи.

И звонкая пощёчина огласила зал.

Сашок бросился на женщину, ухватил её за ворот капота и не знал – что с ней сделать?! Не бить же?! И он начал трясти княгиню. Ситец капота треснул, а здоровый удар кулака в грудь чуть не опрокинул его на пол. Он отскочил и побежал из зала.

XIII

Сашок не помнил, как он вышел, вернее, вылетел турманом из дома Трубецких. Он бросился даже сам во двор, вместо того чтобы послать лакея, и, выхватив свою лошадь из рук конюха, вскочил в седло и пустился вскачь.

Дорогой, на скаку, он почувствовал что-то особенное на лице... Он не заметил и теперь только догадался, что волнение, досада и гнев заставили его заплакать. Глаза были влажны, а щёки мокры.

Прискакав домой, он не пошёл к себе, а прямо бросился, чуть не бегом, по лестнице наверх к дяде.

Князь был у себя, читал книгу, но при появлении племянника бросил её и удивлённо выговорил, почти ахнул:

– Что ты? Что приключилось?

Лицо и вся фигура молодого человека заставили его задать этот вопрос.

Сашок кратко и резко, с отчаяньем, звучавшим в голосе, рассказал всё...

– Ах, блажная! – воскликнул князь. – Что же это? Вот что значит муж колпак. Волю бабе даёт, она и блажит.

Встав и пройдясь по комнате, князь прибавил:

– Ну и сиди дома. Не езд больше. А я займусь и в несколько дней всё устрою.

– Что, собственно, дядюшка?

– Устрою всё. Найду тебе должность. Другую. А к Трубецким ни ногой больше. А встречу я где эту блажню бабу, то всё ей выговорю, хоть бы при всей Москве.

– Трудно, дяденька, найти таковую же должность. Особливо в Москве.

– Пустое. Уж если князь Козельский своего племянника, тоже князя Козельского, не сможет пристроить, так тогда конец свету. Авось у меня найдётся «рука».

И в этот же день вечером князь сказал племяннику, стряпая, по обыкновению, своё питьё из рома и лимонада на горячей воде.

– Надумал я, Александр Никитич. Надумал диво дивное. Не пойму, как мне это раньше в голову не пришло. Затмение какое-то нашло. У меня «рука» при дворе, но не сановник и даже не лакей. А при дворе. И увидишь, что я тебя живо пристрою к кому-нибудь, кто будет не хуже генерала-аншефа Трубецкого и драчуньи генеральши-аншефихи. Эта твоя аншефиха известна на всю Москву. Сказывают, что она супруга наказывает розгами.

– Что вы, дяденька! – ахнул Сашок.

– Сказывают... А ты знай, что не всё то есть, что можно почесть. Почитали люди долго, что солнце ходит, а земля стоит. И что она, наша матушка-кормилица, – вот так, что доска с краями. И говорят по сию пору... Солнце-де всходит или зашло... А надо бы сказывать: земля подошла, земля отходит... Сказывается: на край света. А края сего нет и не бы-

ло. Не понял? Не веришь. Ну, наплевать. И не надо!

И князь рассмеялся звонко и отпустил Сашка спать.

Князь Александр Алексеевич был прав, сказывая, что у него найдётся «рука» – не сановник, не вельможа и даже не придворный лакей. Загадка объяснялась просто: «рука» была не мужчина, а женщина.

Лет пять назад князь познакомился случайно в Петербурге с Марьей Саввишной Перекусихиной. Тогда женщина эта не имела никакого влияния ни в городе, ни при дворе. Императрица и наследник престола её даже недолюбливали, а любившая её великая княгиня сама была временно как бы в опале у царицы за открытие неосторожного деяния – переписки с графом Бестужевым.

Князю понравилась умная Перекусихина. Он без всякой задней мысли пожелал сблизиться с ней, несколько раз побывал у неё в гостях, и вместе говорили они о трудном положении великой княгини. Однажды он узнал из слов Перекусихиной, что она ищет в Петербурге небольшую сумму денег для великой княгини, а банкиры отказывают дать что-либо, боясь огласки и гнева императрицы. Поэтому она находится в большом затруднении. Князь добродушно тотчас же предложил эти деньги – всего пять тысяч.

Перекусихина заявила, что если дело пойдёт ещё хуже, наступит настоящее гонение на великую княгиню, то ей, пожалуй, придётся уезжать к матери. Всё может случиться! Сам Пётр Фёдорович может лишиться наследия престола. И то-

гда деньги князя пропадут.

– Ну и Бог с ними! – сказал Козельский. – А всё-таки сделайте мне честь и удовольствие – примите.

Вскоре, выехав из Петербурга, князь не видел более Перекусихиной и забыл, конечно, о маленькой для него сумме, которую дал. Узнав о воцарении императора Петра III, он узнал, как и все россияне, что положение государыни Екатерины Алексеевны стало ещё хуже, чем было при покойной царице.

Затем, узнав и ахнув, как и вся Россия, о вступлении на престол новой императрицы, князь Козельский вспомнил о своём знакомстве с Перекусихиной и сообразил, что совершенно случайно, без всякого лукавого повода, оказал маленькое одолжение нежданной никем императрице. Князь понял, что если Перекусихина посудит это дело так, как следует, то у него вдруг явится сильное покровительство во всяком деле.

«А кого предпочесть, – рассуждал князь сам с собой, – тех ли, что с вами хороши и добры, когда вам плохо, или тех, которые могут лебезить и свои чувства излагать, когда хорошо и без них?»

С тех пор как государыня переехала в Петровское, князь Александр Алексеевич стал собираться в гости к Перекусихиной, но всё откладывал свой визит, не зная, как поступить. Прямо ли ехать запросто, как прежде к частному лицу, или же отнести теперь к Перекусихиной как к придворному че-

ловеку и явиться официально, испросив на это заранее разрешение?

Явился серьёзный мотив не откладывать своего визита, и князь решил дело просто. Он отправил в Петровское племянника, чтобы он доложил о себе горничной Перекусихиной, а ту послал попросить на словах разрешения быть самому князю-дяде.

Если бы приходилось явиться к самой Перекусихиной, Сашок, конечно, струсил бы...

– Ну а горничная – всё-таки горничная, хоть и во дворце! – рассудил он.

XIV

Однако вышло иное...

Сашок съездил и вернулся важный, радостный, с хорошей вестью. Перекусихина сама приняла его, незнакомого ей молодого офицера, так ласково, так обрадовалась, что князь Александр Алексеевич в Москве и желает её видеть, что Сашок совсем не конфузился. И конечно, по всему вероятно, она примет князя как настоящего приятеля.

На другой же день, около полудня, как было ему назначено, князь явился в Петровское. Он был тотчас же принят Перекусихиной, и умная, тонкая женщина, усадив его, спросила прежде всего:

– Чем мне вас угощать?

– Помилуйте, Марья Саввишна, я не за тем! Я явиться... – начал князь.

– Полно, полно! Не могу я вас так принимать, как других. Нужно какое-либо отличие. Будем мы этак беседовать, выйдет какая-то аудиенция. А мы ведь с вами – старые приятели. Ну, давайте кофе пить!

И она приказала тотчас же горничной кофе сварить самой.

– Не на кухне. А сама...

– Слушаю-с.

– Знаешь, какой? Тот самый, что я для государыни варю – гамбургский! У меня не простой гость сидит, – показала она

на князя, – а мой давнишний, хороший друг.

Князь, конечно, понял, что всё это было сказано горничной умышленно, чтобы окончательно убедить его, как относиться к нему женщина.

– Ну, князь, а денежки свои ты всё-таки малость обожди! – сказала Перекусихина тотчас же.

– Что вы! Что вы! – привскочил Козельский. – Да и помнить не можете об этом! Отсохни мои руки, если я эти гроши назад получу!

– Что вы? Как можно!

– Да так! Ни за что не возьму! Что хотите делайте! Хоть в крепость меня пускай посадят, а я эти деньги назад не возьму. Сами вы знаете, Марья Саввишна, что при моём достоянии такие деньги – совсем маленькие.

– Не в том дело, князь, а всё-таки они были взяты взаймы...

– И говорить об этом не хочу! Ни за что на свете их не возьму!

– Как знаете. Тогда я должна доложить...

– Вы меня обижаете, думая, что я за этим приехал к вам. Я приехал, просто желая вас видеть, поздравить и порадоваться, что обожаемая вами особа стала российской императрицей. Да ещё как! Спасла отечество, веру. Спасла всех нас, россиян, от больших бед! Небось, как теперь счастлива государыня от достижения святой цели!

– Ох, князь, ошибаетесь вы! – печально ответила Переку-

сихина. – Если бы вы видели мою горемычную государыню! Нет человека на свете более несчастного.

– Что вы? – изумился Козельский.

– Да, князь! Хорошо так вчуже судить, заглазно, а если бы все знали, каково положение государыни? Другому кому я бы так сказывать не стала... Но вам, моему старому доброму приятелю, я прямо говорю: положение наше ужаснейшее. Я сказываю «наше», потому что всё, что касается государыни, касается и меня. Улыбнётся она – и я счастлива. Заплачет она – и я несчастнее самых несчастных. А положение поистине мудрёное. Такое мудрёное, что ум за разум заходит...

– Да что же такое? – спросил князь, продолжая изумлённо глядеть в лицо женщины.

– Да как вам сказать? Коротко скажу. Кругом одни козни, одни враги... Вороги лютые!

– Кто?

– Да все!

– Да как все, Марья Саввишна?

– Да все! Как есть все! Начать пересчитывать, так и конца не будет...

– Да назовите хоть кого-нибудь... А то я и понять не могу.

– Извольте. Злокознят на мою бедную государыню самые близкие: господа Орловы, граф Воронцов, Бестужев, княгиня Дашкова, Теплов, Бецкой... Хотите, ещё кого назову? Могу ещё много народу назвать! А пуще всех заедает её злая собака... Ну, тьфу! Обмолвилась я... Да с вами можно! Вы

меня не выдадите. Да прямо скажу: именно злая собака!

– Кто же такой?

– Между нами, князь! Под великим секретом... Я привыкла с вами не скрытничать.

– Конечно! Конечно! Помилуйте! Неужто вы ко мне веры не имеете теперь. Вспомните только... – воскликнул весело князь. – Вспомните, какие мы беседы вели когда-то в Петербурге. Такие, за которые мог я тогда в крепость попасть.

– Да и я тоже, ещё скорее вас, – улыбнулась Перекусихина, оживляясь на мгновение, и прибавила тише: – Ну-с, вот. Пуще всех одолевает государыню Никита Иванович Панин.

– Каким образом?

– Да просто! Вы его знаете?

– Знаю! И достаточно!

– Знаете, что он человек, коего честолюбию нет предела?

– Это верно!

– Ещё при покойной императрице он надеялся стать скорей властным человеком, да Шуваловы удалили его и так ли, сяк ли заставили его просидеть в Швеции. Сделавшись воспитателем государя наследника, он, конечно, снова возомнил о себе... А теперь, когда вступила на престол государыня, он совсем разум потерял, прожигаемый своим честолюбием. И сказывать, князь, нельзя, что он измыслил! Боюсь я говорить...

– Полноте, Марья Саввишна, мне это недоверие ваше даже обидно. Не то было прежде... – сказал князь с упрёком.

– Извольте! Неужели вы не слышали, что он при отречении Петра Фёдоровича измыслил со своей партией, с главным своим орудователем – Тепловым немедленно объявить императором юного Павла Петровича, государыню – простой правительницей, а себя тоже правителем. И стало быть, до совершеннолетия великого князя он стал бы править всей Россией самовластно, как регент. Так же, как когда-то правил Бирон, если не с той же злобой, то с той же властью. И вот эти его ухищрения государыня тогда одолела. Помогли много, правду надо сказать, Орловы со своими ближними. Ну вот теперь Никита Иванович новое и затеял. Одно не выгорело, он за другое схватился, и такое же – не меньшее.

– Да что же, собственно? – крайне удивляясь, спросил Козельский.

– Да неужели в Москве ничего не слышно об этом?

– Может быть, и слышно, Марья Саввишна, да до меня не дошло! – схитрил князь.

– Ну, так я вам скажу. Никита Иванович желает, мало сказать, прямо-таки требует, чтобы государыня тотчас после коронации объявила манифестом об учреждении Верховного Совета, состоящего из пяти лиц, и, конечно, в сём Совете главным лицом будет...

Перекусихина запнулась и смолкла, так как горничная вошла с подносом, где дымился кофе... Когда она поставила его пред князем и вышла, Перекусихина заговорила тише:

– Главным заправилой и коноводом будет, конечно, сам

граф Панин. И будет этот Совет императорский управлять всей империей.

– Станет он, стало быть, – спросил князь, – выше сената?

– Ещё бы! Гораздо выше! Да что лукавить. Понятно, что это за Совет! И вы сами понимаете. Сии императорские советники станут выше самой императрицы! Никита Иванович почти и не скрывает, что советники императорские будут решать дела и докладывать императрице не для решения, а для обсуждения якобы и подписания.

– Ну, не ожидал! – воскликнул князь. – Однако стоит ли государыне тревожиться и озабочиваться этим? Сказать Никите Ивановичу, чтобы он очухался, сидел смирно – и конец! Ну а другие-то что же? – прибавил князь. – Почему тоже вороги лютые?

– Другие-то? Всякий со своим! Братья Орловы недовольны, что одна их затея не ладится. А затея такая, что я и вам сказать не решаюсь. Княгиня Дашкова недовольна, что государыня не призывает её ежедневно на совет, как какие государственные дела решать, и на всех перекрёстках кричит, что она одна предоставила государыне российский престол, что без неё ничего бы не было, всё бы рухнуло и государыня была бы в заточении, а не императрицей, а государь был бы женат на её сестре, Воронцовой. Бестужев из себя выходит, а когда под хмельком, то на стену лезет – желает быть опять и скорее канцлером. Да и все-то, кого ни возьмите, все недовольны, все ропшут, всякий просит своего. Да и грозитя.

Вот это обидно!

– Грозится?! – повторил князь. – Да я бы за эдакое... В Пельмь! В Берёзов!

– Да, князь, грозитя всякий чем-нибудь. Иван Иванович Шувалов открыто сказывал, тому с месяц, что по закону, да и по совести настоящий наследник престола Иван Антонович.

– Ах, разбойники! – воскликнул князь. – Прямо разбой. Бунт! В Пельмь! А то пусть вспомнят Артемия Петровича Волынского.

– Да и этого всего-мало. Одну из главных забот государыни я позабыла, – продолжала Перекусихина. – Всё российское духовенство...

– Требуется возвращения отобранного имущества? – спросил князь.

– Конечно!

Князь не ответил и потупился.

– Что молчите?

– Да как бы вам сказать, Марья Саввишна. Молчу потому, что, воля ваша, а я сей государственной меры не полагаю справедливой. Нельзя духовенство большой империи пустить по миру и заставить жить впроголодь. Нельзя делать не только из митрополита, а даже из простого приходского священника простого наёмника, приравнять его якобы к какому знахарю, что ли: пришёл, дело своё справил – и вот тебе в руку гривну-две. Этим и живи! Доходы духовных лиц должны были быть оставлены. Эта государская мера была

вреднейшая. Недовольство всего российского духовенства я прямо оправдываю. Не гневайтесь на меня!

– Дорогой мой князь, – воскликнула Перекусихина, – что же вы скажете, если я вам открою, что государыня говорит то же, что и вы! Чуть ли не самыми этими словами. Да сделать-то ничего нельзя! Нельзя вернуть имущество, когда оно уже раздарено, раскуплено, принадлежит другим лицам. А главное: знаете ли вы, что будет, если монастырские бывшие крестьяне снова попадут в крепость, из которой избавили их? Крепость, которая была для них особенно нежелательна и противна, зависит от монахов, а не от дворян! Как вы полагаете, если снова все эти сотни и тысячи приписать опять к монастырям, что будет? Бунт будет! Появится новый Стенька Разин на Руси! Думали ли вы об этом?

– Да, правда. Дело мудрёное! Это вот забота пушкая, чем разные мечтанья Шуваловых или Паниных.

– Ну а иностранные дела, князь, в каком они виде? В заморских землях ничего, думаете, не делают, никаких подкопов не ведут? Даже прусский король, любивший Петра Фёдоровича, как бы какого любимого сына, – и тот клятву дал прямо стараться лишить государыню престола.

– На это, Марья Саввишна, руки коротки!

– В такие смутные времена, которые мы переживаем в Москве, всё, князь, возможно! Всякие короткие руки длинные!

Дав Перекусихиной высказаться, князь, разумеется, заго-

ворил о своём деле. Но он не стал просить Марью Саввишну помочь, а очень искусно объяснил, что у всякого своё горе, свои заботы. И вот у него, князя, новая забота, где деньгами не поможешь. Племянник, офицер-измайловец, князь Козельский, такой же, как и он. И приходится покидать место ординарца, а другого нет.

– Ну это всё пустое, князь, – улыбнулась Перекусихина. – Я счастлива буду вам в пустыках услужить. Румянцев покинул командование армией в Пруссии и приезжает поклониться новой царице. На днях будет здесь. И вот я ему словечко скажу... И будет ваш племянник на видном месте, а не у Трубецкого.

– Ну, спасибо вам, дорогая Марья Саввишна, – воскликнул князь. – А я сейчас прямо от вас еду к Никите Ивановичу и буду... как это по французской пословице... Буду у него из носу червей таскать... Выведаю всё, что мне нужно... А нужно мне, чтобы действовать. Вернее, чтобы горланить по Москве. Горланить иногда как бывает хорошо и полезно, если горланишь умно и хитро.

XV

Важной особой благодаря уму, тонкости и хитрости был Никита Иванович Панин в эти смутные дни начинающегося третьего месяца царствования новой императрицы, которую закон коренной и естественный допускал, разумеется, быть лишь правительницей за малолетнего сына, а не монархом. Всё натворило смелое, отважное, ловко задуманное и лихо произведённое питерское «действие» гвардии с Орловыми во главе.

– На бунтовщицье лихое действие есть постепенное, скромное, но твёрдо неукоснительное воздействие законом, – рассуждал Панин, стараясь теперь из монархини сделать регентшу *de facto*.

Приехав к Панину, князь нашёл его в радостном настроении духа. Он, видимо, старался если не скрыть, то хотя бы смягчить своё почти восторженное состояние души. В глаза бросалось, что с ним что-то случилось особенное, сделавшее его счастливым.

Князь не мог промолчать и выговорил:

– Полагаю, что есть что-либо новое и вам приятное.

– Да... да... Воистину приятное, – заявил Панин. – Радуюсь. Счастлив. Но не за себя, а за отечество. За империю.

– Вон как! – удивился князь. – Полный и конечный мир с пруссаками заключён?

– Нет... Это что... Лучше того... На короля Фридриха мы можем теперь рассчитывать... Есть нечто важнейшее, благодетельнейшее не для внешних, а для внутренних дел.

– Для внутренних? – удивился князь очень искусно.

– Да. Я не могу вам сказать всего... Это государственная тайна. Скажу только, что я подал государыне прожект нового важнейшего учреждения, главнейшего в империи. Ну вот, государыня мне сегодня передала, что одобряет сей прожект и не замедлит поведать о нём во всенародное сведение. Но что такое именно, я не могу вам сказать.

– Я вам скажу, Никита Иванович.

– Вы? Полноте. Что вы! Это известно лишь государыне, мне, сочинителю прожекта, да разве ещё двум персонам, графу Алексею Григорьевичу Разумовскому да будущему графу Григорию Григорьевичу, конечно...

– А от него, Орлова, с братьями и всей Москве.

– Что вы?! – изумился Панин.

– Верно. Я всё-таки больше москвич, чем вы, и знаю больше. Поверьте, что всякое и важное и пустое, доходящее до дома будущих графов, тотчас расходится по всей столице.

– Это горестно, князь...

– Конечно.

– Но, право, я думаю – вы ошибаетесь... Ну, скажите, про что я, собственно, говорю. Коли правда, я признаюсь вам.

– Вы сказываете о новом учреждении при царице. Властном, высоком, которому и именованье будет: «верховный»,

и ещё другое именование: «тайный».

– Да! – тихо вымолвил Панин. – Да.

– Вот видите. Москва знает и уже пересуживает на свой салтык.

– Что же она говорит?

Князь внутренне рассмеялся тому, что собирался ответить или выпалить, так как Панин, очевидно, судя по их разговору, считает его в числе своих сообщников.

– Ну-с, что же она говорит?

– Москва-то, Никита Иваныч?

– Да.

– Она говорит – дудки!

– Как?

– Дудки! Вам известно оное выражение российское?

– Известно, князь, – сумрачно ответил Панин, – Но я его не понимаю хорошо в сём случае, о коем речь у нас.

– Москва Московна, старушенция, – заговорил князь другим голосом, – привыкла жить по-Божьи. Не может судить старуха всякое обстоятельство, как судит мальчугашка, у коего ещё и пушка на губах нет и которому по молодости лет всё простительно. Простительно и легкосердечие, и легкомыслие. На то он и мальчугашка.

– Про кого вы говорите, князь?

– Про Петербург, Никита Иваныч, которому только шестьдесят лет. А это для города, да ещё для столицы, то же, что для человека младенчество.

Наступило молчание, после которого Панин выговорил:

– Тут дело не в столицах – в Петербурге те же русские люди и те же сыны отечества.

– Однако многое, что творится в Питере и кажется хорошим, даже нарядным, Москве кажется совсем негодным. Вот Москва теперь и сказывает, что коли Россия пережила одного Бирона, то зачем же ей наживать снова временщика с царской властью и без царской ответственности пред Богом. Москва говорит: пускай царь или царица хоть и худо в чём поступит, да это худо будет царское худо, помазанника Божия! И как таковое, пожалуй, оно окажется лучше проходимцева добра. Вот ваше учреждение совета, который будет править и царицей, Москве и не по душе.

– Не царицей, князь, а империей. В облегчение забот и трудов царских...

– Ох, Никита Иваныч! – закачал князь головой. – Облегчение?! Слово придумано удивительное. У нас по дорогам обозы вот грабят... Зло великое для торговли и неискоренимое. Купец говорит, вздыхая: «Опять обоз у меня в пути облегчили».

Панин насупился и не отвечал ни слова.

«Ну, отвёл душу?» – подумал князь и тотчас же стал прощаться.

И затем целый день до вечера и весь следующий день князь разъезжал по Москве, по друзьям и знакомым, и на все лады осуждал «надменномыслие» пестуна цесаревича.

Через два дня разговор князя Козельского с Паниным был уже известен Перекусихиной. Сам князь снова съездил к любимице государыни и передал всё подробно. Он прибавил, что уже два дня всюду «горланит» такое же. И всюду его «громогласное насмехание» над прожектом Панина встречает общее сочувствие.

И это была истинная правда. Москва дворянская ахнула при известии о том, что будет пять, а кто говорит, и восемь верховных правителей, якобы советников монархини, которые будут «некоторое происхождение дел» решать и вершить, даже не докладывая о них государыне, чтобы «облегчить» её труд. Но Москва даже не встревожилась, даже не сердилась. Она, матушка, «золотая голова», только смеялась и ради смеха спрашивала:

– Кто же такие эти будущие верховные, тайные правители? Коли бедные, то будут скоро богаты... только не разумом!

По совету той же Перекусихиной князь собрался к фельд-маршалу Разумовскому.

– Ступайте, князь... – сказала она. – Ступайте и передайте графу Алексею Григорьевичу от меня поклон нижайший и прибавьте: Марья Саввишна приказала-де вам сказать, что если у вас имеется теперь любопытное писание гордого сочинителя, то покажите-де его мне, князю. Вместе посмеёмся, да смеясь и рассудим, так как оба здравосуды, а не кривотолки.

Князь понял, в чём дело, и рассмеялся. И он тотчас же отправился к Разумовскому, с которым был почти в дружеских отношениях.

Фельдмаршал граф Разумовский, переехавший в Москву тотчас по смерти Елизаветы Петровны, решил сделаться совсем москвичом.

Всесильному вельможе и любимцу покойной императрицы было почти невозможно оставаться на берегах Невы и быть свидетелем правления нового императора и быстрого возвышения новых людей.

Во время краткого полугодичного царствования Петра III он ясно видел, что оставаться при дворе для него отчасти даже опасно. Он рисковал ежедневно навлечь на себя беспричинный гнев прихотливого и капризного государя и вдруг лишиться всего... Опала вельмож и конфискация новым правительством имуществ, их вотчин и капиталов, жалованных предшествующими монархами, бывали в Петербурге сплошь да рядом и вошли как бы в обычай.

Однако при воцарении Екатерины обоим братьям Разумовским, фельдмаршалу и гетману, сразу стало легче, государыня особенно милостиво отнеслась к обоим, но кто мог ручаться за будущее? Да и само положение новой царицы казалось очень многим опытным людям ненадёжным и шатким. А претендентов на престол, однако, не было. О принце Иоанне Антоновиче могли толковать люди, только совершенно незнакомые с его положением, с его умственным со-

стоянием, а законный наследник Петра III был ещё ребёнком. И многие испугались, и Разумовские в том числе, учреждения императорского совета, которое умные и сильные люди возомнили и упорно захотели вырвать из рук царицы, ещё не чувствующей под собой твёрдой почвы.

Это учреждение должно было прямо передать власть в руки нескольких человек, что стало бы опасно, даже пагубно для многих из прежних сильных вельмож. Два-три врага в этом императорском Верховном совете могли бы если не сослать, хоть тех же Разумовских, в ссылку, то сделать нищими, конфисковать всё пожалованное им Елизаветой, хоть в свою же пользу.

В начале царствования новой императрицы уже повторилось много раз виденное в Петербурге, хотя на этот раз более справедливое. Тотчас после её воцарения у любимца Петра III, Гудовича, было конфисковано всё подаренное ему государем огромное состояние.

Как легко дарились поместья и даже целые города с феодальными правами всяких сборов и налогов, так же легко и отнимались. За всё первое полу столетие это было обычным явлением.

Младший Разумовский, гетман Малороссии, Кирилл Григорьевич, был смелее брата и ещё мечтал о службе, о почестях и даже дошёл до того, что стал просить государыню сделать гетманство наследственным в его роду. Но это должно было только послужить поводом к окончательному уничто-

жению гетманства.

Фельдмаршал, наоборот, ничего не желал, кроме спокойствия, безопасности и совершенного забвения его личности правительством.

Граф Алексей Григорьевич перебрался из Петербурга со всем имуществом и со всем скарбом на несколько сот тысяч. Москва и прежде была ему более по душе, чем Петербург, а теперь и подавно, когда не было уже на свете женщины, сделавшей его из простого казака графом и фельдмаршалом, и даже супругом, как утверждала молва.

Москва, конечно, обрадовалась новому именитому обывателю, богачу и хлебосолу, доброму, радушному, которого давно знала и очень уважала.

Теперь, в дни коронационных празднеств, Алексей Григорьевич жил не в гостях у Москвы, временно, как другие петербуржцы, а у себя дома, в обстановке, которая москвичам была ещё диковиной своей причудливой роскошью и пестротой. Обилие дорогой мебели, ценной бронзы и чудных картин было ещё необычным явлением в больших дворянских домах Москвы. До сих пор славилась богачи простором домов и комнат, наполовину пустых. Но зато всякий озабочивался, чтобы «дом был красен не углами, а пирогами».

XVI

Граф-фельдмаршал принял князя, как всегда, радушно, но, узнав о поклоне и словах Перекусихиной, задумался.

– Что же? – сказал он, помолчав. – Прямого указания самой государыни вы мне, князь, не привезли. Но Марья Савишна знает, что делает. Извольте, я вам прочту писание, которое царица соизволила мне дать на обсуждение.

И граф достал из потайного ящика письменного стола тетрадь.

– Позвольте мне не утруждать себя и вас прочтением всего писания, а прочесть только существенное, касательное этого учреждения... Скажу – верховного вершителя судеб россиян, купно с самим монархом. При избрании царицы Анны было тоже посягательство вольнодумцев. Но было всё тогда прямодушно, открыто сказано и сделано, а затем открыто похерено... А это – лисье сочинительство...

Граф перелистал страницы тетради и, найдя мотивировку и объяснение Верховного совета, начал читать вполголоса, хотя двери были заперты.

«Сенат имеет под управлением все коллегии, канцелярии, конторы, яко центр, у которого всё стекается, но он под государевой державной властью не может иметь права законодателя, а управляет по предписанным законам и уставам, которые изданы в разные времена, и может быть, по большей

части в наименее вредительнейшие, то есть тогда, когда при настоянии случая, что востребовалось. Следовательно, какие бы предписания сенат ни имел о попечении, чтобы натуральная перемена времён, обстоятельств и вещей всегда была обращена в пользу государственную, ему, в рассуждение его существенного основания, невозможно сего исполнить, ибо его первое правило – наблюдать течение дел».

«Сенатор и всякий другой судья приезжает в заседание так, как гость на обед, который ещё не знает не токмо вкуса кушания, но и блюд, коими будет потчеван. Из сего само собою заключается, что главное, истинное и общее о всём государстве попечение замыкается в персоне государевой. Она же никак иначе полезное действие произвести не может, как разумным разделением между некоторым малым числом избранных к тому единственно персон».

«Взяв эпоху царствования императрицы Елизаветы Петровны: князь Трубецкой тогда первую часть своего прокурорства производил по дворянскому фавору, как случайный человек, следовательно, не законы и порядок наблюдал, но всё мог, всё делал и, если осмелиться сказать, всё прихотливо развращал, а потом сам стал угодником фаворитов и «припадочных» людей. Сей эпох заслуживает особое примечание: в нём всё было жертвовано настоящему времени, хотениям «припадочных» людей и всяким посторонним малым приключениям в делах».

«Образ восшествия на престол покойной императрицы

требовал её разумной политики, чтоб, хотя сначала, сообразоваться сколько возможно с неоконченными уставами правления великого её родителя, вследствие чего тотчас был истреблён учреждённый до того во всей государственной форме кабинет, который, особливо когда Бирон упал, принял было такую форму, которая могла произвести государево общее обо всём попечение. Её Величество вспомнила, что у её отца-государя был домовый кабинет, из которого, кроме партикулярных приказаний, ордеров и писем, ничего не выходило, приказала и у себя такой же учредить».

«Тогдашние случайные и «припадочные» люди воспользовались сим «домашним местом» для своих прихотей и собственных видов и поставили средством оною всегда злоключительный общему благу интервал между государя и правительства. Они, временщики и куртизаны, сделали в нём, яко в безгласном и никакого образа государственного не имеющем месте, гнездо всем своим прихотям, чем оно претворилось в самый вредный источник не токмо государству, но и самому государю. Вредное государству, потому что стали из него выходить все сюрпризы и обманы, развращающие государственное правосудие, его уставы, его порядок и его пользу под формою именных указов и повелений во все места».

«В таком положении государство оставалось подлинно без общего государского попечения с течением только обыкновенных дел по одним указам всякого сорта. Государь был отдалён от правительства. Прихотливые и «припадочные» лю-

ди пользовались кабинетом, развращали форму и порядок и хватали отовсюду в него дела на бесконечную нерешимость пристрастными из него указами и повелениями».

«Между тем большие и случайные господа пределов не имели своим стремлениям и дальним видам, государственные оставались без призрения; всё было смешано; все важнейшие должности и службы претворены были в ранги и в награждения любимцев и угодников; везде «фовер» и старшинство людей определяло; не было выбору способности и достоинству. Каждый по произволу и по кредиту дворских интриг хватал и присваивал себе государственные дела, как кто которыми думал удобнее своего завистника истребить или с другим против третьего соединиться»...

XVII

– Ну прямо было царство Шемяки, а не Лизавет Петровны! – воскликнул князь, прерывая чтение.

– Да. Что вы скажете? – вымолвил граф, опуская на колени бумагу. – Ну а словечко «припадочные люди»?

– Это не всё? – спросил князь.

– Нет. Дозвольте ещё чуточку прочесть. А вы мне теперь скажите, вот это как вам кажется?

– Трудно отвечать, Алексей Григорьевич. По-моему, совсем что-то такое невозможное... Слушаешь – и ушам не веришь!

– Вот и я так-то говорю, Александр Алексеевич. А государыня мне вчера сказывала, что некоторые лица говорили ей, что удивляются этому писанию. А другие лица докладывали ей, что сие писание прямо продерзостное и что от этакого, если бы оно состоялось, будет истинный переполох во всей Российской империи. А одна особа, которую государыня не пожелала мне пока назвать, прочитавши это писание, так выразилась, что это-де, ваше императорское величество, хитроумнейшее, злокозненное сочинительство и писатель оно-го прожекта тщится всё сие оборотом представить.

– Не совсем я понимаю! – отозвался князь.

– А вот слушайте! Эта особа выразилась, что писатель, а вам известно, кто он, под видом облегчения трудов монар-

ха, желает, собственно, учреждения того, что в древности у греческого народа прозывалось олигархией. Слово сие государыня мне повторила два раза, я его записал, а поэтому не ошибаюсь, а значит оно – главенство нескольких человек над самим монархом. И вот сие, воочию видимое, ясное в сём описании, граф Панин отрицает. Он всё повторяет одно – облегчение трудов монарха и облегчение текущих государских дел от «припадочных людей». Вы заметили, сколько раз повторяется сие выражение «припадочные люди»?

Князь покачал головой.

– Слово глупое! – сказал он.

– Как же не глупое? – вдруг взволновался Разумовский и встал с кресла. – Позвольте спросить вас, человека прямодушного, кто, к примеру сказать, припадочный человек?

Князь улыбнулся и невольно опустил глаза.

– Да ну, полно, прямая душа, говорите!

– Понятно, вы, граф!

– Ну вот! И что же сказать? За всё то царствование блаженной памяти в Бозе почившей государыни... – и Разумовский перекрестился, – за всё то время сделал ли я хоть что-либо такое, как сей писатель тут размазывает? А помимо меня, кто же что такого особенного, лихого и худого натворил? Граф Шувалов, правда, нажил косвенным путём, откупам, страшные деньги, но разве от этого империя Российская пошатнулась? Да и не в том дело. А не говори так, не пиши в прожекте, подаваемом самой царице, этакое слова каса-

тельно её покойной тётушки и благодетельницы. Государыня, передав мне это писание, собственноручно изволила пометить и якобы указать: погляди, мол, какое словечко: «припадочные люди».

– Да, слово худое! – улыбнулся князь. – И при этом скажу – счастливое слово...

– Как счастливое?! – ахнул Разумовский.

– Да, Алексей Григорьевич, слово счастливое, потому что оно немало испортило весь прожект, разгневав государыню.

И он рассмеялся.

– Да, это точно! – улыбнулся Разумовский. – В этом смысле слово счастливое, что оно прожекту несчастье приносит. Теперь послушайте далее, дорогой князь, и подивитесь. Вы спрашивали, почему государыня передаёт сие писание на чтение и обсуждение, прося сохранения тайны? Ну вот сейчас вы узнаете почему. Наш господин сочинитель, Никита Иванович, прямо сказывает... Государыня, которой надо такой прожект монаршей властью превратить в учреждение всероссийское, не должна о нём ни с кем советоваться. Чтобы никому не было известно. А то, извольте видеть, произойдёт смятение. Но и этого мало... Сейчас услышите! Тут ещё такой один сладкий пирожок на закуску, что удивляться надо продерзости господина Панина. Он кончает своё сочинение прямо-таки угрозой.

– Тоже угрозой?! – вскрикнул князь.

– Да-с! Как ни верти, прямо грозительство; что если госу-

дарыня не подпишет и не узаконит учреждения Верховного совета, то будет возмущение и заговор нескольких сильных придворных лиц. Да что болтать, послушайте далее.

И граф снова начал читать:

«Нужно было тогда собрать в одно раскиданные части, составляющие государство и его правление. Сделали конференцию, монстр ни на что не похожий. Не было в ней уже ничего учреждённого, следовательно, всё безответственное, и, схватя у государя закон, чтоб по рескриптам, за подписанием конференции, везде исполняли, отлучили государя от всех дел, следовательно, и от сведения всего их производства. Фаворит остался душою, животворящею и умертвляющею государство; он, ветром и непостоянством погружён, не трудясь тут, производил одни свои прихоти; работу же и попечение отдал в другие руки.

Сей под видом управления канцелярского порядка, которого тут не было, исполнял существительную роль первого министра, был правителем самих министров, избирал и сочинял дела по самохотению, заставлял министров оные подписывать, употребляя к тому или имя государево, или под маскою его воли желания фаворитов.

Таково истинное существо формы или, лучше сказать, её недостатки в нашем правительстве. Наш сапожный мастер не мешает подмастерью с работником и нанимает каждого к своему званию. А мне, напротив того, случилось слышать у престола государева от людей, его окружающих, пословицу

льстивую за штатское правило: «была бы милость, всякова на всё станет.

Спасительно нашему претерпевшему отечеству материнское намерение В. И. В-ства, чтобы Богом и народом вручённое вам право самодержавства употребить с полною властью к основанию и утверждению формы и порядка в правительстве. Во исполнение всевысочайшего В. И. В-ства повеления я всеподданнейше здесь подношу о том прожект в форме акта на подписанье Вашему Величеству.

Осмелюсь себя ласкать надеждой, что в сём прожекте устанавливаемое формою государственною верховное место лежисляции или законодания, из которого, яко от единого государя и из единого места, истекать будет собственное монаршее изволение – оградить самодержавную власть от скрытых иногда похитителей оной. Впрочем, я должен с подобострастием приметить, что есть, как вам известно, между нами такие особы, которым, для известных и им особливых видов и резонов, противно такое новое распоряжение в правительстве. И потому невозможно В. И. В-ству почесть совсем оконченным к пользе народной единое ваше всевысочайшее соизволение на сей ли предложенный прожект или на что другое, но требует ещё оно вашего монаршего попечения её целомудренной твёрдости, чтоб совет В. И. В-ства взял тотчас свою форму и приведён бы был в течение, ибо почти невозможно сомневаться, чтобы при самом начале те особы не старались изыскивать трудностей к остановке всего

или, по последней мере, к обращению в ту форму, какую они могут желать. В таком случае несравненно полезнее теперь по ней сделать установление, нежели допустить так, как прежде бывало, развращать единожды установленное!..»

Граф Разумовский бросил тетрадь на стол и раздражительно выговорил:

– Будет! Не могу! Десятый раз читаю и озлобляюсь. Ещё пугает... Поскорее-де... Поскорее... Те особы тормоз наложат! Кто? Какие это особы? Мы, что ли, с братом-гетманом? Воронцов, Михаил Ларивоныч? Шуваловы, что ли? Да всем, кого ни возьми, лучше, чтобы царицей была Екатерина Алексеевна, нежели укрытый личиной верховного советника самодержец Никита.

– Да. Так бы уж открыто и именоваться ему – Никита I! – рассмеялся князь.

XVIII

Молодой князь Козельский, столь же добрый и честный, сколько ограниченный, не сразу, а лишь постепенно понял, какой перелом приключился в его жизни с того дня, что он поселился у дяди.

И когда понял, то стал счастлив, оценил значение происшедшего. До тех пор он ходил как бы во сне или в чаду, в угаре.

Князь не только советовал, чтобы племянник больше бывал в обществе и веселился, но даже требовал... И вместе он чуть не требовал, чтобы Сашок тратил деньги, говоря полшутя, полусерьёзно:

– Швыряй червончики и лобанчики,¹⁰ а не рублёвики и гривны! Ты моё имя носишь. Князю Козельскому, что большой галере, нужно большое плавание. В море-океане шествовать на всех парусах, а не в пруду с карасями полоскаться.

Но вдруг, через некоторое время, состояние духа и отношение князя к молодому человеку изменились. Князь бывал сумрачен, подчас раздражителен и груб с племянником, потом становился бодрее, веселее и любезнее, а затем без всякой видимой причины снова делался таким, «что подступу

¹⁰ Лобанчик (лобанец) – название золотых монет (первоначально французских) с изображением головы.

нету». Он даже начинал иногда «привязываться» к племяннику.

«Повернулся – виноват, и не довернулся – виноват», – соображал Сашок, недоумевая.

Узнав однажды от Сашка, вызванного им на откровенность, что ему нравится девица Квощинская, но ещё более нравится княжна Баскакова, с которой он познакомился накануне, князь стал вдруг снова относиться к племяннику по-прежнему: просто и добродушно.

Однако через несколько дней Сашок был снова озадачен. Придя к дяде, он нашёл его сильно не в духе. Разговор зашёл о Москве, всеобщем движении и ликовании, о всеобщем волнении в среде дворян и ещё больше в среде петербургских сановников, в предвидении будущих наград к коронации. Сашок ни с того ни с сего заметил философски, что он не желал бы быть генералом-аншефом или вообще сановным лицом, равно не желал бы быть и богачом. А лишь бы прожить на свете счастливо.

Сказанное молодым человеком было скромным и по мысли, и по выражению, но князь Александр Алексеевич вдруг заговорил таким голосом, которого Сашок ещё не слышал. Он стал говорить, что не главное быть счастливым в жизни, а главное – быть честным, прямодушным и не себе на уме. Тогда и счастье приложится. А у кого на душе нечисто вследствие бесчестных поступков, тому вряд ли посчастливится на свете.

Сашок слушал и не столько удивлялся словам, так как соглашался вполне с правильностью мнения дяди, сколько удивлялся голосу князя, в котором звучали досада и раздражение. Кроме того, Сашку смутно казалось, что всё сказанное дядей было положительно в «его огород».

«Что же это? – думалось ему. – Стало быть, я, выходит, нечестный человек, у меня на душе нечисто, поэтому и мне не посчастливится. Чудно!»

На другой день после этого разговора случилось опять то же. Князь без всякого видимого повода стал придирается к племяннику и вдруг выразился:

– Да что же, скажу. Дело понятное. Всю мою жизнь я говорил, что мальчишки – народ такой, на который полагаться нельзя! Оттого я – не будь глуп – от таковых всегда в стороне держался.

Это было уже прямо насчёт Сашка, однако он всё-таки промолчал.

Но одновременно Сашка стесняло «вольное» обращение с ним Земфиры. И так как он всё передавал Кузьмичу, то Кузьмич задумывался, отзываясь только одним словом:

– Вот ракалия так ракалия! Держись от неё подальше. Коли лезет шалая молдашка, так ты стерегись! Ведь дяденьке может, пожалуй, не понравиться.

– Да что же я могу сделать? – отзывался Сашок.

– Уж там как знаешь! Сторонись.

И молодой человек держал себя с молдашкой крайне осто-

рожно, действительно стараясь, по совету дядьки, удаляться, стараясь прерывать и сокращать беседы, стараясь даже как можно меньше встречаться с ней в доме.

Земфира давно уже звала его к себе в гости в её комнаты, но он под разными предлогами отказывался. Наконец однажды она встретила его в доме уже вечером, взяла под руку и повела к себе почти насильно. Посидев с полчаса, Сашок сразу встал и ушёл, так как Земфира вдруг поцеловала его.

Наутро рано лакей позвал его к князю.

Сашок явился к дяде и был встречен словами, сказанными с улыбкой, но всё-таки сухо:

– Я за тобой послал, племянничек, чтобы переговорить. Хочешь ты, чтобы я тебя прогнал от себя и снова никогда на глаза не пускал?

Сашок удивлённо поглядел на дядю.

– Понял? – спросил князь.

– Никак нет-с! – добродушно отозвался Сашок.

– Ты слышал, однако, что я сказал?

– Слышал-с.

– И не понял?

– Понял, собственно... Но не понимаю, за что вы на меня гневаетесь.

– Если я позабуду на столе кошелёк с деньгами, а тебе даже не будет в деньгах особой нужды, ты этот кошелёк и скрадёшь?

– Что вы, дядюшка? – воскликнул Сашок, зарумянив-

шись.

– Что я... Я спрашиваю... Мне потерять кошелёк, хотя бы с тыщей червонцев, невелика потеря. Но знать, что у меня в доме вор, да ещё родной племянник и крестник, это... Это, знаешь ли, не очень приятно.

– Я, дядюшка, как есть ничего уразуметь из ваших слов не могу! – вспыхив, воскликнул Сашок. – Поясните более толково и без обиняков. И я буду отвечать. Обличать – так обличать понятными словами, а не турусами на колёсах.

– Что дороже: деньги или привязанность, любовь?.. Как понимаешь ты?

– По-моему, привязанность, конечно...

– Ну, вот у меня есть женщина, к которой я привязался давно сердцем, хотя она, себялюбивица, этого и не стоит. Ты знаешь, про кого я говорю... Ну а ты у меня собираешься эту женщину подспудно оттягать и, стало быть, своровать.

– Что вы, дядюшка!.. – воскликнул Сашок.

– Ничего я дядюшка!.. – уже резко выговорил князь. – Не финти! Ты подмазываешься к моей Земфире.

– Никогда-с! – закричал молодой человек.

– Как никогда? Я ведь не слепой. Да она мне, наконец, сама сказала, что ей от тебя проходу нет... Что ты, в самом деле, казанскую-то сироту представляешь?.. Сама она сказала... Просила от тебя её защитить! Да.

– Вот так уж прямо она... извините, ракалия! Бесчестная, подлая женщина! Лгунья! – крикнул Сашок вне себя. – И что

же ей нужно? Зачем она так лжёт? Понятно. Ей желательно, чтобы вы меня прогнали. Так спросите Кузьмича, как мы с ним всякий день толкуем, как мне от Земфиры избавиться. От её вольного обращения.

Князь глядел на племянника удивлённо, затем вдруг, хлопнув себя по лбу, крикнул:

– Ах я, телятина!

Он сразу поверил молодому человеку и не понимал, как мог поверить Земфире.

И, улыбаясь уже, он спросил:

– Ты вчера силком влез к ней в комнаты?

– Да-с. Силком! Именно силком она меня из гостиной к себе увела, держа вот за обшлаг. Что же? Драться было с ней?

Князь встал, быстро подошёл к Сашку и, поцеловав его, произнёс:

– Прости меня, Александр Никитич. Прости дурака дядю... Впредь увижу тебя целующим её и глазам своим не поверю.

– И это правильно будет, дядюшка. Бывает, что иная баба насильно целует тебя... Что же? Бить её?.. Только и можно, что осторониться...

Князь начал ходить молча по комнате и, размышляя, изредка качал головой. Он глубоко задумался...

– Ну, хорош я гусь! – вымолвил он наконец.

Между тем успокоившийся Сашок заговорил тихо, толково и как-то рассудительно, что он скучает не в меру и давно,

скачает даже и теперь, у дяди в доме, и поэтому хочет, наконец, объясниться, сказать дяде про одно важное дело.

– О чём или о ком? – спросил князь.

– О себе-с.

– О себе?.. Ну, говори.

– Я рассудил бракосочетаться! – выпалил Сашок сразу.

Князь вытаращил глаза. Заявление его огорошило.

– Ой-ой-ой... – жалостливо протянул он с соболезнованием, как если бы племянник заявил ему о какой приключившейся с ним беде.

Сашок даже удивлённо поглядел на дядю.

– Ой-ой-ой... Вишь как!.. Не ожидал... Ну, что делать! Жаль мне тебя, а горю пособить не могу, потому что ты же мешать будешь мне... Скажи, как это с тобой стряслось...

Сашок не знал, что отвечать.

– Говори. Когда и как это приключилось?.. В кого ты, собственно, втюрился?

– Да вот недавно... Прежде на ум не приходило, а теперь в двух, дядюшка. Их две. Мне больше по душе Баскакова, а Кузьмичу больше полюбилась Квощинская.

– Да. Вот что... Ну, так дело, стало быть, ещё не горит, терпит, – усмехнулся князь. – Ну и что же? Обе эти девицы – красавицы писанные? Ангелы?

– Точно так-с. Вы, стало быть, знаете?..

– Ещё бы. Как же не знать! – воскликнул князь. – Всё знаю. Знаю, что ты девицу обожаешь и будешь обожать до

конца твоих дней...

– Да-с. Только я ещё не знаю... которую...

– И если тебе нельзя будет на которой-либо жениться, то ты будешь самый несчастный человек... Хоть руки на себя наложить... Так ведь?

– Так-с. Воистину. Кто же вам это сказал? Кузьмич сказал?

– Нет. Не Кузьмич. Глупость людская мне это сказала. Всякий день вижу, всю жизнь мою, таких дураков, как ты... Пора всё это мне знать. Ну вот что, Александр. Отговаривать тебя жениться я не хочу. Советовать иначе поступить мне, как дяде твоему, неблагоприлично. Хорошему на мой толк, но худому на людской толк, мне тебя учить грех. Стало быть, я могу тебя только жалеть.

– Я вас, дядюшка, не понимаю, – сказал Сашок.

– То-то... То-то... И не можешь понять. Когда бы ты мог мои рассужденья понимать, то и был бы ты неспособен на такое дурачество, как женитьба. Ай, батюшки, сколько вас, дураков, эдак пропадает, – насмешливо и жалостливо прибавил князь. – Что ни день – свадьба! Что ни день – пропал молодец. Кроме постов и суббот! Ну, что же делать! Спасибо ещё, что не сейчас собрался, не знаешь ещё, на которой... Когда порешишь, которая тебе больше «ангел» и без которой жить не можешь, тогда скажи. Я всё сделаю, чтобы было богато и хорошо на твоём погребении... Тьфу! На венчании.

Князь рассмеялся, а затем снова глубоко задумался.

XIX

Около полудня князь вышел от себя и направился наверх в комнаты Земфиры. В эту пору дня он бывал крайне редко и разве только по особо важному поводу. Много за это утро передумал он.

– Здравствуйте, моя прелесть! – сказал он, входя и улыбаясь насмешливо.

«Сердит на что-нибудь», – подумала про себя Земфира, хорошо знавшая своего сожителя и видевшая его насквозь.

– Здравствуйте, – ответила она небрежно.

– Потолковать я пришёл с тобой об одной довольно важной материи.

– Ну...

– Что ну?..

– Ну, говорю...

– Напрасно нукаешь. Я не лошадь.

– Опять поехали! Стало быть, начинается канитель.

– Удивительное дело, – проговорил князь как бы сам себе. – Нерусская. Басурманка. По-русски говорит, как учёный скворец. А все невежливые и холопские российские способы речи подхватила. Нукает. Или норовит: заладила Маланья! Или: поехали! Удивительно... Ну, вот что, моя прелесть. Ты мне с твоими грубостями и с твоим чёртовым нравом начинаешь наскучивать. Ты говоришь: «Поехали». Да. Правда.

Мы с тобой вот уже годика с два, как поехали врозь. И далеко уехали. Вернее выразиться: разъехались... Да не в этом дело... А дело вот в чём. С каких пор ты начала врать, лгать и клеветать... Ну-ка?

– Что?

– Ну, говорю я. В свой черёд нукаю. Ну?

– Что вы говорите?

– Говорю: ну, говорю: отвечай. С каких пор ты начала клеветничеством заниматься? Уже давным-давно, да я не замечал? Или недавно? Ты вот объяснила, что тебе проходу нет от племянника, который якобы в тебя по уши влюбился и тащит тебя... В свои объятия, что ли? А он мне сейчас объяснил, что такая старая девица, как ты, да ещё нахальная, да ещё, говорит, чем-то затхлым отдающая, будто псиной, не могла и не может ему полюбиться. Это, говорит, дядюшка, для вас, старика, такая чернавка прелестна, а меня от эдакой нудить бы стало...

– Что-о? – изумилась Земфира, но затем догадалась, что всё выдумки князя, рассмеялась.

Однако разговор и объяснения не привели ни к чему. Слишком искусна была женщина, играя комедию. Она объяснила, что сочинила всё потому, что, очевидно, ошиблась и ей показалось, что Сашок в неё влюблён.

– Ну так впредь знай, – сказал князь, – что он влюблён сильно, да только не в тебя.

И князь передал Земфире намерение Сашка жениться.

Вместе с тем разговор и объяснения с племянником и с сожительницей человека умного, самолюбивого, справедливого и решительного в поступках привели его к одному из важнейших деяний всей его жизни. Через два дня после уличения Земфиры в клевете явился вдобавок «доклад» Кузьмича о поцелуе... про который не обмолвился Сашок по своей доброте и честности... И князь снова тем утром вызвал к себе племянника по делу.

Когда Сашок вошёл в кабинет дяди, князь сидел в кресле и держал в руках большой сложенный лист бумаги; улыбаясь, он хлопал себя листом по коленке.

– Ну, воробей, как тебя зовёт княгиня Трубецкая, при-сядь! – сказал он. – Сюда... Поближе!.. Скажи, ты в грамоте не очень силён?

Сашок улыбнулся, не зная, как ответить.

– Писаное можешь читать?

– Могу-с!

– Ну а мою записку всё-таки не понял, где стояло: «люб-рабезканый пледамянбраник»?

– Да ведь это, дядюшка, было на вашем чудном языке, а не по-русски! – рассмеялся Сашок.

– Ну, стало быть, вот это можешь прочесть! – Князь развернул лист и подставил ему к носу. – Это ведь, кажется, по-просту, по-русски. Ну а написано хорошо, чисто?

– Да-с! Я эдакое могу прочесть.

– Ну, так читай!

Сашок взял лист и начал читать вслух.

– Нет, ты себе читай. Я-то наизусть знаю!

Несмотря на то, что бумага была красиво и чётко написана, Сашок читал её медленно, стараясь вникнуть в суть изложения, и только через десять или пятнадцать строк вполне сообразил, что у него в руках, и начал понимать. Бумага была – завещание по форме.

И, дочитав его до конца, он узнал, что половина состояния дяди жертвуется им в пользу двух монастырей на помин души. Другая половина состояния должна быть душеприказчиком обращена продажей вотчин в капитал. Капитал же этот – крупная сумма, которую Сашок сразу и не сообразил, должен быть передан Земфире в награду за её «сердечное попечение, любовь и преданность».

– Понял? – спросил князь, усмехаясь, когда племянник кончил, и взглянул уже ему в лицо.

– Понял-с!

– Что это такое?

– Духовная ваша.

– Стало быть, половину в монастыри Господу Богу, а половину Земфире Турковне. А тебе, единственному родственнику и крестнику, – вот что!..

И князь подставил палец под самый нос Сашка.

– Тебе не обидно? – спросил он.

– Нет, дядюшка! – добродушно ответил Сашок.

– Почему же?

– Ведь всё оно ваше и воля ваша! Да и как же вы мне что оставите, когда вы меня с рождения и не знавали? А в монастырь отдать – дело богоугодное. А особе завещать, которая при вас давно состоит и вас, полагательно, любила и теперь всё-таки любит, тоже совсем справедливо, – так как же мне обижаться-то?

– Ах ты, воробей, воробей! – вздохнул князь; он протянул руку, погладил Сашка по голове, затем взял у него лист из рук и выговорил; – Ну а вот это ты поймёшь или не поймёшь?

И князь, держа лист обеими руками у самого лица племянника, медленно и как бы аккуратно разорвал его на четыре части, потом на мелкие кусочки, а затем бросил на пол.

– Вот тебе! Какие Александр Алексеевич Козельский умеет колена отмачивать и фокусы показывать. Коли теперь я вдруг возьму да помру, что будет? Как, по-твоему?

– Не знаю, дядюшка!

– Как не знаешь? Да что же ты, совсем малый ребёнок? Ведь ты мой единственный родственник и к тому же родной племянник... Ну?

– Что ну-с?

– Да ведь всё же твоё будет!

Сашок глядел дяде в лицо и молчал.

– Чего же ты не радуешься?

– Да что же, дядюшка? Ведь это когда ещё будет! – спокойно произнёс Сашок.

– А-а, вон как! Так ты бы желал, чтобы я сейчас окошел?

Ай да крестник!

– Что вы? Бог с вами! – воскликнул тот.

– Потерпи, брат! Ещё лет десять проживу, а больше-то и трудно. Мы, Козельские, недолговечны. По крайности, теперь знай, что ты – мой единственный наследник. Ну а состояния-то у меня побольше того, что думают и толкуют люди. А если это всё так приключилось, то спасибо скажи Земфире... Это всё она...

– Как же Земфира? – тихо протянул молодой человек, совершенно поражённый.

– Так. Уж очень она постаралась, чтобы ты моим наследником оказался.

– Вот никогда не думал! – воскликнул Сашок. – Ей-Богу, не думал! А я, дядюшка, грешен, совсем не так думал. И уж если на правду пошло, то я вам доложу, что я совсем, как дурак какой, судил её. Я ещё вчера думал и с Кузьмичом толковал, что она меня хотела хитро так из вашего дома выжить. Не враждой и не таким поведением, как бы вот эта княгиня Трубецкая. А напротив, соблазнить хотела всячески, а затем так ласково да тихо обнести пред вами, свалить всё на меня и выкурить отсюда! А она вот что! Это я, выходит, пред ней виноват. Кругом виноват!

Князь, выслушав, стал смеяться звонким, добродушным смехом.

– Да ведь кто со стороны тебя послушает, – произнёс он наконец, – то прямо подумает, что ты дурак, отпетый дурак!

А это будет неправда. Ты совсем не то... Ты доверчивый по честности своей. И простомыслие твоё – на честности зиждется... Ну а теперь слушай: никому ни слова о том, что читал здесь, и о том, что потом вышло. И Кузьмичу ни слова. Ну, ступай.

Когда Сашок уже выходил, князь крикнул:

– Стой! Забыл сказать. У нас в воскресенье здесь гости. Покажу тебе, что обещал. Картёж и игорных мерзавцев.

XX

– Как ни верти, всё одно выходит! – думал и говорил сам себе вслух Кузьмич по десяти раз за час времени. А длилось это целый день. – Как ни верти – или умница, каких мало на свете... или совсем пень, чурбан... Или совсем благополучие, или всё вверх пятками... Да, умник или пень?!

И старик всё не мог решить этой задачи. А называл он так себя же. Себя он спрашивал: умно ли он решил поступить и будет ли полный успех. Или он, поспешив, глупость сделает, и всё пропадёт от спешки.

Дело в том, что старик решался на отчаянное средство, на нечто неслыханное и невиданное. Причин для такого удивительного поступка было много. Прежде всего было позднее соображение, что мир питомца с дядей принесёт, пожалуй, несчастье. Большое знакомство, разъезды по Москве и при этом «аграматные» деньги, полученные от дяди, почти преобразили питомца его, и он окончательно «отбился от рук»!

Как старик ни просил своё «дитё» ездить к Квоцинским, где барышня «помирает от любви», Сашок только два раза заехал к ним, и один раз, правда, провёл целый вечер. Так как было много гостей, играли в жмурки и горелки, то было очень весело... Но Таню всё-таки он находил: «Ничего. Что же? Девица как девица».

А это отношение питомца к избраннице старика бесило

его, так как он надеялся, что Сашок скоро будет без ума от «ангела и херувима».

Наконец, Кузьмич вдруг узнал, что «дитё» было уже три раза в семействе какого-то князя Баскакова, и, справившись, узнал, что князь этот картёжник, разорившийся кутила и запивающий, жена его чистая ведьма, а дочь их, привлекающая Сашка, на прошлых святках одевалась фореитором, ездила по комнатам верхом на стуле и, наконец, подвыпила, веселья с своими горничными. «Вот тебе и княжна?!» И Кузьмич, перекрестясь, решил спасти «Сашунчика» от барышни-фореитора и от всяких иных бед, которые грозят теперь благодаря примирению с дядей.

Он знал своего питомца с самых первых мгновений его появления на свет Божий, знал лучше, и судил вернее, чем, казалось, самого себя. И на этом знании нрава Сашка старик и основал своё «редкостное», как сам он мысленно соглашался, предприятие. «Надо так подстроить, чтобы вышло, как поленом по голове!» – решил он.

Старик зашёл опять в Кремль помолиться мощам святых угодников. Затем прямо направился к Квощинским и, посидев с Марфой Фоминишной, объяснил, что желал бы повидать барина Петра Максимовича, чтобы «словечко закинуть», крайне важное.

Разумеется, он был тотчас позван к барину и, конечно, сам не подозревал, какого искусного лицедея изобразил собой.

Кузьмич объяснил Квощинскому, что надо решить про-

стое дело, которое становится всё мудрёнее. Его питомец «помирает от любви», из-за Татьяны Петровны «сна и пищи лишился», и если пойдёт дело эдак, то он может и «свихнуться».

Квоцинский, конечно, при таком известии просиял, но, однако, стал допрашивать и советоваться.

– Что же тут делать?

– Помогите, Пётр Максимович. Разрешите всё, – взмолился старик. – Мой молодец захворать смертельно может.

– Как же я-то... Что же я-то... – заявил Квоцинский. – Обычай такой, Иван Кузьмич, с миром зачался, что молодец первое слово сказывает или его родители и родственники. А девица через своих ответствует. Либо «всей душой»... либо «спасибо за честь, извините». Вам, стало быть, надо заговорить, а нам только ответ держать.

– Вот я вам, батюшка, Пётр Максимович, сказываю, что мой князьинка прямо помирает, а сказать вам или Анне Ивановне не смеет. И никогда, как есть, не скажет.

– Так как же? Что же тут делать? – беспомощно и озабоченно развёл Квоцинский руками.

– Одно спасенье, Пётр Максимович! – заявил Кузьмич отважно и решительно, как бы своё последнее слово. – Вам надо заговорить. А он, мой князьинка, умрёт – не заговорит.

– Что же мне сказать, Иван Кузьмич? Не могу же я...

– Прямо сказать... Кузьмич, мол, был, всё мне поведал про ваши чувства, и я могу только, мол, обнять вас и вам

душевно ответить, что я счастлив. И всё такое-эдакое... Вы уж лучше меня знаете, что...

– Так? Прямо?.. – спросил Квощинский. – Прямо?.. Как если бы сватовство было от вас?

– Именно-с!.. – решительно воскликнул Кузьмич. – Начистоту! Прямо поцелуйтесь и скажите, что мы-де душой, если ты к нам всей душой. А я вот вам прямо, что сват какой, сказываю. Мой молодец помирает от любви. Он меня не отрядил к вам, потому что я всё ж таки его крепостной холоп, но знает, что я за него пошёл говорить, потому что он сам не может. Храбрости этой нет и никогда не будет. Ну вот я вам и сказываю.

– Что же, Иван Кузьмич... Пускай приезжает князь! Я ему слова не дам сказать, коли ему зазорно и робостно. Как придет, обойму и к жене поведу, и дочь позову.

Кузьмич ушёл и, вернувшись домой, снова волновался, спрашивая себя, «умница я или пень».

Разумеется, в доме Квощинских от восторга всё заходило ходуном. Все были счастливы и нетерпеливо ждали завтрашнего дня.

К обеду вернулся и летающий всегда по Москве младший Квощинский. Ему тоже сообщили важное известие, и он тоже обрадовался, хотя и без того был радостно настроен. После обеда Павел Максимович не вытерпел и позвал брата переговорить в кабинет.

Он таинственно заявил, заперев двери:

– Дело моё ладится. Был я, братец, у Алексея Петровича и откровенно с ним беседовал. По всей видимости, граф будет непременно назначен после коронации опять канцлером, и я уж решил не просто просить заграничную посылку, а должность резидента российского в каком-либо малом государстве немецком. Для начала. А посижу эдак годика три и получу должность важнейшую, посланника к французскому королю или аглицкому.

– Не верится мне, братец, – мотнул головой Пётр Максимович.

– Почему же это, братец? Граф Алексей Петрович обещал.

– Не верится. Гляжу я, гляжу и вижу чтой-то чудесное... Все захотели в Москве в государственные мужи выходить. На что наш Макар Иваныч... Голубей разводил, турманов, всю жизнь... А тот раз мне говорит, что хочет в губернаторские товарищи проситься. По мне вот что: если всех желающих царице удовлетворить, то и мест у неё не хватит. А если таковые должности на всех учредить новые, то тогда будут управители, а управляемых не останется ни единого...

Павел Максимович ничего не ответил. Замечание брата, которого он привык считать, как «изрядного рассудителя» всяких важных дел, его озадачило.

Действительно, за последнее время, когда он носился со своим планом сделаться чиновником иностранной коллегии, он замечал, что все его знакомые, положительно каждый, то-

же имели свои служебные планы и «прожекты». Только один из приятелей, лейб-кампанец Идошкин, хотел подать царице просьбу простую и краткую: пожаловать ему сто душ крестьян. А на вопрос друзей, как и за что, отвечал: «Да так... Новая царица. Милостивая. Да потом все собираются просить, а другие уж просят. Всяк о своём! Ну вот и я...»

Помолчав, Павел Максимович вымолвил:

– Это ты, батюшка братец, прав! Весьма даже прав. Но моё дело – иное. Тут все зря просят. А я поведу это дело через будущего канцлера...

– Ну что ж! Дай Господи! – ответил Пётр Максимович и подумал: «Коли ты в резиденты, то мне уж в кригс-комиссары, что ли?..»

XXI

Между тем Кузьмич в тот же день вечером заявил питомцу, что был у Квощинских, и сознался Сашку, что якобы проболтался насчёт него. Проболтался в том смысле, что объяснил Петру Максимовичу, как сильно захватила Сашка Татьяна Петровна. А Пётр Максимович просит его приехать завтра утром в гости. Неведомо зачем. Побеседовать.

– Если он тебе будет что эдакое насчёт дочки обвиняком сказывать, – кончил Кузьмич, – то уж ты там как знаешь, поблагоприличнее ответствуй.

А про себя Кузьмич думал: «Да. Как поленом по голове!» И выражение Кузьмича оказалось буквально верным.

Сашок, поехав к Квощинским, вошёл в дом, спокойный, довольный, намереваясь посидеть часок в гостях, побеседовать о том о сём... с Петром Максимовичем и с Анной Ивановной. Но когда он вошёл и переходил залу, к нему навстречу уже вышел Квощинский, и лицо его поразило Сашка оживлением и радостью. Сашок хотел почтительно поклониться, но Квощинский остановил его движением руки.

– Поцелуемся, Александр Никитич. Объясняться вам не нужно. Верьте, что и я, и жена счастливы и польщены, а про Таню я и не говорю. Она от счастья разума лишилась. Пойдёмте к жене!

И Квощинский, повернувшись и ведя за собой за руку мо-

лодого человека, не мог видеть, что Сашок несколько разинул рот и особенно странно раскрыл глаза.

Он спрашивал себя мысленно: «Про что он такое?..» Введя молодого человека в особую комнату Анны Ивановны, где он ещё ни разу не бывал, старик вымолвил:

– Ну вот, запросто поцелуйтесь!

И Анна Ивановна подошла и обняла Сашка. На лице её были слёзы.

Сашок, ещё ничего, собственно, не понимая, уже думал: «Батюшки! Да что же это такое?»

Собственно говоря, в нём уже копошилось подозрение, но то, что он начал подозревать, казалось ему таким невероятным, что он боялся убедиться в своей догадке.

– Будьте уверены, Александр Никитич, – сказала Квоцинская, – что мы будем любить вас, как родного сына, да инако и быть не может.

Сашок понял, что ему следует скорее, немедленно сказать что-нибудь или спросить что-нибудь, чтобы дело сейчас же разъяснилось. Но как же сказать и что спросить? Нельзя же сказать: «Коли о браке вы, собственно, говорите, то я не собираюсь и не хочу».

И как луч блеснула мысль в голове: «Это Кузьмич!.. Да, это Кузьмич!.. Он просватал!»

И Сашок сразу растерялся совершенно и онемел.

В ту же минуту в комнату вошла молодая девушка, сильно румяная, с сияющим лицом, несмотря даже на то, что глаза

её были опущены.

– Ну-с, Господи благослови. Поцелуйтесь и вы! – сказал Пётр Максимович.

Сашок, как потерянный, двинулся, чувствуя себя в чадуге, в полном угаре. Но через мгновение он вздрогнул, встрепенулся, как-то ожил...

Поцелуй молодой девушки произвёл на него неизъяснимое, никогда в жизни ещё не испытанное впечатление... Ударил ли гром и раскатился кругом или сверкнула ослепительная молния и прожгла насквозь?..

Он этого не знал! Но он знал и чувствовал одно: «И слава Богу!.. Так хорошо! Так и нужно!»

И взглянув снова на Таню, уже сидевшую около матери, Сашок почувствовал, что он счастлив. И странно как? Он не один, каким был до сей минуты. С ним трое близких, будто родных, людей. И эти трое родных как будто стали сразу, чудом каким-то, ближе ему, чем даже Кузьмич. И слёзы восторга навернулись у него на глазах. Казалось, от всего совершившегося разум покинул его. Он вполне очнулся, как бы ото сна, когда уже был в швейцарской дома дяди.

Через полуоткрытые двери в свои апартаменты он увидел старика дядьку. Кузьмич стоял, крайне смущённый и точно испуганный. Сашок сбросил плащ не на руки швейцара, а на пол и, стремглав кинувшись к старику, обнял его и повис у него на шее. Дядька затрясся всем телом и начал всхлипывать, а затем рыдать...

«Я!.. Я всё сделал! Господь помог... а сделал я!» – думалось ему или, вернее, застучало у него на сердце и в голове.

Успокоив Кузьмича и объяснившись с ним, Сашок спросил: говорить ли дяде и что говорить, как сказать? Кузьмич замахал руками. Положение было мудрёное. Правду сказать нельзя. Надо сказать, что Сашок сам сделал формальное предложение. Но дядя спросит тогда, как же он эдакое совершил, не спросясь его разрешения, совета, благословения. И дядька с питомцем решили отложить всё на день или на два и начать князя «помаленечку готовить и располагивать».

XXII

На другой день вечером дом князя засиял, весь осветился огнями, наполнился гостями. Но если бы кто-нибудь подумал, что у князя Козельского такое же вторичное пирование, какое было недавно, то очень бы ошибся. Не было ничего общего между тогдашним обедом и теперешним вечером. Из тех, кто был тогда, теперь не было ни единого человека, кроме Романова. Некоторые, бывшие тогда, если бы заглянули теперь в дом князя, то смутились бы.

Теперешние гости были люди совершенно другого круга. Главной отличительной чертой вечера было то, что человек на сто гостей не было ни одной дамы.

В двух гостиных было расставлено несколько столов для игры в карты. В главной гостиной, посередине, стоял большой круглый стол, покрытый зелёным сукном. Это был «первый» стол, на котором должна была происходить самая крупная игра, новая, именуемая «банк».

Особенность этого «банка» в доме князя Козельского заключалась в том, что его держал сам хозяин и что он был ответствен. За этим столом всякий желающий мог поставить какой угодно куш. Князь заявил, что желательно бы было не переходить в ставках суммы ста тысяч, так как он в случае проигрыша не мог бы уплатить в тот же вечер и пришлось бы отложить уплату до утра. Разумеется, это была шутка, так

как ни один из гостей князя, конечно, не мог бы поставить более десяти тысяч наличными деньгами.

Об этом картёжном вечере уже дня за три пошли толки в Москве в некоторых кружках как о событии, потому что у князя можно было проиграть и выиграть огромные деньги.

Картёжная игра в обеих столицах и в провинции, начавшаяся в последние годы царствования императрицы Анны, за всё царствование Елизаветы Петровны всё усиливалась неведомо почему. В последние годы её царствования правительство обратило внимание на многое, что прежде, казалось, не входило в сферу ведения и влияния его.

Так, правительство обратило внимание на расточительность дворянства, на жизнь сверх средств, чрезмерную роскошь, известного рода соперничество в безумных тратах и приняло меры регламентировать дворянское житьё-бытьё.

Конечно, с успехом совершить это было мудрено. Меры возбуждали неудовольствие и ропот, а настоящей пользы принести не могли.

Но зато года за три до смерти императрицы приняли строгие меры против страшно развившейся картёжной игры разных именований, игры, конечно, азартной, или, как говорилось, «газартной», от французского слова «hasard». И только в Петербурге временно стихла новая страсть, или болезнь, почти эпидемия. Но в Москве и в больших городах всей России «газарт» продолжался.

В обществе и во всех полках были записные картёжни-

ки. Народился и новый тип людей – мастеров, играющих во все игры, всегда выигрывающих и живущих игрой. Образовались даже кружки и кучки лиц, игравших вместе на общие средства, в складчину. Принадлежность к кружку бывала тайной, и лица, принадлежавшие к одному и тому же кружку, встречались в иных домах, не кланяясь и не разговаривая, как если бы они были незнакомы. Разумеется, это явилось подкладкой для мошеннических проделок, тем более что у некоторых кружков был свой способ объясняться знаками.

Князь Александр Алексеевич когда-то в Петербурге, увлечённый общим потоком, тоже стал играть в азартные игры, но любви к картам у него, собственно, не было. Играл он сдержанно и благоразумно, проигрывая, не зарывался, а умел, холодно выждав, отыгаться. Он делал, сравнительно со средствами своими, небольшие ставки и всегда, имея возможность поставить в двадцать раз более, легко отыгрывался. Но самая игра, именно поэтому, его и не волновала и не интересовала.

Зато было нечто, что он любил по оригинальности характера и от скуки. Он любил картёжные вечера как зрелища. Его забавляли счастливые лица выигравших и угрюмые, мрачные лица проигравшихся. И он не столько любил участвовать сам в игре, сколько присутствовать для того, чтобы «спасать и наказывать».

Каждый раз, что случалось ему на картёжном вечере уви-

дать человека ему по душе, который играл несчастливым и кончал сильным проигрышем, а затем отчаянием, князю доставляло наслаждение начать играть с ним якобы пополам. Он присаживался и огромными смелыми ставками, в которых была маленькая доля проигравшегося, он тотчас же выигрывал. Проигрыш возвращался несчастливцу, а деньги, выигранные лично князем, снова умышленно им проигрывались, чтобы они вернулись обратно к их владельцу.

Вместе с тем каждый раз, что князь встречал человека, ему почему-либо неприятного, он выжидал, не будет ли он выигрывать. И если это случалось, то он вызывал его потягаться и всячески старался, чтобы тот в конце концов проигрался в пух и прах.

Таким образом, картёжная игра не была для князя страстью, а просто забавой или такой же шалостью, как и многие другие. Когда-то, овдовев и покинув Петербург, он бросил многие свои прихоти, в том числе и карты, но затем, в своих скитаниях по России и за границей, снова иногда возвращался к той же забаве – «спасать и наказывать».

Он сделал теперь картёжный вечер с особой целью. Разговорившись с племянником и узнав, что Сашок, благодаря, конечно, Кузьмичу, всячески удалился от всех игроков и от всяких картёжных вечеринок в Петербурге, он предложил племяннику показать ему, что такое азартная игра. И разумеется, не для того, чтобы приучить его к этой опасной и худой забаве, а, напротив, раз и навсегда показать и доказать,

почему надо от этого удаляться.

Князь дал племяннику сто червонцев для того, чтобы он попробовал счастья на разных столах в разные игры. И если выиграт – тем лучше, а если проиграет, чтобы далее последнего рубля не шёл. Но вместе с тем князь взял слово с племянника, что это будет его первая и последняя проба.

Гости князя съехались довольно поздно. Было обычаем, что картёжная игра должна происходить в позднее время и ночью, а не среди бела дня. Играть при солнечном свете считалось совершенно неприличным. Почему, собственно, никто этим вопросом не задавался и никто не знал. Вместе с тем многие записные игроки переставали играть, когда благовестили к заутрене, одни – считая это грехом, другие – боясь худой приметы.

XXIII

В этот день картёжного сборища, задуманного исключительно для Сашка, князь заметил, что племянник особенно радостно настроен, но на его вопрос о причине такого настроения Сашок ничего не объяснил, хотя успел снова побывать у Квощинских в качестве жениха.

Разумеется, чтобы вечер был вполне забавен и чтобы для племянника зрелище было вполне любопытное и поучительное, князь просил к себе гостей без разбора, кто только желает. И когда у него просили дозволения привести с собой и представить кого-либо из хороших благоприятелей, то князь, глядя в лицо говорящего, думал:

«Хороши, должно быть, твои благоприятели! Вроде тебя самого. Того и гляди, что вы, голубчики, за ужином ложку или вилку в карман спрячете...»

И затем он прибавлял:

– Сделайте такое одолжение. И одного приятеля, и хоть десять. Лишь бы только был играющий!

Когда гости собрались, князь, конечно, отлично знал, что в числе прочих есть и «настоящие» игроки, или, как он их называл, «подтасовочных дел мастера».

Один гость тотчас же привлёк к себе внимание хозяина. Человек этот познакомился с князем особенно, а именно через племянника, и был, таким образом, не с улицы.

Это был капитан Кострицкий, с которым Сашок давно встречался в доме Маловой, но который на него не обращал прежде никакого внимания, а с той минуты, как Сашок поселился у богача дяди, Кострицкий сразу переменил с ним обращение. Он стал предупредительнее и любезнее и в несколько дней, ежедневно заезжая к Сашку в гости, якобы случайно и по дороге, постарался сблизиться с молодым человеком, а затем попросил себя представить и князю.

Князь, опытный и проницательный человек, познакомясь с Кострицким, тотчас же объяснил племяннику:

– Ну, милый мой, остерегайся этого! Это гусь!

Сашок, не считая Кострицкого дурным человеком, а просто весёлым и болтливым, вместе с тем очень любезным, спросил у дяди объяснения этого слова.

– Я тебе говорю, что это, наверное, гусь.

– Да что же это значит, дядюшка? – спросил Сашок.

– Не знаю, дорогой! Так по-русски сказывается, даже восклицается: вот так гусь! Хотя птица гусь никогда не бывала замечена в предосудительных каких поступках, а, напротив того, прославилась в истории человечества тем, что спасла от неприятельского нашествия знаменитый город Рим. Ты об этом не слыхал, потому что о многом никогда не слыхивал.

В этот вечер Кострицкий в числе приглашённых почему-то особенно не понравился князю. У него была черта, которую князь Козельский не прощал никому. Кострицкий заявил ему, что он – древнейший дворянин Киевской губер-

нии, что его предки ещё при Владимире Святом существовали.

Затем тот же капитан хвалился своими родственниками, приятелями и связями в Петербурге, говорил, что всё, что есть сановного в Москве, – его хорошие знакомые, и очень жаль, что из них никого нет у князя на вечере.

Затем Кострицкий успел похвастать и своими победами над прекрасным полом, говоря, что нет такой женщины на свете, которой бы он не сумел, если захочет, понравиться. Одним словом, в какие-нибудь полчаса беседы с князем Кострицкий так себя отрекомендовал, что гостеприимный хозяин решил непременно, во что бы то ни стало, проучить поздоровее нахального капитана.

И князь Александр Алексеевич всё своё исключительное внимание обратил на Кострицкого.

«Заставлю я тебя, так ли, сяк ли, продуться в пух и прах! Голого отпущу от себя! Мундир, саблю и кивер – и те заставлю поставить и проиграть!»

И около полуночи за отдельным столом сели играть в «фараон» князь, его племянник, Кострицкий и Романов. Последний, явившийся поневоле, вследствие усиленных просьб князя, собирался тотчас же уехать, говоря, что ему, как должностному лицу, не подобает быть на противозаконных вечерах. Князь всячески упрашивал друга остаться хотя бы только до ужина, а после ужина, когда начнётся настоящий «газарт», он будет им отпущен.

Князь предупредил Романова, а равно объяснил и племяннику, что они должны понемножку отстать от игры и он уже будет один продолжать с капитаном. Они так и поступили. «Фараон», который затем продолжал князь с капитаном, был уже, собственно, не настоящим, а совершенно изменённым. Благодаря некоторым условиям, предложенным князем и принятым Кострицким, «фараон» превратился в «Агафью», то есть в одну из самых отчаянных азартных игр.

Самоуверенный капитан почему-то считал князя Козельского человеком недалёким, наивным и был глубоко уверен, что он в этот вечер, играя с богачом, выиграет у него страшную сумму. Подозревать, что сам хозяин сел за стол именно с той же целью, хотя по другим побуждениям, он, конечно, никак не мог.

Разумеется, жадность и погубила Кострицкого. Он соглашался на всякие ставки, шибко выигрывал и проигрывал. Иногда он выигрывал сразу такую сумму, что мог бы благополучно прожить на неё беспечно года два, но не останавливался, продолжал и проигрывал снова. Если бы князь в иную минуту потребовал расчёта немедленно, то, конечно, у Кострицкого не нашлось бы нужных денег не только в кармане, но и дома в столе или сундуке.

Однако часов в одиннадцать вечера весёлый и бойкий пред тем капитан сидел за столом уже сильно бледный... Его собственная жадность и «наивность» хозяина дома, позволившего ему делать ставки на веру очень крупные, его под-

вели... Он зарвался далеко через край и совсем «зарезался». Отыгаться уже не было возможности. Он «сидел» в семнадцати тысячах. А съездить и привезти ещё можно было не более полутора. Оставалось одно спасение. У него был дом в Москве, на Дмитровке. И этот дом был им заявлен после проигрыша семнадцатой тысячи и предложен князю на словах, вместо наличных якобы денег...

Александр Алексеевич «наивно» согласился считать дом в пятнадцать тысяч, и «Агафья» продолжалась... И через час дом остаётся за князем плюс наличные семнадцать тысяч, которых, однако, налицо не было.

Когда наступило время садиться ужинать, Кострицкий, уже мертвенно-бледный, собрался домой, но князь его не пустил.

– Что вы! Что вы! Разве можно... После ужина я вам дам отыгаться! – сказал он весело.

– Не могу, князь... У меня больше ничего нет... И достать негде... – произнёс капитан сдавленным от волнения голосом.

– Пустое. Надумаем... Да стойте... Вот! Надумал... – И князь сказал капитану несколько слов на ухо... Кострицкий изумился и стоял как вкопанный.

– Разве нету? Вы же говорили, что у вас этого добра много...

– Есть... Но... Есть... Но, право, я не знаю...

– Подумайте. Обсудите всё. За ужином, – рассмеялся

князь. – А там, если заблагорассудится, поезжайте и привозите... Согласен считать в сорока тысячах. И если проиграю, то доплачу вам восемь... А если выиграю, то... зависит, как и что... Может быть, удовольствуюсь этим выигрышем, а долг наличными и дом останутся за вами... Прощу.

– Как простите? – вскрикнул капитан, преобразясь.

– Да так... Что же мне вас грабить.

– Вы благородный человек, князь, – вскрикнул снова Кострицкий. – Я решаюсь и еду сейчас. Вы не успеете поужинать, как я буду здесь.

XXIV

Уже около полуночи, когда Настасья Григорьевна спала сладким сном, в её небольшом доме раздался стук и шум. Кто-то стучал отчаянно в подъезд, потом и в ворота, а затем уже начал стучать и в окошки. Услыхавшая первую и поднявшаяся горничная приотворила окно и от страшной темноты на улице не могла увидеть и различить никого, но по голосу узнала капитана Кострицкого.

– Отпирай скорей! – крикнул он.

Горничная разбудила лакея, послала отворять дверь подъезда, а сама побежала в спальню барыни.

Настасья Григорьевна, уже разбуженная шумом, сидела на постели и спросонья имела вид совершенно перепуганный.

– Пожар?! – воскликнула она при виде горничной.

– Никак нет! Митрий Михалыч стучится. Андрей уже отворяет им.

– Да что такое? Что ему нужно?

– Не знаю-с... Только в окно мне закричали: «Отпирай!» И голос такой у них отчаянный... Должно, приключилось что-нибудь.

В ту же минуту раздались по квартире скорые шаги капитана. Он вошёл в спальню, крикнул на горничную: «Пошла вон!» – и опустился в кресло около постели женщины, как если бы пробежал десять вёрст без передышки.

– Что такое?! – ахнула Настасья Григорьевна. Капитану случилось оставаться у неё ночью, но не являться так, вдруг...

Кострицкий закрыл лицо руками, потом провёл ими по голове, а потом замахал ими на женщину. Жест говорил такое, что сразу и сказать нельзя. Целое происшествие! Событие внезапное и страшное.

– Господи Иисусе Христе! – перекрестилась Малова. – Да что же это ты? Говори скорей!

– Слушай, Настенька, слушай в оба! Дело важнейшее. Дело смертельное.

– Ох, что ты!

– Смертельное, тебе говорю. Либо мне сейчас помирать, либо нет! И всё от тебя зависит.

– О, Господи!

– Да. Слушай! Был я у князя Козельского вечером! И вот по сю пору мы всё в карты дулись. Я был в страшнейшем выигрыше. До семи тысяч хватил. А там всё спустил, что было с собой и что в столе найдётся, и не удовольствовался. Дом свой предложил... И дом проиграл!

– Как дом?! – вскрикнула Малова.

– Да так!

– Да нешто это можно! Ведь на деньги играют, сам ты всегда сказывал. А нешто на дома играют?

– Ничего ты не понимаешь, глупая женщина! – воскликнул капитан. – Толком тебе говорю: всё спустил, ничего у

меня нет. Часы – и те, почитай, князевы, если платить ему. И теперь мне остаётся одно – руки на себя наложить, застрелиться. Я вот так и порешил.

– С ума ты спятил?

– Нет, дело решённое! Вот сюда и приехал к тебе. И тут же вот около тебя и застрелюсь!

Кострицкий вынул из большого кармана камзола пистолет и показал его. Малова ахнула и замахала руками:

– Стой! Стой! Выстрелит! Убьёшь!

– Не бойся, тебя не убью. А сам вот сейчас тут же застрелюсь, если ты не будешь согласна меня спасти.

– Да как же?! Что я могу? У меня денег всего...

– Многое можешь! Слушай!

И Кострицкий, перебиваемый удивлёнными вопросами женщины, подробно рассказал ей, что не только можно играть на вещи и на дома, но можно ставить на карту и собак, и лошадей, и даже крепостных целыми деревнями.

– Всё нынче прошло! – прибавил капитан. – Чего-чего нынче у князя не выиграли и не проиграли.

Наконец, постепенно, чтобы сразу не перепугать чересчур Малову, капитан дошёл и до главного: солгав, конечно, он объяснил женщине, что у князя на вечере сегодня была поставлена на карту одним офицером его собственная законная жена и он отыгрался. Но так как он, Кострицкий, не женат, то отыграться на этот лад не мог. У него никого нет, даже крепостных холопов нет. И для него одно спасение. Он

просил князя позволить отыграть всё проигранное, поставя на карту женщину, хотя ему и чужую, но любящую его и готовую его спасти.

И Кострицкий прибавил:

– Спаси меня, Настенька! Дозволь отыгратъся на тебе.

Женщина слушала и глядела, выпуча глаза, и хотя сон её от перепуга совершенно прошёл, тем не менее она чувствовала, что сидит в каком-то сне наяву. Она не сразу поняла и заставила Кострицкого снова повторить то же и снова объяснить всё. Наконец она поняла и заплакала.

– Чего же ты?

– Как чего? Страшно, Митенька.

– Да чего же страшно-то?

– Не знаю...

– Ну, как хочешь! Это одно спасение! Коли тебе меня не жаль, то Бог с тобой! Стало быть, больше ничего не остаётся...

Капитан снова взял пистолет в руки и стал осматривать его.

– Стой! Стой! – закричала Настасья Григорьевна.

И она выскочила из постели и ухватила его со всей силой за руки.

– Говори, Как быть? Что надо делать?

– Одеваться и ехать.

– Как одеваться?!

– Да так! И ехать со мной!

– Куда? – с ужасом вскрикнула женщина.

– К князю!

– Как к князю? Когда?

– Сейчас вот! Одевайся, и поедем!

– Да зачем?

– А затем, чтобы он тебя видел. Он без этого не согласен.

Но я знаю, что, повидав тебя, он согласится. Ведь это только, конечно, к примеру, Настенька. Пойми! Проиграть я не могу. Приедешь, князь на тебя посмотрит... Ну, посидишь в гостиной... А я поставлю тебя на карту и отыграю свои тридцать тысяч.

– Как же то есть на карту? На стол лезть?

– Да нет, глупая! Уж ты одевайся, и поедем.

Настасья Григорьевна, не только перепуганная, но совершенно как бы очумелая, начала одеваться. Изредка она оставалась, всхлипывала и говорила покорно:

– Митенька! Помилуй! Что же это такое?

Но Кострицкий в ответ брал в руки пистолет и поднимал его к виску.

XXV

Через четверть часа капитан и Малова сидели уже в его карете и среди ночи быстро двигались по переулкам. Когда они въехали во двор дома князя и Малова увидела длинный ряд ярко освещённых окон, на неё напал такой страх, что она готова была выскочить из экипажа и броситься бежать. Кострицкий предвидел это и был настороже.

– Ничего, ничего, не бойся! Всё это пустое! Ты и не увидишь никого. Только, говорю, посидишь в гостиной.

Капитан и его подруга поднялись по парадной лестнице. Люди в швейцарской не обратили на женщину никакого внимания. Не то видали они, служа у чудодея-князя. И теперь даже они отлично знали, зачем является среди ночи незнакомая им барынька.

Капитан провёл женщину в гостиную, усадил, а сам пошёл в залу, откуда доносились десятки весёлых голосов. Малова настолько оробела, что сидела, как кукла, как бы ничего не сознавая и не понимая. Долго ли она просидела, ей было даже невозможно сообразить, настолько всё путалось в голове. Но, наконец, двери отворились, появился её «Митенька», а за ним высокая фигура пожилого человека.

Малова догадалась, что это сам князь, и невольно поднялась с кресла.

– Здравствуйте! Очень рад с вами познакомиться! – вы-

говорил князь любезно. – Вы решаетесь помочь капитану в беде?

Малова молчала.

– Отвечайте же, сударыня!

– Отвечай, Настенька! Князю нужно это знать. Скажи, добровольно ли ты согласна.

– Добровольно! – через силу и еле слышно произнесла женщина.

– Вам известно, что убудет, если капитан проиграет?

– Нет-с...

– Как нет?! – воскликнул Кострицкий. – Я же тебе два часа пояснял! Но ведь это не наверно... Вот и князь скажет! По всей видимости, я выиграю. Говори, что тебе всё известно и что ты согласна.

Наступило молчание.

– Говори же, Настенька. А то я сейчас же, вот тут, исполню то, о чём я тебе сказывал. Знаешь, что тут у меня в камзоле... Говори, согласна?

– Согласна! – пролепетала Малова.

– Ну-с, в таком случае позвольте мне получше вас разглядеть! Хотя я вижу, что вы очень привлекательны, но всё-таки это дело серьёзное и зря поступать нельзя! – усмехаясь, выговорил князь серьёзным голосом, но видно было, что он сдерживает смех при виде перепуганной женщины.

Князь взял канделябр о четырёх свечах и приблизился к Маловой, которая, хотя и глядела дикими глазами, была всё-

таки красива.

– Вы прелестны, сударыня! – сказал князь. – По справедливости, вы могли идти за пятьдесят тысяч... Но вот что неладно...

Князь подумал немного и выговорил, сдерживаясь от смеха:

– Вот что, любезный мой Дмитрий Михайлович. Я опасюсь всё-таки, нет ли недоразумения. Хорошо ли вы объяснили госпоже Маловой, в чём дело заключается.

– Совершенно, князь, совершенно.

– Я должен вам заметить, что если бы сия дама была вашей законной супругой, то и речи бы не было о вашем праве играть на неё... Но ведь она вам чужая и ваша только сердечная подруга...

– Да-с. Но она согласна спасти меня, – горячо заявил Кострицкий. – Это наше обоюдное согласие...

В эту минуту в доме раздались крики десятков голосов и хлопанье в ладоши. Малова прислушалась и стояла уже совсем перепуганная.

– Успокойтесь, сударыня. В зале некая красавица восхищает моих гостей своими танцами, – объяснил князь и продолжал, обратясь к капитану: – Знает ли хорошо госпожа Малова, что именно с нею приключится в случае вашего нового проигрыша?

– Конечно-с. Конечно-с! – воскликнул Кострицкий.

Но князь подозрительно поглядел на него и обратился

прямо к Настасье Григорьевне:

– Известно ли вам, сударыня, что в случае проигрыша капитана вы станете... Как бы это вам выразить поделикатнее... Его права перейдут ко мне, и ваши добровольные обязательства к нему станут обязанностями ко мне. Поняли?

– Поняла, – бессмысленно произнесла Малова.

– Боюсь, что нет, – отозвался князь.

И он прибавил вразумительно:

– Если я выиграю, то вы останетесь здесь, в моём доме, и будете моей подругой, пока я того пожелаю или пока я вас не проиграю кому другому. Понятно это вам вполне?

Настасья Григорьевна достала платок из кармана, высморкалась и начала утирать слёзы на глазах.

Князь развёл руками и, обратясь к Кострицкому, проговорил нерешительно:

– Уж я, право, не знаю, капитан...

– Так ты моей смерти хочешь! – вскрикнул этот, обращаясь к женщине. – Хорошо. Поезжай домой и реви там. А завтра приезжай ко мне служить по мне панихиду...

– Что вы! Что вы! Я же согласна. На всё согласна! – отчаянно отозвалась Малова, и, обратясь к князю, она уже выговорила громко и твёрдо: – Я всё понимаю, князь, как должно... И я согласна. Авось, Бог даст, я вам не достанусь.

– Чувствительно вас благодарю за любезные ваши слова! – ответил князь, кланяясь и добродушно смеясь. – Ну-с, обождите здесь судьбу свою. Мы пойдём с капитаном тягаться,

чья возьмёт.

Между тем, пока капитан чудил, а гости ужинали, князь решил угостить всех на особый лад. Показать всем свою молдашку и заставить её протанцевать.

Теперь Земфира была уже в зале, в фантазийном костюме, и уже протанцевала два танца, приводя в восторг всех присутствующих и красотой своей, и грацией движений. Даже Сашок, глядя на танцующего врага своего, признавался, что эта злюка красивее его Танечки.

Протанцевав второй танец, Земфира вдруг подошла к Сашку и выговорила ему тихо, почти на ухо:

– Александр Никитич, у меня к вам большая просьба. Сделайте одолжение!

– Что прикажете?

– Дело простое, но я никому из людей не могу его поручить. И надо тайком. Сюрпризом. С ними даже ничего не выйдет. А вы можете всё сделать. А одолжение большое! Удовольствие и князю, и всем гостям. Мне хочется протанцевать ещё один гишпанский танец. Для него нужен особый такой шарф. А я третьего дня отдала его Клавдии Оттоновне, моей приятельнице. На углу вот, первый же переулок... Так вот, будьте добры, пойдите к ней сию же минуту, разбудите её, коли спит, возьмите его и принесите. Но именно бегом, так сказать, добежите. А коли будете приказывать закладывать экипаж, так когда же это будет? Да и не стоит того! Ведь тут рукой подать.

– С большим удовольствием! – отозвался Сашок. – Я сию минуту!

– Её крыльцо на углу...

– Да я знаю... Знаю. Я же видел вас ещё вчера, проезжая, как вы входили туда.

XXVI

Сашок действительно знал, как и все в доме, что недавно по соседству поселилась новая приятельница Земфиры, с которой она постоянно виделась и сносилась.

Он быстро спустился вниз, взял кивер, накинул плащ и уже двинулся на подъезд.

– Разве пешком, ваше сиятельство? – сказал швейцар, удивляясь.

– Пешком! Тут близёхонько.

В ту же минуту раздался в швейцарской голос Кузьмича:

– Куда?! Что?! Ума решился никак? Куда летишь?!

– Тут за два шага, Кузьмич! Дельце есть! Оттого и пешком, что рукой подать... Да и спешное!..

– Дельце?.. Спешное?.. Одному?.. В этакую темь?.. Да что ты, с ума, что ли, сошёл?

Кузьмич подошёл вплотную к Сашку, схватил его за шинель и подозрительно приглядывался к лицу питомца.

– Говори, какое дельце?

– Нельзя сказать, Кузьмич! Просили не говорить! – улыбнулся Сашок. – Но за два шага! Сейчас назад!

– Хоть бы на вершочек от дома, не то что за два шага, не пуцу! Этакая темь на дворе, ни зги не видно, а ты пойдёшь, как простой какой мужик, пехтурой один-одинёшенек. Со всем с ума сошёл!

– Полно, Кузьмич, глупить! Пусти! – уже начал обижаться Сашок, так как кругом стояли дворовые люди и были свидетелями обращения дядьки с питомцем, как с дитём. – Пусти, Кузьмич, я тебе говорю! Ну. Я пойду! Хоть что хочешь, пойдуй! Перестань! Вон гляди, они все смеются!..

И действительно, кое-кто из лакеев улыбался происшествию. Сашок почти вытащил из рук старика полу своего плаща и двинулся на подъезд.

Кузьмич заметался, потом выскочил вслед за ним во двор и решил, хоть был без шапки, идти следом за питомцем, чтобы узнать, какое может быть у него спешное и тайное дельце среди ночи.

Сашок, перейдя двор, был уже в воротах, и в темноте Кузьмич смутно различал его. Но в самых воротах старик налетел на какую-то фигуру.

– Что такое? – произнёс встреченный.

И по голосу Кузьмич узнал ражего молодца, кучера, любимца князя.

Мысль мелькнула в голове дядьки.

– Семён, голубчик, гляди вон... Видишь вон. Зашагал. Это мой князинька... В эту темь один пошёл куда-то. А у нас, слышал, недавно душегубы напали на прохожего дьяка... Сделай милость, пойдй за ним. Куда пойдёт – и ты! Сказывает – недалеко! Опасаюсь я. Ведь ночь!

– Извольте, Иван Кузьмич, с удовольствием! – ответил кучер и, тотчас повернув, зашагал и быстро стал настигать

Сашка; однако же, чтобы не быть признанным и чтобы молодой князь не обиделся, Семён держался шагах в десяти от него. Но вдруг, когда молодой князь был уже на углу переулка, Семён услышал крик, и ему почудилось, что это голос князя... Не отдавая себе отчёта, в чём дело, он со всех ног бросился вперёд, но на углу не нашёл ни души... Но далее слышалась топотня ног, и казалось, что убегают два человека. Семён, ничего не сообразив, снова бросился и пустился во всю прыть.

Через несколько мгновений он уже догонял фигуру, которая шибко бежала. Но перед ней, шагах не более как в пяти, бежал ещё другой кто-то. Один гнался за другим... И вдруг раздался голос переднего:

– Помогите!.. Помогите...

Семён ясно различил голос молодого князя, да и мелькавшая впереди фигура походила на него, а бежавший пред ним был выше и крупнее. Кучер, малый умный, сразу всё понял. Утроив силы, настиг он ближайшего бегущего и со всего маху на бегу хватил его кулаком по голове.

Удар ли ражего кучера был силён или неожиданность велика, но бегущий полетел наземь и закувыркался... Семён накинулся и ловко с маху сел на него верхом... В ту же минуту он почувствовал сильный удар в грудь около плеча и сообразил, что его хватили ножом. Он пригнулся, схватил одной рукой душегуба за руку с ножом, а другой – за горло и стал душить...

– Бросай!.. Брось!.. Или конец тебе!.. – крикнул он вне себя.

Незнакомец забился, но тотчас же выпустил нож из руки и уже хрипел. Семён, продолжая сидеть верхом и держать его за горло так, чтобы только не придушить совсем, начал кричать со всей мочи:

– Караул! Помогите! Режут!

По всей вероятности, пришлось бы всё-таки выпустить из рук пойманного, так как на улице, среди поздней ночи, было совершенно темно, пустынно и помощи быть не могло, но Кузьмич, отрядивший охрану питомцу, всё-таки не вернулся домой, а оставался в воротах ждать его возвращения. И, конечно, крик Сашка был им услышан и узнан, и он надеялся только, что ему почудилось. Но зычный крик Семёна объяснил всё. Кузьмич бросился в швейцарскую и мигом всполошил всех людей. Минуты через две уже целая ватага на рысях, со стариком Кузьмичом чуть не впереди, была уже кругом Семёна, сидящего верхом на хрипящем человеке.

Но одновременно около прибежавших людей как из-под земли вырос и сам Сашок.

– Что такое? Что такое? – повторяло несколько голосов.

– А вот что, – вскрикнул Сашок всё ещё неровным, прерывающимся голосом. – Он меня ударить хотел, да промахнулся, а потом бросился догонять, а потом не знаю что... Кажись, это Семён. Я дядюшке сейчас пожалуюсь.

– Полно путать! – взвизгнул вне себя Кузьмич. – То да не

то! Вот тебе и дельце, ночью за два шага! То-то вот! Дитё и есть!

Пойманного схватили за руки, за ворот, а один из людей даже вцепился ему в кудрявые густые волосы... И душегуба с шумом повели в дом. Навстречу уже бежало ещё несколько человек дворовых. На большом дворе и на подъезде толпились и громко говорили многие из гостей, вышедших из-за происшествия, о котором доложили князю. Через несколько мгновений пойманный был введён в швейцарскую, Началось дознание всего, кто что знал... Семён оказался ранен около плеча, и рубаха на нём была вся окровавлена. Ночной душегуб оказался совершенно никому, конечно, не знакомым, и только по типу его лица можно было безошибочно утверждать, что он цыган.

Князь тоже спустился в швейцарскую поглядеть на разбойника, который ради грабежа чуть не убил его племянника. Он узнал, что Земфира послала Сашка среди ночи пешком за шарфом, когда именитым дворянам и днём не полагается ходить по городу пешком без ливрейных лакеев позади. И князь рассердился и на сожительницу, и на племянника.

– Дура и дурак! Вот что! – сказал он при всех, а затем приказал связать и запереть душегуба и утром отправить на съезжую или в кордегардию.

Между тем Земфира танцевала, и пока Сашок ходил по поручению и подвергался большой опасности, в доме князя совершилось тоже своего рода диковинное дело, о кото-

ром все гости знали, толковали и смеялись. Князь выиграл в карты семнадцать тысяч деньгами, дом на Дмитровке и красавицу даму, родственницу офицера, проигравшегося в пух и прах. И теперь в гостиной сидела красивая блондинка и горько плакала. А рядом, в зале, сидела другая красавица, «чернавка», и отчаянно плакала... Почему? Кто говорил, что от перепуга ввиду приключившегося по её милости. А кто догадывался, что из ревности... А правду мог знать только один цыган-душегуб!

XXVII

В тот же вечер в кружке воспитателя цесаревича было тоже происшествие, но о нём знали только исключительно близкие ему люди. Все были чрезвычайно взволнованы, узнав от Панина, что государыня, снисходя к учреждению верховного, при своей особе, тайного совета, уже назвала ему имена лиц, которых желает облечь этим почётным и важным званием. Это были граф Бестужев, канцлер граф Воронцов, гетман Разумовский, граф Чернышёв, князь Волконский, князь Шаховской и сам Никита Иванович Панин, автор «прожекта»... А между тем он, Панин, и многие его друзья были взволнованы от неудовольствия, так как был заявлен ещё восьмой член совета, «оскорбительный» для всех остальных... Они были все сановники, старики или пожилые, а этот был тридцатилетний гвардеец.

Восьмым членом Верховного совета долженствовал быть генерал-адъютант Орлов. Панин поутру тщетно объяснял государыне, что такое назначение молодого Орлова – невозможно. Государыня стояла на своём.

Вообще за последние дни царица выказывала больше твёрдости и меньше уступчивости во всех делах, и важных и мелких. Работала же она без устали от зари до зари. Кроме того, императрица изумляла положительно всех и своим государственным, или, как говорилось, «статским» разумом, и

своей замечательной способностью быстрого усвоения и верного решения всякого дела, всякой специальности. Праздника не мешали ей поднимать и разрешать самые трудные вопросы. Это была не Елизавета, нерешительная и отчасти ленивая, не Анна, робкая и бесхарактерная.

Каждый день приносил окружающим монархиню новый, неожиданный сюрприз.

Но одновременно Екатерина была явно неспокойна, озабочена...

Однажды на одном из небольших вечеров государыня обратилась полушутя к канцлеру Воронцову:

– Пожелаете ли вы, граф, – спросила она, – заняться делом одной бедной вдовы – делом, которое не имеет никакого отношения к заботам, обременяющим канцлера Российской империи? – Императрица очень часто называла себя «бедной вдовой», и Воронцов понял тотчас, что она говорит о себе. Но так как государыня шутила, то и он ответил так же:

– Если хорошие люди мне эту вдову рекомендуют и за неё попросят, то возьмусь с удовольствием за её дело.

– Ну так будьте у меня завтра утром. Дел никаких не привозите. Мы побеседуем только о вдове.

– Слушаю, ваше величество.

Наутро граф Воронцов, всё-таки несколько озадаченный, не имея возможности догадаться, в чём дело, был в десять часов в Петровском, в приёмной государыни, и ждал, пока она окончит свой утренний туалет и кофе.

Когда наконец его позвали в кабинет, государыня, более весёлая, довольная, как всегда любезная, попросила его сесть и внимательно её выслушать, а затем, конечно, сохранить всё сказанное в тайне. Они заговорили, как всегда, по-французски, так как граф до тонкостей знал и любил этот язык.

– Я выбрала именно вас, граф, как человека, вполне снискавшего моё доверие ещё в прошлое великое царствование, а равно и за время краткого правленья моего покойного мужа. И вы, быть может, единственный человек при дворе и, следовательно, во всей империи, который может мне помочь в этом деле первой важности... В деле, – усмехнулась государыня, – этой бедной вдовы, не имеющей защитников никого! Кроме меня одной...

– Этого с неё более чем довольно, ваше величество. Надеюсь, что защита русской императрицы...

– Нет. Этого, оказывается, не только не довольно, но даже слишком мало. Императрица помочь не может, если такой человек, как граф Воронцов, не вступится за неё и не поможет.

– Вы меня удивляете, ваше величество.

– Вы сейчас ещё более удивитесь, граф. Дело вот в чём. Эту вдову норвят насильно выдать замуж за человека, которого она очень уважает и любит, но за которого выходить замуж не хочет по многим важнейшим причинам... Желаете ли вы ей помочь вместе со мной?

– Но как, государыня? – произнёс Воронцов, изумляясь и боясь сказать лишнее слово.

– Противодействовать хитро и тонко тем, кто хочет замужества этой вдовы. *A roue – roue et demie.*¹¹

– Да вам, однако, ваше величество, стоит только приказать, и полагаю, что...

– Кому?

– Этим людям, которые...

– Которые неволят к браку? Я этого не могу.

– Почему же?

– Потому что не хочу. Я не хочу в частном деле приказывать.

– Попросите.

– И не хочу просить!

– Тогда извините... государыня...

Воронцов замялся и прибавил тише и улыбаясь:

– Извините. Но тогда что же я-то могу... Приказать я не могу. А просить – меня не послушают.

– Подумайте, как быть. Я вам даю сроку день. Ну, три дня. Подумайте.

Воронцов изумлялся, государыня улыбалась. Они посмотрели друг другу в глаза.

– Ваше величество. Моё положение очень трудно, – заговорил канцлер. – Есть персидская пословица, которая говорит: коли идёшь тёмной ночью с фонарём, освещай кругом,

¹¹ Против мошенника – мошенник с половиной (фр.).

а не себя самого, а то упадёшь. Вы изволили как бы осветить меня одного и только ослепили... Я прежде кой-что сам видел в темноте; теперь, освещённый, я ничего не вижу, кроме пламени. Осветите мне путь, по которому я должен идти.

– Я этого не могу... – тихо отозвалась Екатерина.

– Ваше величество!.. – воскликнул Воронцов, и голос его говорил: «Тогда что ж я-то могу?» Наступило молчанье.

– Знаете что, граф, поезжайте к Алексею Григорьевичу Разумовскому. Вы это можете?

– Извольте.

– Вы с ним в очень добрых отношениях. А он человек такой же скромный и хороший, как вы. На его слова можно положиться вполне. И он мне душою предан. Поезжайте к нему и посоветуйтесь в этом деле. Я бы поехала сама, послала бы к нему эту вдову, но это будет неловко. Через третье лицо действовать легче.

– Слушаюсь, – вымолвил Воронцов, но продолжал глядеть в лицо государыни озабоченно и вопросительно, будто ожидая дальнейшей беседы.

– Вы с графом Разумовским посоветуйтесь... Он делец! Так, например: представьте себе такой случай, может быть, есть какие-нибудь бумаги... Документы. Надо знать, где они и у кого они. Если их уничтожить и затем отрицать, что они существовали когда-либо на свете, то дело будет нами тотчас выиграно... Без приказаний и без просьбы!..

Государыня произнесла эти слова уже совершенно серьёз-

но, даже холодно.

Воронцов переменялся в лице и просиял.

– Спасибо, ваше величество. Вы сразу мне путь осветили. Да, граф Разумовский может, я знаю, дать мне хороший совет.

Государыня подала руку и вымолвила полушутя:

– Вручаю вам судьбу этой вдовы, обладающей хорошей, даже лучшей чертой в человеческом характере, особенно редкой в наше время и редкой в женщинах. Она благодарное существо. Elle a la bosse de la reconnaissance tres developpee.¹² И уверяю вас, что Лафатер остался бы её черепом очень доволен в этом отношении. Он ведь находит эту особенность очень развитою только у собак, к стыду всего рода человеческого.

Государыня улыбнулась милостиво и прибавила:

– До свиданья – и bonne chance!¹³

– Завтра буду иметь честь привезти ответ, – сказал Воронцов и вышел довольный, но немного озабоченный.

«Всё в его руках, – думал он, – А хохлы упрямы. Приказывать нельзя. Пугать – напрасно и недостойно. Просить... Да просить! Ей нельзя. А мне можно!»

– Долго беседовали! Я думал, конца не будет! – произнёс над ним довольный и громкий голос.

Генерал-адъютант Орлов заступил Воронцову дорогу.

¹² У неё очень развита черта признательности (фр.).

¹³ Удачи! (фр.)

Канцлер поневоле остановился и поздоровался с фаворитом.

– С такой собеседницей, как царица, часы летят быстро! – отозвался он.

– И коварные беседы вели, вероятно, граф?

Воронцов удивлённо взглянул на Орлова.

– Дипломатия и коварство одно и то же, – объяснил тот. – А вы, вероятно, беседуя с государыней, обсуждали вопрос, как составить новый союз против кого-нибудь.

– Что ж... Это дело житейское во внешней политике. Война хитрости с умыслом. Дипломатией зато избегается часто настоящая война, губительная для людей, – усмехнулся Воронцов.

– А часто составители политических планов и союзов именно и вызывают неожиданную и губительную войну, – усмехнулся и Орлов.

– И это бывает! Тогда надо постараться выйти победителем. Расхлебать заваренную кашу, как говорит русская поговорка.

– При Елизавете Петровне действовали прямо, открыто. И бывало лучше. Хитрость не добродетель! – резче вымолвил Орлов.

– Но и не порок, когда она служит орудием в добром деле и ради благой цели.

– Но ведь ваша благая цель и доброе дело для вашего неприятеля есть обратно дурная цель и злое дело! – отозвался Орлов быстро и смеясь несколько принуждённо.

– На том свет стоит! – тоже усмехаясь, ответил Воронцов. – Всяк за себя, а Бог за всех.

И смеясь, по-видимому, добродушно, канцлер империи и генерал-адъютант императрицы разошлись, любезно пожав друг другу руки.

«Un fin matois!¹⁴», – подумал Воронцов.

«Да, рыльце в пуху», – подумал Орлов.

«Он догадывается? Как будто она окружена шпионами...» – думал канцлер.

«Да. Они были правы, предвидев, что будет выбран именно Воронцов. И выбран тайно», – думал генерал-адъютант.

¹⁴ Лукавый хитрец! (фр.)

XXVIII

Наутро рано после картёжного вечера у князя Козельского по Москве уже бежала молва, что на молодого князя было покушение на убийство с целью грабежа. Подобное в Москве ночью было постоянно и никого не удивило. Но второе, разнесённое молвой, хотя и бывало, но нечасто. Князь Козельский выиграл в карты у гостя-офицера красавицу, его подругу. Слух об обоих происшествиях достиг и Павла Максимовича. Приехав среди дня, как всегда, на квартиру Маловой, он не нашёл её дома и, узнав от горничной, что она уехала ещё в полночь и с тех пор сгинула, перепугался насмерть. Первой его мыслью было, конечно, что женщина где-нибудь ночью тоже подверглась нападению с целью грабежа, но, однако, сведение, что она выехала со своим знакомым, капитаном Кострицким, противоречило этой догадке.

Разумеется, тотчас и прежде всего Квощинский навёл справки, где живёт Кострицкий, и поехал к нему. Кострицкий сидел у себя почти счастливый после всего пережитого за ночь, так как князь простил ему его проигрыш. Узнав, что его спрашивает Квощинский, он, разумеется, не сказался дома. Объясняться им обоим было крайне мудрено. Объяснять Квощинскому, по какому праву и на каком основании он мог ставить на карту Настасью Григорьевну, значило выдать женщину головой. А кто знает, как ещё повернётся

дело. Квощинский после полудня ещё раз поехал к капитану и снова не застал его дома. Он собирался снова приехать вечером, но случайно встретился у брата с Сашком. Будучи слишком занят происшествием, он невольно передал молодому человеку, что случилось: их общая хорошая знакомая, госпожа Малова, таинственно исчезла из дому и пропадает уже скоро сутки.

Сашок наивно выпучил глаза на Квощинского и ещё более наивно выговорил:

– Да ведь её же дядюшка выиграл!

– Дядюшка? – повторил Квощинский. – Выиграл? Что вы хотите сказать?

– Вчера вечером у дядюшки игра была и Настасью Григорьевну проиграл капитан Кострицкий.

Квощинский как-то присел, как если бы у него подкосились ноги, двинул языком, чтобы сказать что-то, но произнёс только, как параличный:

– Ва-ва-ва!..

Затем он опустился на ближайший стул и понемногу, не сразу, отдышался.

– Говорите! Что вы? Как? Что такое? Ради Создателя! Не пойму ничего! – взмолился он.

Сашок сообразил, что, должно быть, сделал неосторожность, но было уже поздно, и он несколько подробнее объяснил Павлу Максимовичу, что госпожа Малова находится теперь в доме дяди и принадлежит ему по праву.

– По праву? По какому праву? – заорал Квощинский. – По закону это безобразие, насилие, издевательство...

Сашок, никогда не выдавший Квощинского в таком азарте, смутился и подумал:

«Чёрт меня дёрнул не в своё дело вмешиваться!...»

– Слушайте, Александр Никитич, если вы благородный молодой человек, если вы нас любите, если питаете чувство к моей племяннице, вы должны в этом деле мне помочь, урезонить князя. Это злодейское дело! Прежде всего мне нужно видеться с госпожой Маловой, чтобы она сама объяснила мне всё происхождение этого небывалого приключения.

Сашок посоветовал Квощинскому ехать лично объясниться с князем, а сам вызвался предупредить его о визите. Павел Максимович обрадовался.

– Спасибо. Поеду. И главное, мне надо узнать, что капитан Кострицкий во всём этом? Он при чём тут? Если уж кто мог проигрывать в карты Настасью Григорьевну, то уж, конечно, не капитан, а скорей...

И Квощинский запнулся. Сказать Сашку то, что он считал скрытым от всей Москвы, было, конечно, бессмысленно.

На другой день Квощинский решился и поехал к князю, собираясь действовать отважно.

Он был любезно принят князем. Сразу заметив, что нечто особенное творится с Павлом Максимовичем, князь тотчас сам же прибавил:

– У вас, очевидно, до меня дело есть?

– Да-с, дело! Очень серьёзное! – волнуясь, заговорил Квощинский. – С вами я буду, князь, объясняться совершенно откровенно. Я слышал, что близкая моя приятельница, даже большой друг, госпожа Малова находится у вас в доме.

– Точно так-с...

– И держится вами как бы насильно?

– Никоим образом, государь мой! Это было бы преступлением закона. Свободных людей нельзя держать под арестом. Госпожа Малова живёт у меня свободно в своих апартаментах. А почему, собственно, вам, вероятно, известно?

– Слышал, князь, но не верю! Вы якобы выиграли её в карты.

– Точно так-с!

– Да помилуйте, это дело неслыханное. Ещё крепостную семью проиграть или выиграть слыхано, а этакого спокон веку не слыхано. Ведь Малова столбовая дворянка, а не холопка. А второе – кто же мог из неё ставку делать? У неё ни мужа, ни отца, ни брата...

– Капитан Кострицкий.

– Слышал я это и утверждаю, что прав на это он не имел никаких.

– Извините, Павел Максимович, – усмехнулся князь, – коль скоро она дала своё согласие, то капитан право это имел. А я имею право её держать у себя, как нечто мною выигранное.

– Какие же это права, князь? Это всё права придуманные,

каких ни в каком уложении не сыщешь. Законов таких нет!

– Вы правы, Павел Максимович. Но есть законы общезжития, кои тоже нигде не прописаны. Например, есть закон быть учтивым, уважать старших, относиться с почтением к людям, высоко стоящим. Всё это ни в каком уложении не прописано, а исполняется. Есть, наконец, законы добропорядочности среди людей, играющих в карты. Человек, поставив что-нибудь на карту и проиграв, не может говорить, что он пошутил. Тогда его назовут подлецом, выгонят и нигде принимать не станут. И вот-с на основании именно этого права я выиграл госпожу Малову у капитана и держу её у себя.

– Он не имел никакого права... – воскликнул Павел Максимович. – Я буду совсем откровенным с вами. Я... Я один такие права имею, якобы муж её...

– Однако капитан её ночью привёз. И по взаимному нашему уговору она шла в сорок тысяч. Цена для вдовы за тридцать лет, согласитесь, большая. Но мне жаль было капитана, и я согласился. Он снова играл несчастливо, и дама вашего и его сердца мне досталась. Какие права капитана на госпожу Малову – это вы разузнайте у него самого, если уж сами не догадываетесь.

И князь усмехнулся насмешливо.

– Полагательно, что у капитана были на госпожу Малову такие же права, как и у вас, только с той разницей, что капитан про ваши права знал, а вы про его права ничего не знали. И теперь для вас вышел некоторый сюрприз и афронт. Я

сожалею, но ничего сделать не могу.

– Вы должны мне, как благородный человек, возвратить женщину, к которой я питаю чувство давнишнее и сердечное! – заговорил Квощинский хрипло, так как слёзы были готовы выступить у него на глазах.

– Не могу, государь мой! При всём моём уважении к вам, при всём желании быть вам слугою и быть хотя бы приятелем не могу! Госпожа Малова, даже не скажу, чтобы меня прельстила чрезвычайно. Женщина она уже не первой молодости, чересчур, знаете, пораспухла, тяжеловата, да и мыслями, нельзя сказать, чтобы была быстра. Просидел я с ней часок и так начал позёвывать, что чуть себе скулу не свернул. Но всё же не могу вам её возвратить. Это будет нарушение закона карточной игры. Это дурной пример показать. После этого, что бы я ни выиграл, домик ли какой, карету, цуг лошадей, серебро столовое, всякий будет приходить требовать назад. Вы не забудьте, что капитан Кострицкий хотел отыграть госпожой Маловой всё то, что он уже проиграл. Коль скоро я согласился, чтобы сию даму считали в сорок тысяч, то я рисковал проиграть всё то, что было уже мною у капитана выиграно. Да, впрочем, что же вам всё разъяснять, вы это лучше меня всё понимаете!

И князь замолчал, как бы считая беседу оконченной.

– Как же, князь? – выговорил Квощинский, совершенно потерянный.

– Да так уж, господин Квощинский!

– Помилуйте, посудите, вы не хотите понять, что госпожа Малова для меня... Я не могу без неё существовать. Привычка, князь! Поймите!

– Всё это прекрасно, уважаемый Павел Максимович, – нетерпеливо заговорил князь, – но я тут ни при чём. Выиграл – и конец! А отдать её вам я бы и рад, да не могу... Дурной пример! После этого, повторяю вам, что бы я ни выиграл, у меня будут назад просить. Что же это будет? Комедия и разбой!

– Ну так я вам скажу, что вы поступаете подло и мерзко! Не по-княжески, а по-мошеннически! – закричал вдруг Квоцинский.

Князь переменился в лице, встал и тихо произнёс:

– Пожалуйте вон отсюда. Не пойдёте тотчас, я людей кликну...

XXIX

Настасья Григорьевна, хотя понемногу, не сразу, но всё-таки за ночь вполне, по её выражению, «очухалась».

Стать формальной сожительницей богатого князя она, быть может, и согласилась бы. Он был не хуже, а гораздо виднее и на вид моложавее Павла Максимовича. Но быть в доме князя в виде простой наложницы рядом с какой-то турчанкой или молдавашкой и быть таковою на время мимолётной прихотью, Малова положительно не хотела. Поступок капитана она называла теперь «обманным», она была уверена вполне, что всё «пример» один, что он выиграет и отыграется... А вышло, что она ему не помогла, а сама в ловушке. Да и срам. «На карту ставленная!» – думалось ей.

Разумеется, приключенье огласилось на всю Москву, и все, зная хорошо чудодея князя Козельского, только смеялись и понимали, что Малова ни на что ему не нужна, а что это новое «колесо» ради потехи...

Между тем Сашок и Кузьмич сообразили, что их «сердечное дело» ещё хуже запуталось. Князь был гневен... В доме все знали, что барин выгнал гостя Квоцинского за дерзостное поведение... Он вышел за гостем на лестницу и кричал швейцару:

– Гони болвана... Гони!

Вот тут и иди теперь объяснять, что хочешь жениться на

племяннице этого же нагрубившего человека. Кузьмич и Сашок равно потерялись, не зная, что делать. Равно боялись оба, что и Квощинские будут поражены и оскорблены заявлением Павла Максимовича о поступке князя, обругавшего и выгнавшего его. И как они дело рассудят – неизвестно.

Пред сумерками дело повернулось ещё хуже. Во двор въехала большая карета шестернёй с ливрейными лакеями, и Сашок, глянув в окно, увидел в карете даму, ахнул и схватился за голову.

– Что ты? – заорал Кузьмич, перепугавшись.

– Беда. Беда будет. Невесть что будет!

И он бросился бежать наверх к дяде.

Между тем приезжая заявила вышедшему швейцару:

– Князь?

Швейцар понял, но переспросил:

– Кого прикажете?..

– Князь?

– Вам угодно князя Александра Алексеевича или князя Александра Никитича?

– Видно, вы тут все – неотёсанные пни. Нешто поедет важная барыня к щенку в гости. Спрашиваю тебя: князь?

– Дома ли-с? Дома-с.

– Слава Создателю. Отпечатал уста.

И барыня при помощи своих лакеев полезла из кареты.

– Как прикажете доложить? – спросил швейцар.

– Генерал-аншефиха, княгиня Серафима Григорьевна

Трубецкая. Понял, идол? Удержишь в башке? Аль нет?

Лакей побежал докладывать, Княгиня, не дожидаясь, сбросила летний салоп и стала подниматься по лестнице. Но на верхней площадке у дверей залы она встретила уже князя, предупреждённого Сашком.

– Вы князь Козельский? – спросила княгиня сурово.

– Я-с. Чему обязан, что имею честь вас...

– У вас моя дура, сестра Настасья, задержана. Я за ней.

– Как то есть за ней? К ней? Повидаться? – сухо сказал князь.

– За ней! За... за... за... По-русски понимаешь, господин князь?

– Вы желаете, стало быть, её взять и увезти? – спросил князь гневно и сдержанно.

– Да.

– Я не могу этого дозволить.

– А я и дозволения не прошу.

– Напрасно, княгиня, беспокоились. Я её не отпущу.

– Это твоё последнее слово?

– Да-с.

– Ладно. Пенять будешь.

Князь улыбнулся.

– Тогда я останусь здесь. Обоих сестёр содержи.

И княгиня крикнула вниз своим людям:

– Ступайте домой. Приказать доставить мне сюда Анфису, капот и бельё. А князю доложить, что я здесь останусь на

жительность. Насколько – не ведомо. Коли захочет он повидаться, то чтобы сюда ко мне в гости приезжал.

Затем княгиня обернулась к князю и прибавила:

– А жить с сестрой я не стану. Поставь мне кровать здесь в зале. Для срама. Чтобы все гости твои видели меня и слышали, что я говорить буду.

– Вы уже решились, княгиня? – воскликнул князь.

– Нет. Ты, старый хрыч, уже решился. В карты живых людей выигрываешь. Да ещё дворянок. Да ещё дам молодых. Ну вот ты чудеса откалывать умеешь, так погляди теперь чудеса княгини Серафимы Григорьевны. Посмотрим, чьи будут почудеснее!! Вели принести кровать и поставить тут в зале... Ведро воды тоже. Да корыто побольше. Я пред сном полощусь для здоровья.

Княгиня вошла в двери залы, села на ближайший стул и заговорила:

– Старый хрыч. Бесстыдник. Идол истуканный. То с одной туркой жил, срамился... А то уж целый султанский бабий вертеп заводить собрался. Да ещё картами их добывать, якобы гончих или борзых. Бесстыжий хрыч!

– Княгиня! Вы у меня в доме, и если вы знаете благоприличия, то должны знать, что хозяина гости не поносят... – отозвался князь, сердясь, но сдерживаясь.

– Старая образина. Шестьдесят лет, а ещё, гляди, не напрыгался. Греховодник. Погоди. Я тебя вот научу по-своему.

– Но позвольте, княгиня. Ведь я могу, наконец, позвать

людей и вас попросить вон отсюда.

– Зови. Пусть тащат. Срамись. А как вытащат на двор силой – вот тебе Господь Бог – я опять войду. Так и будем прохлаждаться до вечера. А завтра с утра опять то же будет. Ворота закроешь, я с холопами своими прибуду, и выломаем. Так ли, сяк ли, а я тебе, старому хрычу, бесстыжему Кощею, мою дуру Настасью не покину на срамное наложничество.

Князь стоял перед женщиной, не зная, что делать. Через минуту он повернулся и пошёл из залы.

Прошёл час... Князь был у себя в кабинете и ходил из угла в угол.

Княгиня сидела на том же месте в зале и всем, кто проходил мимо, говорила:

– Срамники. Идолы. Погоди. Я вас проберу.

Через час, по приказанию князя, запрягли карету и подали.

Малова явилась в залу... И обе сестры выехали из дома Козельского.

XXX

Через полчаса Сашок был позван «немедля нимало» к князю и, войдя, нашёл его шагающим взволнованно по комнате. Он ещё ни разу не видал дядю с таким лицом и взглядом.

– Я за тобой послал по важному делу, Александр, – заявил он сухо. – Очень важное для меня, да надеюсь поэтому, что и для тебя. Я оскорблён. С дамы взятки гладки! А мужчине можно отплатить, чтобы душу отвести и не оставаться в долгу. Ну, отвечай на мои вопросы толково, не переспрашивай и не молчи, разинув рот.

Князь сел и показал племяннику место против себя.

– Говори... Я тебе дядя? Родной дядя?

Сашок приглядывался, соображал и медлил с ответом.

– Ну вот и готово! – воскликнул князь.

– Что-с? – оробел молодой человек.

– Я тебя просил и опять прошу, – громко и мерно произнёс князь. – Про-о-шу!.. Сде-е-лай ми-и-лость. Отвечай! Отве-е-ча-ай на вопро-о-сы!

– Слушаюсь. Буду отвечать, – едва слышно и скороговоркой сказал Сашок.

– Я тебе дядя? И родной дядя?

– Точно так-с.

– Любишь ты меня?

– Да-с. Я вас...

– И меня за грош не продашь?

– Что вы, дядюшка. Я готов, если...

– Коли меня начнут бить, заступишься или будешь глядеть?

– Что вы, дядюшка? Я за вас...

– Если меня человек, дурак оголтелый или из ума выживший, оскорбил, будешь ты с этим человеком якшаться и дружество водить? Ну-ка, отвечай.

– Ни за что, дяденька. Я эдакому человеку при случае тоже...

– Ну, ну...

– При случае тоже не спущу.

– Ну вот спасибо. Поцелуемся.

И оба, поднявшись с места, расцеловались и опять сели.

– Ну вот, Александр. Стало быть, ты так и поступи! Как только где встретишь Павла Максимовича Квоцинского, так его тотчас хлоп в морду.

– Что вы, дядюшка! – ахнул Сашок.

– Не желаешь?

– Дядюшка!

– Знаю, что дядюшка. Не желаешь?

– Я... Я... Я должен вам доложить... – начал молодой человек отчаянным голосом.

– Что?

– Должен доложить, что я на его племяннице собрался же-

ниться... Как же мне...

– Ты сказывал, у тебя две... Баскакова и Квощинская. Женись на Баскаковой, если уж эта дурь у тебя в голове застряла.

– Нельзя, дядюшка. Кузьмич тоже говорит, что нельзя. Она верхом на стуле ездит... В фореиторском платье... Да потом я, дядюшка, уже... Я Квощинской уже... Я женихом уже состою... Я хотел вам доложить, да не смел.

– Же-ни-хом?! – протянул князь.

– Я не смел вам доложить.

– Женихом!! Ай да молодец. Живя у меня в доме, и эдак...

– Дядюшка! Так вдруг потрафилось само. Я не виноват.

Ей-Богу.

– Выйди вон!

– Дядюшка. Простите. Позвольте разъяснить.

– Вон! Вон! Видно, так и буду всех вон гнать, и чужих и своих. Не попросить моего разрешения и благословения и действовать самому, подспудно... По-татарски это, что ли? А второе и главное: я с Квощинским кланяться не могу, не только родниться. Убирайся отсюда. Пока вниз к себе... А завтра... Увидим... Пошёл...

Сашок сбежал к себе как сумасшедший.

– Всё пропало, Кузьмич! – вскрикнул он.

– Как пропало?

– Дядюшка сказывает – с Квощинским никакого дела иметь не станет. И выгнал меня. И всё это из-за Павла Мак-

симовича, который дурашно нагрубил... Поразмысли, что теперь делать. Дядюшка даже приказывал было мне побить Павла Максимовича.

Кузьмич не ответил ни слова... Тотчас собрался и через час был уже в гостях у друга, Марфы Фоминишны.

– Всё прахом пошло, – заявил он, не войдя, а вкатившись к нянюшке.

– Что прахом? Как прахом?

– Всё! Ваш Павел Максимович из-за своей вдовы треклятой...

И Кузьмич объяснился.

– Посиди, мой родной. Посиди. Я сейчас всё узнаю и ответ тебе дам.

И Марфа Фоминишна пошла к барыне.

– Павел Максимович начудил, – заявила она. – Из-за Маловой. Был у князя Александра Алексеевича у самого. Начудил.

– Что же такое? – оробела Анна Ивановна.

Марфа Фоминишна объяснила, что знала.

Анна Ивановна взволновалась и, вскочив с места, выговорила:

– Погоди здесь. Я сейчас пойду всё расскажу Петру Максимовичу. Так нельзя.

Квоцинская вышла быстрой походкой из комнаты и через минуту была в кабинете мужа.

– Вот что ваш братец проделывает! – воскликнула она,

ворвавшись к мужу. И затем женщина объяснила мужу всё то же.

– Да, безобразно. Совсем неблагоприятно. Из-за поганой бабы расстраивать свадьбу племянницы! – заявил Пётр Максимович, тоже взволновавшись.

– Конечно, нехорошо. Грех и срам. А нам, почитай, несчастье. Из-за прихоти старого кота... пострадает наша Танюша.

– Кота? Что вы, Анна Ивановна? – укоризненно произнёс Квощинский, – Обождите, Я сейчас пойду и с ним переговорю.

И через минуту Пётр Максимович был у брата во флигеле, объясняя ему последствия всего, что произошло. Павел Максимович выслушал всё и смутился.

– Я не потерплю, чтобы племянница из-за меня пострадала! – выговорил он решительно.

Однако Квощинские не знали, что делать и что, собственно, предпринять, решили только не говорить дочери.

– Обождём, увидим, – решили они. – А Тане ни слова.

В тот же день, в сумерки, Сашок, не спросясь Кузьмича, поехал тоже переговорить и потолковать о беде. И произвёл переполох в доме.

И мать, и отец, и нянюшка тщательно скрыли всё от молодой девушки. Таня продолжала прыгать от счастья.

Когда Сашок немедленно приехал и без доклада лакея вошёл в гостиную, то через мгновение к нему вышла не Анна

Ивановна, а Таня. Девушка как бы выпорхнула из своей комнаты и прилетела на встречу к возлюбленному улыбающаяся, сияющая и, как всегда, румяная от смущения.

– Мама сейчас придёт. Я вас в окно увидела и послала ей сказать, – вымолвила она уже строго, как бы заранее объясняя свой нескромный поступок: являться одной к молодому человеку и жениху.

Сашок стоял среди комнаты, совсем по выражению: «как ошпаренный цыплёнок», расставив ноги, опустил голову, растопырив руки.

– Что вы? – воскликнула Таня. – Что вы, Александр Никитич?

– Татьяна Петровна! Мы несчастные.

– Мы? Несчастные? Мы?

– Да мы с вами несчастные. Всё повернулось кверху ногами. Нам только умирать остаётся.

– Почему? Что вы?

– Да разве вы не знаете?

– Что такое? Говорите, ради Господа!

– Дядюшка согласия не даёт!

– Дядюшка? Не даёт? Что же такое?

Сашок не ответил и, стоя в такой же беспомощной позе, вдруг полез в карман камзола. Вынув платок, он поднёс его к лицу и стал утирать глаза.

– Александр Никитич, – тихо и пугливо произнесла Таня.

Сашок только фыркнул в ответ и заплакал ещё шибче.

Таня начала тоже плакать, пошарила в кармане, не нашла платка и стала утирать слёзы рукавом...

– Говорит... Говорит... – начал Сашок, всхлипывая. – Говорит, что ни за что, никогда...

Но вдруг раздался страшный, пронзительный крик на весь дом.

Вскрикнула Таня... И замертво повалилась на пол... Отец и мать бросились в залу...

И весь дом заходил ходуном. Горя уже не было, а был один общий перепуг...

Все, сбежавшись, прежде всего унесли лишившуюся чувств девушку к ней в спальню, а затем послали за доктором.

Пётр Максимович вернулся к себе, не позвав Сашка.

Анна Ивановна, конечно, не отходила от дочери и говорила: «Бедная ты моя, бедная».

И Сашок, совершив переполох, поехал домой. «За делом приезжал!»

XXXI

Вечеру Сашок сидел у себя в спальне, грустный, с красными глазами, с тяжёлой головой. Кузьмича не было дома. Он опять куда-то пропал. Среди тишины в комнатах послышался шорох. Конюх Тит появился на пороге спальни и остановился, видимо, смущённый своей дерзостью.

– Что ты? – бесстрастно, как человек, которому от горя не до мелочей обыденной жизни, произнёс Сашок.

– Я к вам... По делу к твоему сиятельству. Прости, Александр Никитич, – заговорил Тит. – Я из любви. Ей-Богу. Сейчас умереть, коли лгу. Жалостно мне смотреть. Ну вот я по любви и положил прийти.

– Ну что же тебе! – воскликнул Сашок. – Ты совсем чурбан! Нешто можешь ты меня утешить, что ли?

– Могу.

– Что-о?! – протянул Сашок, удивлённый глупостью малого и рассерженный.

– Могу. Прямо обещать не могу. А всё-таки испробовать могу. Дозволишь?

– Что? Олух! Что тебе позволить!

– А вот чтобы выгорело дело, стало быть, желание твоего сиятельства на лад пошло. Может быть, у меня через бабуся и выгорит дело. Только разреши.

– Пошёл вон! – вспыхнул Сашок.

– Ты не сердчай. Ей-же-ей! Пред Господом Богом божусь, что бабуся барыньке одной скажет всё, пояснит. А барынька своей приятельнице, а энта у самой служит у царицы. А потому может князю Александру Алексеевичу всё сказать, попросить. Барыня бабусе сказывала: какое, сказывала, у тебя дело, старуха, ни будет, ты мне говори, а я для тебя всё сделаю. Ей-Богу, Александр Микитич, не вру.

Сашок помолчал, глядя в лицо своего конюха, и вдруг ему показалось, что молодой малый не дурак и не безумный, а только не умеет объясняться толково. Он встал и, подойдя к Титу, засыпал его вопросами. Тит отвечал толково. Выведал что-то удивительное.

– А приятельница этой самой барыни при царице состоит? – спросил наконец Сашок в третий раз.

– То-то, да!

– И обещала твоей бабушке через эту приятельницу всё, что ни спроси, сделать?

– Ну да. Вот я и говорю твоему сиятельству, – начал Тит, но Сашок перебил его:

– И выходит толк из того, что твоя бабушка эту барыню просила?

– Завсегда! – оживился Тит. – Как по щучьему велению. Раз было про огород... А там Матюшка на волю вышел, хоть господу его, Орловы, не хотели.

– Погоди болтать, – сказал Сашок и стал снова расспрашивать конюха. Наконец, поразмыслив, молодой человек

вспомнил пословицу: «утопающий за соломинку хватается», и соломинка, бывает, помогает. И Сашок решил, чтобы наутро Тит шёл к своей старой прабабушке, всё ей рассказал и просил помочь. «А там будь что будет!»

Наутро парень был уже в Петровском и, расцеловавшись со старухой и с сестрой, тотчас же заявил:

– Ну, бабуся, я к тебе с поклоном! Что хошь делай, а помоги! Коли поможешь, то моё тебе будет вечное спасибо.

– Что такое? – удивилась Параскева.

– А вот, слушай!

И Тит подробно рассказал всё, что произошло в доме: как князь баловался, барыньку в карты выиграл, как за этой барынькой приезжал её благодетель, клянчил, просил князя отпустить её, а князь упёрся: выиграл – и шабаш! А там слово за слово они шибко разругались. Затем Тит описал подробно и даже картинно, со слов дворовых людей князя, как приезжала важная барыня в карете – тоже княгиня да ещё и генеральша и как она не только криком кричала в доме, всех ругала и поносила, а чуть не дралась и чуть самого князя не треснула. Собиралась тоже зачем-то ворота ломать.

Параскева таращила свои старые глаза и головой качала.

Затем Тит ещё подробнее передал, что приключилось вследствие ссоры князя с княгиней, как ему пришлось уступить и у него чуть не силком выигранную барыньку увезли. Оказалась она сестрицей генеральши.

– А в конце концов, – прибавил Тит, – мой Александр Ми-

титич чуть не разливается, плачет. Благодетель-то, выходит, который князю всяких продерзостей наговорил, – родной дядя его невесты. Князь теперь на дыбы: не хочу, чтобы женился! Квоцинские господа всё разливаются, а коли не разливаются, то так горюют, что смотреть жалко. А Александр Микитич ничего не может. Дядюшка приказывает – плюнь на них и женись на другой. А эта другая верхом на стуле каetaanя! Ну, ради Создателя, помоги! Я вот тебе в ножки поклонюсь!

И Тит, привстав, действительно согнулся, тронул пальцем пол. Лицо его было не только серьёзно, но неподдельно грустно.

– Помоги, бабуся!

– Да что ты, дурак! Белены там в Москве объелся, что ли? Как же я помогу?

– Можешь, бабуся! Помнишь ты, что мы рассуждали про Матюшкину волю, что всё это твоя барыня московская состряпала, потому что недалече от царицы состоит. Ну вот ты опять помоги!

– Да как, глупый?

– Повидаешь её, скажи ей! Когда ты её повидаешь?

– Да, должно, скоро опять повидаю.

– Ну вот и скажи! Всё, что я тебе расписал, ты и ей распиши. Да и проси. Хоть в ноги кланяйся!

– Да о чём, дурак?

– Да о том, бабуся, чтобы она своей важной-то приятель-

нице сказала, а чтобы та князя уломала, чтобы он разрешил Александру Микитичу жениться на барышне Квощинской.

– Глупый. Ничего не будет.

– А я вот, ей-Богу, смекаю, что коли опять барыня твоя захочет словечко замолвить, то уж её-то барыня энта, что при царице, энта уж непременно князя знает и с князем поговорит. И князь послушается. Вот ей-Богу, мне всё это так сдаётся.

Параскева молчала и, наконец, покачала головой.

– Ничего не будет! Глупы вы! То Матюшка – самоварник орловский, мудрено ли было барыне иной, при царице состоящей, Ивану Григорьевичу словечко замолвить, а тот отпустил. А теперь, видишь, ступай она просить богача князя Козельского в его семейном деле. Тот – сам князь, сам важный, скажет: сударыня, не в своё дело не мешайтесь!

– Да ты только попроси, бабуся. Повидаешь ты её?

– Думаю, завтра же повидаю! Сказала – придёт посидеть к огороду.

– Ну, так скажи только, – молил Тит нежно. – А там что Бог даст. Ты сказать-то скажешь?

– Скажу, что же мне? А только ничего не будет.

– Ну и пущай не будет, а ты всё-таки скажи!.. Родимая! Бабуся!

– Ладно. Ладно. Скажу... Чего же тебе. Не божиться же зря мне, старой, как вы, зеленыя... Что ни слово – всеу Господа призываете. Ох, грех с вами один.

И Тит, вернувшись в Москву, принёс радостную весть, что бабуся обещалась...

Старик дядька, узнав всё, страшно рассердился и обругал и конюха и питомца – дурнями.

XXXII

Граф Воронцов обдумал и понял огромное значение данного ему поручения. Вечером, около восьми часов, уже при свечах канцлер входил в дом фельдмаршала Разумовского. Именитый хозяин дружески радушно встретил канцлера, с которым был давно коротко знаком и которого всегда во дни своей силы отличал среди многих и многих петербургских вельмож.

Теперь Разумовский имел основание ещё более уважать Воронцова за его поведение во время царствования Петра III, когда его родная племянница, графиня Елизавета Романовна Воронцова, была всесильной фавориткой.

Воронцов не мог предвидеть, как кратко будет царствование нового государя, а между тем не переходил на сторону фаворитки. С другой же племянницей, княгиней Дашковой, был в холодных отношениях, считая её взбалмошной женщиной, пустой, и звал «учёной трещоткой».

Заслышав стук экипажа, граф вышел и встретил канцлера наверху парадной лестницы.

– Чему обязан я, что вы, несмотря на важные заботы, посетили эрмита или схимника? – сказал он.

– По делу, Алексей Григорьевич. Не хочу лукавить. Собирался я давно, да всё откладывал за статскими делами. Но явился казус мудрёный и собрал меня в один день. Не взыщи

за откровенную речь.

– Как всегда искренен, друг. За это и уважаю, – сказал Разумовский. – Всё-таки благодарен и рад. Милости прошу.

Они прошли несколько тёмных комнат. Люди шли впереди с канделябрами и светили им. Освещать пустые горницы без гостей считалось у здравомыслящих вельмож несообразным с разумом.

Когда оба сановника уселись в больших креслах около ярко горящего камина – заморского нововведения, а двери затворились за ушедшими людьми, Воронцов вздохнул, провёл рукой по лицу и заговорил:

– Не было у меня никогда и не будет более никогда к вам, друг мой, такого дела, как нынешнее. Не знаю сразу, как и приступить к нему, хотя много его обдумывал. Я от государыни.

– Надеюсь, что не ущерб мне... – произнёс Разумовский тихо и тревожно и подумал: «Конфискация».

– О нет! – воскликнул Воронцов. – Бог с вами! Государыня любит и уважает вас. Хотя дело прямо до вас касающееся, но ни заботы, ни чего-либо худого от него вам не будет. Чувства государыни к вам хорошо вам известны.

Воронцов смолк на мгновение, как бы обдумывая, с чего начать, и бессознательно оглядывался кругом себя. Наконец он вымолвил:

– Не смущайтесь вопросу моему, граф. Ведомо вам, чем стоустая, как сказывается, молва ставит вас по отношению к

покойной государыне, за кого все привыкли вас почитать.

– Нет, граф. Я не знаю даже, что вы хотите сказать.

– Многие, Алексей Григорьевич, почитают вас за... По утверждению молвы всё российское дворянство почитает, что вы были обвенчаны... были в тайном браке.

– И в этом заключается ваше дело, ваше порученье? – спросил Разумовский глухо и тревожно.

– И да и нет.

– Позвольте, Михаил Ларивоныч. Либо да, либо нет. А иначе как же я отвечу. Пожалуй, отвечу, как всегда и прежде случалось отвечать, а однажды даже самому покойному государю Петру Фёдоровичу, спросившему меня о сём, среди вахтпарада, при сотне посторонних лиц, не только генералов, но субалтерн-офицеров и сержантов. Отвечу, что есть шутки и прибаутки смешные, есть умные, есть глупые, есть опасные, есть смертельные. Человек сих последних боится, какой бы он ни был охотник шутить. А люди или общество, толпа, что ли, – их не боится. Толпа не ответчик, потому что её и не называют. Говорят: молва гласит. А кто молва, где молва? Как молву к вопросу потянуть да проучить, чтобы не болтала пустяков и опасных шуток не шутила? Итак, Михаил Ларивоныч, поручила ли вам государыня спросить про эту молву и не приказала ли вам привезти ей мой ответ, правдивый и точный?

– Нет, Алексей Григорьевич. Этого поручения я не имею.

– От себя вы, стало быть, спрашиваете?

– Да.

– Но позвольте. В чём же тогда заключается поручение государыни?

– Моё поручение есть просьба её к вам: помочь советом через меня в одном деле.

– Вот и перейдём, граф, прямо к поручению и к делу государыни. Её просьба мне закон.

Воронцов молчал и, наконец, выговорил совершенно иным голосом, оттенок которого был неопределим.

Голос этот как будто говорил: «Моё дело – первой важности. Не упускай ни одного слова из моей речи. Старайся понять, что неясно. Яснее я не скажу».

– Помогите нам в устройении судьбы одной вдовы, на которой чуть не силком желают жениться. Так что, выходит, грозит ей, как народ сказывает – самокрутка. Но самокрутка особая. Без её собственного согласия.

Разумовский с изумлением поглядел в лицо собеседника и хотел уже выговорить: «Как? Что?»

Но Воронцов сам повторил:

– Молодую вдову, одинокую, без друзей и покровителей, хотят окрутить по-своему смелые люди и повенчать. Вот государыня и просит моей и через меня вашей помощи.

– Помощи?! Но какой?

– Всё дело в том, есть ли где и есть ли у кого, по вашему мнению, такие документы, которые смелые люди могут огласить, хотя бы даже силком. И на них потом сослаться, чтобы

оправдать своё поведение и якобы узаконить его.

– Стало быть, моё дело указать, где эти документы, для того, чтобы их уничтожили. Это ли желание государыни?

– Нет. Её величество этого не сказала. Её величество совета просит, как поступить... Но я думаю, что ваше дело указать на документы... И тогда... Я не знаю, что делать... А государыня тоже не знает. Оттого она и просит вашего, граф, содействия.

– Совета, а не содействия.

– Если же вы скажете и докажете, – тонко добавил Воронцов, – что подобных документов нет и никогда не было... Это будет драгоценным советом! Вашего слова будет вполне достаточно... то есть вашей клятвы.

– Я в священном для меня деле, ради памяти обожаемого мною лица – лгать не хочу! – глухо проговорил Разумовский.

Наступило долгое молчание.

– Какой же исход, граф? – выговорил, наконец, Воронцов.

Разумовский вздрогнул при голосе канцлера, настолько глубоко задумался он, настолько далеко унеслись его мысли от окружающего.

Он протяжно вздохнул, медленным движением достал платок и отёр слёзы на глазах. Затем он молча встал, открыл потайной ящик в столе и вынул небольшую шкатулку. Открыв её ключиком, который был у него на шее с образками, он вынул свёрток бумаг, обвязанный розовой лентой. Затем он снова запер шкатулку и поставил её на место. Со

свёртком в руке тихо вернулся он и снова сел у камина.

В свёртке, который фельдмаршал развязал, оказались две бумага. Утирая набегавшие слёзы, он начал читать их про себя.

Воронцов молча ждал.

Медленно прочитав всё и дочитав вторую бумагу, Разумовский поцеловал её внизу, где видны были подписи... И лёгким движением он бросил бумаги на уголья тлеющего камина.

– Алексей Григорьевич! – тихо вскрикнул Воронцов и невольно привстал.

Разумовский не ответил и даже головы не повернул на восклицание.

Бумажные листы тотчас вспыхнули, свёртываясь в чёрную трубочку, и пламя ярко осветило горницу и двух сидящих. Но тотчас же всё исчезло вновь, только серые пылинки потянуло жаром вверх и унесло в трубу.

– Гражданский подвиг, Алексей Григорьевич. Слава тебе! Царица не ошиблась в вас. Но что я отвечу?

– Доложите государыне, дорогой Михаил Ларивоныч, что если бы молва народа была истинною, то были бы документы. А я, граф Алексей Разумовский, верный её раб, свято чтущий память моей покойной благодетельницы и верноподданный государыни Екатерины II, даю моё честное слово, коим никогда кривде не послужил, что никаких документов, могущих подтвердить молву народную, нет на свете.

– Нет, нет, скажу я. Пусть знает она. Оценит.

– Зачем. Нет, друг. Я этого не хочу. Спасибо мне за это мало, а награда будет обидой. Иное не продаётся, а только жертвуется. Скажи ей: была бы правда, были бы документы. А их нет. И я, мол, сам могу присягой подтвердить, что их нет.

– Зачем лишать себя благодарности, признательности монарха, – воскликнул Воронцов, – если заслужил...

– Поневоле... – ухмыльнулся горько малоросс.

Воронцов поднялся, протянул обе руки Разумовскому и молча крепко поцеловался с ним три раза.

Через несколько минут канцлер уже уехал, а фельдмаршал был снова в той же горнице у потухшего и похолодевшего камина. И положив на руки голову, сидел он неподвижно. Спустя час он поднялся и прошептал:

– По греху – наказание!.. За гордость и тщеславие – Господь наказал. Пред современниками робел похвастать. Желалось пред начальством после смерти безопасно побахвалиться. И вот сгинуло всё!

XXXIII

На другой день канцлер Воронцов был в Петровском и входил к императрице с бодрым видом и оживлённо-довольным лицом.

Государыня принимая его, пытливо поглядела ему в лицо и улыбнулась:

– Ну-с. Как дело вдовы?

– Ваше величество. Всё дело заключалось в глупой молве, как оно зачастую бывает. Доказательств этой молвы нет никаких. И граф Алексей Григорьевич приказал доложить вашему императорскому величеству, что он даёт честное слово, что документов не существует.

Воронцов с ударением и оттягивая речь произнёс последние слова.

– Нет ничего?

– Нет, ваше величество. Граф даёт честное слово и готов клятву принести.

Государыня задумалась, но потом, встрепенувшись, прибавила:

– И не было никогда? Неужели?

Воронцов молчал и потупился.

– Как вы сами предполагаете, Михаил Ларивоныч? Скажите ваше мнение о сём?

Государыня оттенила умышленно слова: «предполагаете»

и «ваше».

– Предполагаю, ваше величество, что были и вдруг сгорели в камине в одну секунду. Но это ведь моё личное соображение.

– Соображение... Вам это подсказал ваш разум, ваша догадка?.. Или... Или ваши глаза?

– И глаза, и догадка, ваше величество. Комедиантства в графе я допустить не могу.

– Стало быть, вдова моя может быть спокойна?..

– Вполне, ваше величество.

– Благодарю вас! Я не забуду, чем я вам обязана! – с чувством произнесла Екатерина.

– Мне? Но я здесь ни при чём. Граф Алексей Григорьевич сам...

– Нет. Вы всё сделали. Я одна, без вас, никогда бы не решилась... просить этого. Просить такой огромной жертвы, такого доказательства преданности подданного – нельзя, А приказывать? Избави, Боже. Наши повеленья не должны гнёттом падать на чувства, на души и сердца подданных. И вот вы помогли. Это ваше деяние важнее по своим последствиям наших с вами хитросплетений по отношению к европейским кабинетам. Благодарю вас и повторяю – никогда не забуду.

Воронцов вышел, государыня весело улыбнулась. Лицо её засияло радостью. Она тихонько хлопнула в ладоши и почти шаловливо вымолвила вслух пред собой, мысленно к кому-то обращаясь:

– Да. Oui, mon cher ami.¹⁵ Есть такая французская поговорка: «A roue-roue et demie!»

¹⁵ Да, мой дорогой друг (фр.).

XXXIV

Прошло пять дней, и с чудодеем князем Козельским было два приключения. Своего рода чудеса, но не им совершённые, а с ним совершившиеся.

В дом явился посланный из Петровского от имени Марьи Саввишны Перекусихиной, потребовавшей к себе молодого князя Козельского. Сашок смутился и оробел.

Князь решил, что дело касается, очевидно, его, а не племянника. Перекусихина только не хочет его тревожить. И он поехал сам. Он смутился тоже... История с Маловой слишком нашумела в Москве. Неужели ему, старику, будет «передано» замечание?!

Через два часа князь вернулся домой, тотчас позвал Сашку к себе и объявил:

– На твой брак с девицей Квощинской даю тебе моё согласие... Почему так вдруг – не твоё дело.

Сашок вскрикнул и бросился целовать дядю.

– Только скажу... – продолжал князь. – Чудеса в решете... Должно быть, у Квощинских есть «рука», чтобы высочайшие персоны могли снисходить к их семейным обстоятельствам. Завтра поеду самолично знакомиться с Петром и мириться с Павлом, чтобы оба Максимыча были довольны. И рад бы наплевать на обоих, да не могу. Возбраняется. Чудеса!

На другой день, действительно, князь съездил к Квощин-

ским в качестве дяди жениха и, конечно, оба брата, польщённые посещением, были в восторге. Пётр Максимович всплакнул от счастья, что брак дочери сладился. Павел Максимович, ввиду Настасьи Григорьевны освобождения и своего примиренья с ней, на радостях примирился и с князем охотно.

Но затем чудеса в доме продолжались...

В сумерки князю доложили, что смотритель острога покорнейше просит его принять. Князь догадался, что дело идёт, вероятно, о цыгане. Действительно, худенький старичок, по наружности типичный подьячий, явившись, передал князю, что заключённый цыган, Бальчук, уже три дня всячески молит, чтобы ему разрешили явиться под стражей к князю и доложить о крайне важном деле, касающемся князя. Но было бы много лучше, если бы князь приехал сам и принял его в квартире смотрителя, чтобы не было огласки.

– Смею доложить вашему сиятельству, – объяснил смотритель, – что на мой толк, извините меня за совет, вам бы следовало Бальчука допустить до себя. Он мне не открылся ни в чём, но у меня большой навык к острожникам за двадцать пять лет моего смотрительства. Этот цыган совсем человек на особый лад. Как он попался в смертоубийстве, мне непонятно, но предполагаю, что не ради простого разбоя. На нём в тот же раз при обыске найдено десять рублей.

– Что же вы хотите этим сказать? – спросил князь.

– Было бы нелишне вашему сиятельству выслушать его.

Он, очевидно, хочет вам доложить что-то очень важное.

– Ну что же, пожалуй! – решил князь. – Ведь не зарежет же он меня у вас на глазах. Какой прок?

И было решено, что сам князь приедет на квартиру смотрителя, чтобы в доме ничего не знали.

На следующий день утром князь, удивляясь и недоумевая, выехал в тележке и очутился в остроге, в комнате смотрителя. Туда же к нему впустили и цыгана. Князь мысленно подшучивал над собой, что согласился на это таинственное нелепое свидание. У вошедшего молодца и красавца цыгана был вид совершенно иной. В ту ночь, когда он был схвачен, князь помнил хорошо, что у него был дикий, озлобленный вид тигра, попавшего в клетку. Теперь у цыгана лицо было спокойное, взгляд пытливый, ещё спокойнее.

С первых же слов князь убедился, что перед ним очень умный малый и даже незаурядно умный. Войдя и став у дверей перед сидящим в кресле князем, цыган, по имени Бальчук, не поклонился, а лишь зорко глянул и присмотрелся к князю. И, не дав ему времени сделать какой-либо вопрос, сам заговорил:

– Я хотел повидать вас не ради своего дела, а ради вашего дела! Вам оно важно, а мне наплевать! Но прежде чем я стану говорить, вы должны дать ваше княжье слово, что вы исполните наш уговор.

– Вот как! – воскликнул князь. – Боек ты, я вижу! Бой-молодец! Так у нас уговор должен быть?

– Да-с, уговор! Я вас от смерти избавлю, коя у вас за спиной. А вы меня из этого острога избавите и на все четыре стороны отпустите.

Князь рассмеялся.

– Умный вы человек, князь, все сказывают. А вот ин бывает, разума-то у вас не хватает. Хоть бы вот теперь!

Князь ещё пуще рассмеялся.

– Вас должны вскорости, не нынче-завтра покончить, в землю зарыть, а вы вот посмеиваетесь!

– Живого, что ли, в землю-то зарюют?

– Нет, не живого, а как следует – мёртвого... И ничего не пояснившего... Людям-то! Приказал, мол, долго жить, а почему помер – никто не знает... Хитёр был, а нашлись, что и его перехитрили.

Бальчук говорил так самоуверенно и твёрдо, что князь поневоле прислушался внимательнее.

– Ну, говори! Сказывай всё! Может, и в самом деле не врёшь.

– Нет, сказывать я не буду... Прежде вы сказывайте... Согласны ли, коли узнаете, что я вас упасу от смерти, меня из острога освободить? На волю! Вы человек властный, вам только слово сказать! Сказать, что простили и молодой князь простил. Меня и выпустят.

– Изволь!

– Ваше княжье слово?

– Моё княжеское слово! Если то, что ты скажешь, не че-

пуха и не враньё.

– А вот сами посудите! Начну с самого начала, чтобы оно вам было совсем понятно.

И цыган толково, подробно объяснил князю, почему он решился на верное убийство молодого князя и попался лишь благодаря простой случайности. Не случись здоровенного холопа среди тьмы ночи и полной глуши на улицах, то, конечно, он догнал бы князя и зарезал.

И когда цыган прибавил ещё несколько слов, князь, внимательно прислушивавшийся к его словам, вдруг побледнел... Цыган сказал, что он был подкуплен Земфирой. Ему было обещано двести, а то и триста рублей, а то и больше, смотря по тому, какие обстоятельства произойдут после убийства молодого князя.

– Но дело не выгорело! – продолжал Бальчук. – И вот теперь зарезать молодого князя нельзя – некому... Когда ещё Земфира найдёт другого такого дурака, как я. В России наёмных душегубов совсем нет. Это не то что в Молдавии или в Турции. Стало быть, теперь надо начинать дело с другого конца. Надо похерить самого старого князя.

– Что?! – невольно вскрикнул князь.

– Старого, говорю, князя надо теперь похерить. Ну, вот его и похерят.

– Меня, то есть?

– Вестимо, вас!

Наступило молчание, после которого князь спросил:

– Кто же? Ты, что ли? Какой прок, коли ты в остроге... Сейчас, коли вот думаешь, так тогда я тебя предупреждаю...

– Полно, князь! – перебил Бальчук. – Сейчас? Здесь? Чем? Кулаками, что ли? Да и какой же толк, если бы даже я тут где нож нашёл? Ведь я же сказал уже, что не мне нужно – Земфире нужно. Вы лучше слушайте! Земфира опасается, что не нынче-завтра вы её можете от себя прогнать и уничтожить завещание, которое давно сделали в её пользу. Захотите, чтобы всё пошло молодому князю. Вот, боясь, что не нынче-завтра вы это завещание похерите, она и спешит как можно скорей вас самих похерить. И благодаря завещанию молодой князь останется на бобах.

Князь сидел с сильно изменившимся лицом, потому что вполне верил каждому слову Бальчука, а верил потому, что глаза, лицо, голос этого цыгана дышали силой правды.

– Ну, как же меня-то она задумала?.. – произнёс он несколько упавшим голосом, как бы не решаясь выговорить слово «похерить», которое всё повторял цыган..

– Вот это мудрено пояснить! Боюсь, князь, что не поверите. Обещайте мне послушаться меня, что я вам скажу сделать. И в точности так сделать, как я сказал. Тогда поверите и всё узнаете. А не послушаетесь меня, ничего не будет. Прогнать вам Земфиру немудрено, да как же дело такое делать, полагаясь на слова острожного... Это негоже! А вы сами своими глазами поглядите да своими ушами что-либо послушайте. Тогда будете верно знать и можете без охулки по-

ступать.

– Говори. Сделаю всё по-твоему! Я тебе верю! – глухо произнёс князь, сильно взволнованный.

– Извольте! Скажите, есть у вас такая привычка, что Земфира иногда ввечеру сидит у вас в кабинете?

– Да. И очень часто!

– И есть у вас такая привычка, что вы какое-то питьё стряпаете и пьёте с лимоном, что ли, или с чем...

– Правда твоя! Почти каждый вечер.

– Вот видите ли. Я вот у вас в доме не живал, а это знаю. И знаю, стало, от Земфиры. Так вот, не нынче-завтра вас этим самым питьём на тот свет и отправят.

– Что?! – воскликнул князь.

– Да-с! Да погодите. Я не всё сказал! Просьба моя такая: с нынешнего, с завтрашнего ли дня, когда будет Земфира у вас и будете вы попивать ваше питьё, то прежде всего... Ведь ваша спальня рядом, так?

Князь кивнул головой.

– Вот пообещайтесь мне... Сейчас же прикажите кому, человеку верному, просверлить дырочку в стене из спальни в кабинет.

– Зачем? – выпрямился князь.

– Чтобы в эту дырочку хорошо было видно! И вот пушай, когда вы сделаете ваше это питьё, то, отпив малость, выйдите за каким делом на минуточку в спальню и прямо глаз к дырочке! Ничего не увидите особенного, на другой день то

же сделайте, а то и на третий. Но полагаю, что и по первому разу кое-что увидите, потому что она спешит. Хотите знать, что увидите вы в щель?

– Ну... Ну... Что?!

– А когда вы выйдете в спальню, то Земфира кое-что достанет из кармана или из-за пазухи и бросит в стакан. Коли вы этот стакан выкушаете, то через час уже будете криком кричать, а к ночи и на том свете будете. Отравы – отравой, опоить – опоили. А кто? Что? Как? Будет неизвестно, потому что пуще всех будет кричать и плакать сама Земфира. Она тотчас же заподозрит в этом деле молодого князя. А там через день и пузырьёк с какой-то дрянью окажется у князя или у его дядьки в их квартире. Всё подлажено, князь, давно, и только я теперь всё это разрушил. А вы сдержите княжье слово, не забудьте главного... для меня. Когда вы увидите, что я не врал, вас упас от злодейки, прикажите меня выпустить. Вот и всё! Позвольте уйти?

Князь ничего не ответил, задумался, сидел понурясь и был бледен. Наконец он выговорил чуть слышно:

– Вот что значит быть проданной на базаре, купленной и перекупленной.

Цыган снова попросил позволения выйти и как бы разбудил князя.

– Ступай! Я своё слово сдержу!

Но когда цыган двинулся к дверям, князь вдруг вскрикнул:

– Стой! Почему ты знаешь про яд? Откуда яд? Где она могла добыть его?

– От любовника!..

– Что?! – хрипло произнёс князь совершенно упавшим голосом.

– Да-с! А любовник этот либо знахарь, либо настоящий дохтур и возится со всякими снадобьями и лекарствами. Сам их стряпает. И зелье смертельное он давно дал ей, и оно всегда при ней.

– Кто же этот знахарь?! Где он?

– Этого я не знаю! Она не дура, чтобы одного Каина другому Каину выдавать. Он обо мне, поди, никогда не слышал от неё, а я о нём ничего не знаю.

Вернувшись из острога домой, князь был настолько страшен лицом, что не только Сашок, но и люди заметили это. Спустя некоторое время, Александр Алексеевич приказал позвать к себе раненого Семёна и, к удивлению всех, приказал привести прямо в кабинет. Прежде всего он спросил, как себя чувствует Семён, слаб ли? Ражий детина объяснил, смеясь:

– Помилуйте, он меня только царапнул! А что крови много вытекло – важность какая! Будто без крови человек жить не может! Это всё враки! Я даже себя много лучше чувствую. Вот он меня ковырнул – и спасибо ему. Может, от какой болезни избавил.

– А что же? Может быть, и правда? – через силу улыбнулся

ся князь, вспомнив, что ражий детина всегда был чрезмерно красен лицом, с красной шеей, а теперь стал совсем благообразен, как и все другие.

Князь спросил Семёна, сумеет ли он, будучи кучером, заняться столярным делом. Семён замотал головой...

– погоди! Можешь ты достать сейчас в лавке, а не дома, скрытно ото всех, а не явно, эдакий нужный инструмент, чтобы затем просверлить мне вот эту стену?

– Немудрёное дело!

– Ну так сейчас же берись! Съезди на извозчике в город и купи. Коловорот, что ли...

Через два часа Семён снова был в кабинете князя, к величайшему изумлению всей дворни, хотя, по приказанию князя, он объяснил, что дело идёт о его поранении, что князь посылал его к знахарю и приказал явиться и доложить, что знахарь сказал.

Семён достал из-за пазухи спрятанный большой инструмент и принялся за работу. Князь вызвал его предпочтительно перед всеми дворовыми и даже не счёл нужным предупредить его, чтобы никому ничего не говорил. Когда подобное предупреждение случалось, то Семён обидчиво качал головой, морщил брови и только раз ответил грубо:

– И как не надоест обижать человека? Проболтался ли я когда в чём?

С тех пор князь уже никогда не говорил Семёну промолчать о чём-нибудь.

XXXV

По вечерам, когда князь бывал дома один, Земфира всегда приходила в кабинет.

На этот раз, когда она явилась к князю, он, несмотря на всё своё желание быть спокойным, казаться даже весёлым, никак не мог овладеть собой. Он начал шутить, но чувствовал сам, что и шутки, и смех – всё выходит фальшиво и может выдать его.

Кончилось тем, что князь решился прямо сказать, что он взволнован.

– Что с вами такое сегодня? – тотчас заметила Земфира.

– А то, голубушка, – придумал солгать князь, – что у меня некий московский сановник просит сейчас ни больше ни меньше, как сто тысяч взаймы и безо всякого документа. И эти деньги, конечно, пропадут. А если я не дам, то он мне много худого наделает. Вот меня это и обозлило. Так что даже руки трясутся по сию пору со злости.

И, по пословице «на всякого мудреца довольно простоты» и на всякого хитреца найдётся «протохитрец», Земфира поверила. Ей казалось только странным, что князь, соривший всегда деньгами, вдруг жалеет ста тысяч.

– Что же вам? Не Бог весть уж какие деньги для вас.

– Верно! – спохватился князь. – Наплевать бы. Не в том дело! Дело в том, что он попроси, покланяйся. А он с меня

горделиво берёт их. Точно я у него по оброку хожу холопом.

Объяснению этому Земфира уже совершенно поверила. Она знала, что главное оружие против князя была просьба. Его надо было и можно было взять во всем добром, лаской.

Главное было сделано, и князь уже не боялся, что выдаст себя и лицом, и голосом. Нравственное его состояние было таково, что он чувствовал себя начеку, насторожившись, ввиду каждую минуту ожидаемого, а всё-таки как бы неожиданного удара: докажет ли Земфира, что цыган не солгал?

И чем ближе подходила роковая минута – убедиться в том, что эта женщина способна быть отравительницей в награду за многолетнюю привязанность, заботу и ласки, – тем более князь был взволнован. Он начал умышленно болтать, заговорил о вечере, от которого отказался и который теперь, вероятно, в полном разгаре в палатах графа Разумовского, куда ждут и императрицу.

И вместе с этим князь принялся за своё стряпанье, налил горячей воды, рому, накрошил лимона. Но всё то, что он делал ежедневно, теперь делалось как-то иначе. Или, быть может, ему лишь казалось, что во всех его движениях есть что-то нервное, порывистое и подозрительное.

Отпив несколько глотков, князь стал прохаживаться по кабинету... И сердце начало сильно биться в нём, даже в висках отстукивало. Приближалось это роковое мгновение... Сейчас он выйдет вдруг за дверь спальни и тотчас станет глядеть в отверстие, проделанное в стене. И князь, шагая, ду-

мал:

«Чего же волноваться?.. Может быть, не сегодня?.. И почти наверное не сегодня! А если она своё зелье постоянно носит при себе?..»

И вдруг он вспомнил нечто, что его смутило ещё более. Он вспомнил, что за последние пять дней благодаря разъездам по вечерам он не оставался так наедине с Земфирой. Она, может, думает, что с завтрашнего дня опять пойдёт так на несколько дней. Поэтому ей надо пользоваться случаем, если она спешит. И князь выговорил мысленно:

«Да, наверное... Непременно!.. Сейчас!..»

И вместе с тем, тихо шагая по комнате, он чувствовал, что не имеет силы выйти за дверь и подставить свою голову под топор. Да. Это была ведь действительно нравственная казнь! Веря словам цыгана, уже как бы веря, что Земфира способна на такое дело, он будто всё-таки на что-то надеялся. Ему всё-таки не хотелось верить.

«Да, хочется, чтобы не верилось!» – повторял он про себя.

И вдруг, сломив в себе нерешительность, он вышел в спальню и, притворив гулко дверь за собой, тотчас же припал глазом к просверленной стене...

И он увидел два луча, синих, сверкающих, направленных на него... Так показалось ему. Он увидел взгляд двух чёрных глаз, устремлённых на столик, где стояло питьё.

Земфира быстро поднялась, отстёгивая ворот платья, потом рванула, спеша, что-то оторвала... Что-то мелькнуло в

её пальцах... Она остановилась на мгновение и прислушалась, приглядываясь к двери...

Князь так сильно дышал, почти задыхаясь, что испугался, не услышит ли она это дыхание и остановится. А уж стук сердца, наверно, слышен в той комнате. Сердце стало будто большущее, захватило всю грудь и отбивало молотом...

Но, остановившись и замерев на месте на мгновение, Земфира протянула руку к питью. В пальцах её была белая бумажка... Ещё через мгновение она отошла от столика и села в то же кресло, в той же позе.

И опять показалось князю, что два сверкающих луча направлены на него и освещают комнату сильнее свечей... Взор злодейки действительно горел и вспыхивал. И произошло странное, быть может, даже редкое явление... Князь выпрямился, перестав глядеть в щель, и сразу стал спокоен. Вопрос был решён... Сомнения не было никакого. И поэтому всё казалось уже совершенно просто, ясно и будто даже именно так, как и быть следует...

Войдя в кабинет, князь Александр Алексеевич был совершенно спокоен, холодно спокоен, и только... Только горло сдавило и слёзы будто просятся на глаза. Ведь он вмиг похоронил единственную в жизни долгую и глубокую привязанность. Князь чувствовал, однако, что его спокойствие ужасное, смертельное...

Впервые случилось нечто, впервые в жизни... А что случилось, он даже не знает как назвать. «Разочарование?»

Да. Всё, что было, оказывается, не было. Как же так? Сразу трудно и разобраться. Сколько лет он был глубоко убеждён в известном сочетании обстоятельств, делавших его довольным... Многие дорогое, близкое стало постепенно менее дорогим... Правда. Но она всё-таки была дорога и близка сердцу... Всё-таки «было»! И вдруг оказывается, что этого и вовсе не было... Он верил в химеру. «Злюка», его любящая, к нему привязанная всем сердцем, оказывается не злокой, а преступной женщиной, злодейкой, способной не только обманывать его и иметь любовника, но способной и на смертоубийство, на отравление.

Пока князь, вернувшись в комнату, бродил, а не ходил по ней, Земфира, забившись в угол у окна, сидела, как на углях, ждала и в то же время начала холодеть от ужаса. Ей чудилось, что в спальню уходил один князь Александр Алексеевич, а вернулся другой, какого она никогда ещё не видала. Горделивый и бледный, со сверкающим взглядом.

«Неужели он догадался? Или он видел? Но как видел? А если он перехитрил?.. Какой вздор!»

Князь вдруг сел на кресло и произнёс глухо:

– Земфира. У меня к тебе просьба.

– Ну. Что же?..

Князь показал на своё питьё и молчал.

– Говорите. Что вам? – уже неровным голосом произнесла Земфира.

– Выпей.

И в комнате наступило гробовое молчанье. Длилось оно долго.

Князь не смотрел на женщину, а, понурясь, глядел себе на руки без смысла. Земфира сидела мертвенно-бледная, не шелохнувшись, тяжело переводила дыхание, но тоже не глядела на князя, воображая, что он смотрит на неё, и чувствуя, что она этого взгляда не выдержит... Не от раскаяния или совести... а от злобы, душившей её... Встретив этот взгляд судии – она крикнет то, что у неё на уме.

«Ты судья?! Нет. Ты бездушный себялюбец... Ты всё взял! А что ты дал?»

Придя несколько в себя, князь взглянул искоса на женщину и увидел, что она снежно-бела, несмотря на свою смуглоту.

– Что же? Ничего не скажешь? – тихо проговорил он, наконец, почти прошептал через всю комнату.

– Ничего! – отчаянно выкрикнула Земфира, заложив руки над головой.

– Оправдаться не можешь?

– Не хочу! Поделом! Умей! А дура – то и пропадай. Ничего. Ничего не сумела. И пропадай.

– Говори. Любила ли ты меня?.. Прежде?..

– Никогда! Вот никогда-то...

И женщина как-то затряслась и начала вдруг хохотать диким, судорожным смехом. Смехом сумасшедших и бредящих.

– Оставь меня. Выйди, – глухо, чуть слышно, произнёс князь. – Завтра утром получишь свои пятьдесят тысяч, и немедленно уезжай... И... И будь проклята!

– Не буду! – расхохоталась Земфира.

И она поднялась с места и, пошатываясь, пошла к дверям.

– Сатана! – воскликнул князь.

– Да. Осатанела с вами. В мучительстве с отвратительной, мерзкой старой гадиной! – прошипела она и вышла.

XXXVI

На другой день князь будто переломил себя – был другой человек, бодрый, весёлый, довольный... с грустным взглядом тусклых глаз.

Весь день прошёл деятельно. Он будто старался занять себя, чтобы не думать, не вспоминать.

Земфира получила пятьдесят тысяч. Давно обещанные, как бы поэтому данные поневоле... И ни гроша более. Вечеру она уже выехала из дому навсегда... Зато цыган был освобождён из острога и взят в дом князя на службу. Он горячо клялся, что за такую доброту и за такую честь оплатит князю, заслужит...

Затем князь осмотрел свою домовую церковь и тотчас распорядился, чтобы она была вся отделана заново...

Выехав из дому, князь занялся «концами», как он называл разные свои дела... Несколько человек, спасённых им из нищеты, и в том числе вдова Леухина с детьми, ещё не были вполне пристроены и обеспечены. В суде у Романова было ещё три тяжбы у людей, которых он взял под своё покровительство, и надо было добиться их справедливого решения.

Вместе с тем князь заехал к лучшему ювелиру, выбрал на несколько тысяч бриллиантов и самоцветных камней и заказал свадебный подарок будущей племяннице.

И время за день – тяжёлый день – было убито...

XXXVII

В селе Петровском было большое оживление... Правнучка старухи Параскевы венчалась с вольноотпущенным дворовым человеком господина Орлова. Старуха позвала многих на свадьбу, от радости и счастья помолодела лет на двадцать и всё-таки была старая-престарая...

– Потому она, – шутили петровцы, – что и двадцать ей лет сбавь – и всё-таки столетняя будет!

Гостей набралось в доме Параскевы куча – и молодых, и старых. Но угощения хватало на всех. Старуха доказала, что у неё из-за огорода денежки водились.

Трудно было бы когда-либо, где-либо увидеть два лица, более радостных, чем были лица красивой Алёнки и тоже красивого Матюшки.

В самый разгар пира всех ожидало неожиданное происшествие...

Из лесу вышел, перешёл полянку и вошёл в домик лакей в придворной ливрее, высокий, с красивыми голубыми глазами и такой на вид рослый, плечистый, важный, что прямо не лакей, а генерал. Да и кафтан был такой, каких петровцы прежде никогда не видали и к которым только теперь пригляделись и привыкли, так как палаты графа были полны этих питерских слуг.

Важный придворный служитель мягко и вежливо спро-

сил, хотя и видел сам – которая молодая. Среди всеобщего молчания и смущения Параскева отозвалась:

– Вот, золотой мой, вот она!

При её словах многие усмехнулись, а какой-то старик даже сказал:

– Вот уж воистину золотой! Вишь, и по кафтану, и по штанам, всё одно золото.

Лакей приблизился к Алёнке и передал ей свёрток.

– Тут, милая моя, тебе, молодой, сто рублей. Прислала барыня.

– Какая барыня? – произнесла Параскева.

– А вот та самая, которую ты знаешь. А я, по правде, и не знаю. Указано мне отдать и сказать: от барыни, которая у старухи Параскевы на огороде была не раз.

– Ах, она моя сердешная, голубушка! – всхлипнула Параскева и начала утирать свои без слёз плачущие глаза.

XXXVIII

Княгиня генерал-аншефиха, водворив сестру на место жительства, тотчас вызвала к себе Павла Максимовича и переговорила с ним «по-своему».

Последствием этого объяснения было важное решение. Через десять дней после этого в доме и семье Квоцинских началось особенное волнение... Но все лица были странно оживлены. У всех чудно смеялись глаза, начиная от Петра Максимовича и Анны Ивановны и до Марфы Фоминишны, до людей, девчонок в доме. Все ухмылялись, будто подшучивали или подсмеивались, и подмигивали друг дружке.

В доме была свадьба, но такая, что при известии о ней знакомые и приятели головами качали, ахали и смеялись. Старый холостяк Павел Максимович долженствовал венчаться с Настасьей Григорьевной Маловой.

Если бы не знали всего предыдущего, случившегося между ними, а главное, не знали бы, как Малову какой-то капитан в карты проиграл, то, может быть, никто бы и не подсмеивался. А теперь, с лёгкой руки нянюшки Марфы Фоминишны, все повторяли:

– Потому барин хочет бракосочетаться, чтобы её опять кто не проиграл в карты либо не продал на толкучке!

Венчание происходило в ближайшем храме, у Спаса-на-Песках, но в церкви, несмотря на тучу налезшего народу, по-

что никто не заглядывал в лица жениха и невесты и не интересовался ими. Зато все глаза были устремлены на молодого офицера, стоявшего недалеко от брачующихся и на молодую девушку, стоявшую около своей матери. Все знали, что это – жених и невеста.

– Вот их бы свадьбу поглядеть! – говорилось в толпе. – Да обида – нельзя! В своей домово́й церкви будут венчаться...

Таким образом, Павел Максимович и Настасья Григорьевна обвенчались, не возбуждая ничего любопытства и внимания. Малова в подвенечном платье была, бесспорно, красива, ею можно было полюбоваться. Павел Максимович тоже приободрился, будто помолодев малость, и выглядывал фертом. Но всё-таки, в виду молодого князя-офицера и молоденькой Квощинской, на них нельзя было обратить особого внимания.

– Куда же им до этих? – говорили в толпе. – Он прямо Бова-королевич, а она вот тебе, ни дать ни взять, Миликтриса Кирбитьевна.

XXXIX

Князь Александр Алексеевич, будто стараясь самого себя развлечь, особенно деятельно взялся за приготовление к свадьбе племянника, решив не откладывать, а ускорить бракосочетание.

И однажды большой дом князя Козельского переполнился гостями, а двор и соседние улицы запрудились экипажами. Князь определил на свадьбу племянника такие страшные деньги, о которых прошёл слух по Москве, что из всех приглашённых ни один не отказался, всякий приехал. Всем было любопытно поглядеть, как и на что «ухлопает богач-чудодей эдакие деньжищи»...

И если было когда-то много гостей на торжественном обеде у князя, были первые люди государства, то теперь многие из них тоже приехали ради дружбы к князю, но, помимо них, было и всё московское дворянство, которое дружило или было в родственных отношениях с семьёй Квоцинских, были и приезжие из Калуги, Тулы и Владимира.

Жениха уже называли громко звучащим именем, говорили «адъютант генерал-адъютанта», и уху казалось, что это ещё больше, чем просто генерал-адъютант.

«Рука» князя сделала это! Марья Саввишна...

Разумеется, сам Григорий Орлов, которого уже начинали заглазно называть графом, хотя получение титула долж-

но было совершиться лишь через несколько дней, счёл долгом приехать на свадьбу своего нового ординарца, рекомендованного ему царицей.

Венчание состоялось в домово́й церкви и было настолько блестяще благодаря гостям, мундирам и дамским туалетам, что можно было подумать, что происходит во дворце императорском. После венца тотчас состоялся обед – свадебный пир – и длился до сумерек.

Уже солнце садилось, когда гости разъехались, а молодые остались в своих собственных комнатах, занимая весь главный этаж.

Князь Александр Алексеевич переселился на жительство в комнаты, которые прежде занимал Сашок.

– Мы поменяемся, – сказал он племяннику, – и не одной квартирой, а и всем прочим. Ты будешь на моём месте и в доме, и в вотчинах, а я буду на твоём месте! И Кузьмича к себе приставлю. И буду я делать то, что он тебе всегда наказывал: «Уберегайся женского пола, чтобы не загубиться!»

Об авторе

Салиас (Салиас-де-Турнемир) Евгений Андреевич (1842–1908) – сын писательницы Е. В. Салиас-де-Турнемир (Е. Тур), племянник драматурга А. В. Сухово-Кобылина. Служил адвокатом, статистиком, заведующим архивом, был управляющим конторой московских театров. 1860-е годы провёл за границей, впечатления о которой изложил в ряде очерков и книг («Письма из Испании» и т. д.). В 1870-е – начале 1880-х гг. написав ряд исторических романов («Пугачевцы», «Найдёныш», «Братья Орловы», «Петербургское действо» и т. д.), исторической тематике оставался верен и позднее. В 1881–1882 гг. издавал журнал «Полярная звезда».

Один из самых плодовитых русских писателей: собрание его сочинений издания Карцева насчитывает 33 тома.

Текст повести «Петровские дни» печатается по изданию: Салиас Е. А. Собр. соч.: В 33 т. М.: А. А. Карцев. Т.28, 1903.